

СТЕФАН ЦВЕЙГ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ
ЧАСА ИЗ ЖИЗНИ
ЖЕНЩИНЫ (СБОРНИК)

Стефан Цвейг

**Двадцать четыре часа из
жизни женщины (сборник)**

«Public Domain»

УДК 21.112.2-31(436)

ББК 84 (4Авс)-44

Цвейг С.

Двадцать четыре часа из жизни женщины (сборник) / С. Цвейг —
«Public Domain»,

Новеллы Стефана Цвейга. Золотая классика европейского психологического реализма начала XX века. Их экранизировали гении европейского и американского кино времен его «золотого века»: Роберт Ланд и Макс Офюльс, Этьен Перье и Роберт Сьодмак. На них выросли поколения европейских и российских читателей. Каждая из этих новелл и сейчас восхищает, повергает в ярость, заставляет спорить с автором и его героями, любить их и ненавидеть, осуждать и прощать. Секрет подобного «нестарения» новелл Цвейга прост – автор неизменно писал о страсти. О неконтролируемой, исступленной, болезненной любви, не важно, к мужчине или к женщине, к родителям или к книгам, к деньгам или к игре, к приключениям или к власти над другими. Есть чувства и желания, которые не меняются никогда. И Цвейг, как никто, умел описать их...

УДК 21.112.2-31(436)

ББК 84 (4Авс)-44

Содержание

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Амок | 5 |
| Фантастическая ночь | 33 |
| Двадцать четыре часа из жизни женщины | 64 |
| Летняя новелла | 94 |
| Страх | 100 |
| Мендель-букинист | 123 |
| Письмо незнакомки | 136 |
| Улица в лунном свете | 155 |

Стефан Цвейг

Двадцать четыре часа из жизни женщины

Амок

В марте 1912 года в Неаполе, при разгрузке в порту большого океанского парохода, произошёл своеобразный несчастный случай, по поводу которого в газетах появились подробные, но весьма фантастические сообщения. Хотя я сам был пассажиром «Океании», но так же, как и другие, не мог быть свидетелем этого необыкновенного происшествия, так как оно случилось в ночное время, при погрузке угля, и мы, чтобы спастись от шума, съехали все на берег и там проводили время в разных кафе и театрах. Как бы то ни было, я лично думаю, что некоторые предположения, которых я тогда публично не высказывал, содержат в себе истинное объяснение той ужасной сцены, а отдаленность лет позволяет мне использовать доверие, оказанное мне во время одного разговора, непосредственно предшествовавшего странному эпизоду.

Когда я хотел заказать в паровой конторе в Калькутте место для возвращения в Европу на борту «Океании», клерк только с сожалением пожал плечами. Он не знал, возможно ли еще обеспечить мне каюту, так как теперь, перед самым наступлением сезона дождей, все места бывают распроданы уже в Австралии, и он должен сначала дождаться телеграммы из Сингапура.

Но на следующий день он сообщил мне приятную новость, что может предложить мне одну каюту, правда, не особенно комфортабельную, под палубой и в средней части парохода. Я с нетерпением стремился домой, поэтому не стал медлить и просил закрепить место за мной.

Клерк правильно уведомил меня. Пароход был переполнен, а каюта плоха – тесный четырехугольный закоулок недалеко от паровой машины, освещенный только тусклым глазом иллюминатора. В душном, застоявшемся воздухе пахло маслом и плесенью; ни на миг нельзя было отойти от электрического вентилятора, который, как обезумевшая стальная летучая мышь, вертелся и визжал над головой. Внизу машина кряхтела и стонала, как грузчик, без конца взбирающийся с углем по одной и той же лестнице; наверху непрерывно шаркали шаги гуляющих на палубе. Поэтому, сунув чемодан в какую-то затхлую серую дыру, я поспешил назад на палубу и, поднимаясь из глубины, вдохнул полной грудью мягкий, сладостный воздух, доносившийся к нам с берега.

Но и на палубе для прогулок царили сутолока и теснота: тут было полно людей, которые с нервностью, вызванной вынужденным бездействием, без умолку болтали и ходили взад и вперед. Щебетание и трескотня женщин, безостановочное кружение по тесным проходам палубы, возбужденная болтовня пассажиров, скопившихся перед стульями для отдыха, – все это почему-то причиняло мне боль. Я видел новый мир, впитывал сливающиеся, мелькающие с бешеной быстротой картины. Теперь я хотел подумать, привести в порядок свои впечатления, воспроизвести в памяти то, что воспринял глаз, но здесь, на этом тесном бульваре, не было ни минуты покоя. Строчки в книге разбегались от мелькающих теней проходящих мимо людей. Невозможно было оставаться наедине с собой на этой залитой солнцем и полной движения паровой улице.

Я три дня боролся с этим чувством и присматривался к людям и к морю, но море было всегда одним и тем же, пустынным и синим, и только на закате оно вдруг загоралось всеми красками радуги; а людей я уже через трое суток знал наизусть. Все лица были мне знакомы до неприятности; резкий смех женщин больше не раздражал меня, и не сердили вечные споры двух голландских офицеров, моих соседей. Мне оставалось только бегство, но в каюте было

жарко и душно, а в салоне английские мисс непрерывно упражнялись на рояле, выбирая для этого самые затасканные вальсы. Кончилось тем, что я решительно изменил порядок дня и нырнул в каюту сразу после обеда, предварительно оглушив себя парой стаканов пива; это дало мне возможность проспаться ужин и вечерние танцы.

Я проснулся, когда в моем маленьком гробу было уже совсем темно и тихо. Вентилятор я выключил, и воздух полз по вискам, жирный и влажный. Чувства были притуплены, и мне нужно было несколько минут, чтобы сообразить, где я и который может быть час. Очевидно, было уже за полночь, потому что я не слышал ни музыки, ни неустанного шарканья шагов. Только машина, дышащее сердце Левиафана, кряхтя, толкала потрескивающее тело корабля вперед, в необозримое.

Ощупью выбрался я на палубу. Она была пуста. И когда я поднял взор над дымящейся башней трубы и призрачно мерцающими тросами, мои глаза озарил вдруг магический свет. Небо сияло. Оно казалось темным рядом с белизной пронизывавших его звезд, но все-таки оно сияло; казалось, что бархатный полог застилает какую-то светящуюся поверхность, а звезды – только отверстия и прорезы, через которые просвечивает этот неопишуемый блеск. Никогда не видел я небо таким, как в ту ночь, таким сияющим, таким холодным, как сталь, и в то же время искрящимся, пенящимся, залитым светом, излучаемым луной и звездами, но горящим как будто в какой-то таинственной глубине. Белым лаком блестели в лунном свете все очертания парохода, резко выделяясь на темном бархатном фоне неба; канаты, реи, все контуры растворились в этом струящемся блеске. Словно в пустоте висели огни на мачтах, а над ними круглый глаз наблюдательной корзинки – земные желтые звезды среди сверкающих небесных.

Над самой головой стояло таинственное созвездие Южный Крест, прибитый мерцающими бриллиантовыми гвоздями к Неведомому; казалось, что он колыхался, тогда как движение создавал только ход корабля, который, слегка дрожа и дыша полной грудью, то поднимаясь, то опускаясь, гигантским поплавком подвигался вперед по темным волнам. Я стоял и смотрел вверх. Я чувствовал себя, как в ванне, где сверху падает теплая вода, только это был свет, белый и теплый, изливавшийся мне на руки, на плечи, нежно струившийся вокруг головы и, казалось, проникавший внутрь, потому что все смутное в моей душе вдруг проявилось. Я дышал свободно и чисто и с восторгом ощущал на губах, как прозрачный напиток, мягкий, шипучий, опьяняющий воздух, напоенный дыханием плодов и ароматом далеких островов. Теперь, теперь впервые с тех пор, как я поднялся по трапу, меня охватила священная радость мечтания и другая, более чувственная, заставлявшая меня, словно женщину, отдавать свое тело окружающей неге. Я хотел лечь и устремить взор вверх на белые иероглифы. Но палубные кресла были все убраны, и нигде на всей пустынной палубе для прогулок я не видел удобного местечка, где можно было бы отдохнуть и помечтать.

Я начал пробираться ощупью вперед, подвигаясь к передней части парохода, совершенно ослепленный светом, все сильнее изливавшимся на меня со всех сторон. Мне было почти больно от этого резко белого звездного света, мне хотелось укрыться куда-нибудь в тень, растянуться на циновке, не чувствовать блеска на себе, а только над собой и отражения его от вещей – как смотрят на внешний мир из затемненной комнаты. Спотыкаясь о канаты и обходя железные лебедки, я добрался наконец до бака и стал смотреть, как форштевень рассекает мрак и расплавленный лунный свет вскипает пеной с обеих сторон лезвия. Неустанно поднимался и опускался плуг в черную жидкую почву, и я чувствовал всю муку побежденной стихии, всю радость земной мощи в этой искристой игре. И в созерцании я утратил чувство времени. Не знаю, час ли я так простоял или несколько минут; качание чудовищной колыбели корабля унесло меня из пределов времени. Я чувствовал лишь, что мной овладевает усталость, похожая на сладострастие. Я хотел спать, грезить, но только не уходить от этих чар, не спускаться в мой гроб. Бессознательно я нащупал ногой бухту каната. Я сел, закрыл глаза, но в них все-таки проникал струившийся отовсюду серебристый отсвет. Под собой я чувствовал тихое жур-

чание воды, вверху – неслышный звон белого потока Вселенной. И мало-помалу это журчание наполнило мою кровь, я больше не сознавал самого себя, не отличал, мое ли это дыхание, или биение далекого сердца корабля; я растекался, сливался в этом неугомонном журчании с полуночным миром.

Тихий сухой кашель возле меня заставил меня вздрогнуть. Я сразу очнулся от своего опьянения. Глаза, ослепленные белым блеском, проникавшим даже сквозь закрытые веки, с трудом открылись, – как раз против меня, в тени борта, сверкало что-то похожее на отблеск от очков; потом там вспыхнула большая круглая искра – несомненно, огонек трубки. Очевидно, сидя и любясь пеной у носа корабля, я не заметил этого соседа, неподвижно сидевшего здесь все это время. Невольно, не придя еще в себя, я произнес по-немецки:

– Простите!

– О, пожалуйста... – по-немецки же ответил голос из темноты.

Не могу передать, как странно и жутко было сидеть безмолвно во мраке возле человека, которого не было видно. Я чувствовал, что этот человек смотрит на меня так же напряженно, как и я на него; струящийся и мерцающий белый свет над нами был так силен, что каждый из нас видел только контур другого в тени. Но мне казалось, что я слышу, как дышит этот человек и как он посасывает свою трубку.

Молчание стало невыносимым. Охотнее всего я ушел бы, но это казалось мне слишком грубым и внезапным. В смущении я вынул папиросу. Вспыхнула спичка, и огонек ее секунду дрожал в нашем тесном углу. За стеклами очков я увидел чужое лицо, которого ни разу не замечал на борту – ни за обедом, ни во время прогулки; и не знаю, было ли больно моим глазам от внезапной вспышки, или то была галлюцинация, но это лицо показалось мне мрачным, искаженным ужасом, призрачным. Однако, прежде чем я мог отчетливо разглядеть его, темнота поглотила опять освещенные на миг черты; я видел лишь очертание фигуры, темной на темном фоне, и минутами круглое огненное кольцо трубки среди пустого пространства. Никто из нас не говорил, и это молчание угнетало, как душный тропический воздух.

Наконец я не выдержал. Вскочив на ноги, я вежливо сказал:

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – ответил из мрака хриплый, жесткий, словно заржавленный голос.

Я, спотыкаясь, побрел мимо такелажа и стоек. Вдруг позади раздались шаги, торопливые и нетвердые. Это был мой бывший сосед. Невольно я остановился. Он тоже остановился в нескольких шагах от меня, и я сквозь темноту ощутил какую-то робость и удрученность в его походке.

– Простите, – поспешно заговорил он, – если я обращусь к вам с просьбой. Я... я... – он запнулся и от смущения не мог сразу продолжать, – я... у меня есть личные... чисто личные причины искать уединения... у меня траур... я избегаю общества пассажиров... Вас я не имею в виду... нет, нет... Я хотел только попросить вас... вы меня очень обязали бы, если бы никому на борту не говорили о том, что видели меня здесь... На это есть... так сказать, личные причины, мешающие мне быть в настоящее время на людях... да... так вот... мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы вы упомянули о том, что кто-то здесь ночью... что я...

Слова опять застряли у него в горле. Я поспешил вывести его из замешательства, тотчас же обещав ему исполнить его просьбу. Мы пожали друг другу руки. Потом я вернулся в свою каюту и уснул глухим, чрезвычайно тревожным сном, полным причудливых видений.

Я сдержал обещание и никому не рассказал о странной встрече, хотя искушение было велико. Во время морских путешествий всякая мелочь превращается в событие, будь то парус на горизонте, взметнувшийся над волной дельфин, замеченный новый флирт или случайная шутка. Кроме того, меня мучило желание узнать что-нибудь об этом необыкновенном пасса-

жире. Я просмотрел судовые списки в поисках его имени, присматривался к людям, стараясь отгадать, не имеют ли они отношения к нему; целый день я был во власти нервного нетерпения и ждал вечера, когда мог бы снова встретиться с незнакомцем. Загадочные психологические явления неодолимо притягивают меня; они волнуют меня до безумия, и я не могу успокоиться, пока мне не удастся разгадать скрытую в них тайну. Люди со странностями могут зажечь во мне жажду узнать их, которая немногим меньше жажды обладания женщиной. День казался мне длинным и пустым. Я рано лег в постель, я знал, что в полночь проснусь, что какая-то сила меня разбудит.

И действительно, я проснулся в тот же час, как и вчера. На покрытом фосфором циферблате часов обе стрелки перекрывали друг друга, в виде светящейся черты. Я поспешно поднялся из душевой каюты в еще более душевую ночь.

Звезды сверкали, как вчера, и обливали рассеянным светом дрожащий пароход; в вышине горел Южный Крест. Все было как вчера – в тропиках дни и ночи еще более похожи на близнецов, чем в наших широтах, – только во мне не было вчерашнего нежного, баюкающего, мечтательного опьянения. Что-то влекло меня, смущало, и я знал, куда меня влекло: туда, к черным лебедкам на носу; я хотел знать, не сидит ли там тот, неподвижный и таинственный. Сверху раздался удар корабельного колокола. Меня словно что-то толкнуло. Шаг за шагом я подвигался вперед, уступая какой-то притягательной силе. Не успел я еще добраться до места, как впереди что-то сверкнуло, точно красный глаз, – его трубка. Значит, он сидит там.

Я невольно отступил на шаг и остановился. В следующий миг я ушел бы назад, но что-то зашевелилось в темноте, кто-то встал, сделал два шага, и вдруг я услышал прямо перед собой его голос, вежливый и тихий.

– Простите, – сказал он, – вы, очевидно, хотите пройти на ваше место, и мне показалось, что вы решили уйти, когда увидели меня. Прошу вас, садитесь, а я сейчас уйду.

Я, со своей стороны, поспешил ответить, что прошу его остаться и что я отошел назад, чтобы ему не мешать.

– Мне вы не мешаете, – с какой-то горечью сказал он, – напротив, я рад не быть некоторое время один. Уже десять дней как я не сказал ни слова... собственно, даже несколько лет... и мне тяжело, я задыхаюсь, верно, оттого, что должен все глотать молча... я больше не могу сидеть в каюте, в этом... в этом гробу... Я больше не могу... и людей я тоже не переношу, потому что они целый день смеются... Я не могу это выносить теперь... я слышу это в своей каюте и затыкаю себе уши... правда, они ведь не знают, что... они и понятия не имеют... а потом, какое дело до этого чужим...

Он снова запнулся и вдруг неожиданно и поспешно сказал:

– Но я не хочу стеснять вас... простите мою болтливость.

Он поклонился и хотел уйти. Но я настойчиво удерживал его:

– Вы нисколько не стесняете меня. Я тоже рад обменяться здесь, в тиши, парой слов...

Не хотите ли папиросу?

Он взял. Я зажег спичку. Снова в колеблющемся свете появилось его лицо, оторвавшееся от черного фона; на этот раз оно было прямо повернуто ко мне. Глаза из-за очков впились в мое лицо, жадно и с какой-то безумной силой. Меня охватил трепет. Я чувствовал, что этот человек хочет говорить, что он должен говорить. И я знал, что я должен молчать, чтобы облегчить ему это.

Мы снова сели. У него был второй палубный стул, который он предложил мне. Мы курили, и по тому, как беспокойно прыгал в темноте огонек его папиросы, я видел, что его рука дрожала. Но я молчал, молчал и он. Потом вдруг его голос тихо спросил:

– Вы очень устали?

– Нет, нисколько.

Голос во мраке снова на минуту замер.

– Мне хотелось спросить вас кое о чем... то есть я хотел бы вам кое-что сказать. Я знаю, я прекрасно знаю, как нелепо обращаться к первому встречному, однако... я... я нахожусь в ужасном психическом состоянии... я дошел до предела, когда мне во что бы то ни стало нужно с кем-нибудь поговорить... не то я погибну... Вы поймете меня, когда я... да, когда я вам расскажу... Я знаю, что вы не сможете помочь мне... но я прямо болен от этого молчания... а больной всегда смешон в глазах других...

Я прервал его и просил не терзаться напрасно и, не стесняясь, рассказать мне все... конечно, я не мог ему ничего обещать, но на всяком человеке лежит долг предложить свою помощь. Когда мы видим ближнего в беде, то естественным образом рождается долг помочь.

– Долг... предложить свою помощь... долг сделать попытку... так и вы, значит, думаете, что на нас лежит долг... долг... предложить свою помощь...

Трижды повторил он эту фразу. Мне стало жутко от этой тупой, упорной манеры повторять слова. Не сумасшедший ли это человек? Не пьян ли он?

И, словно угадывая мою мысль, он изменившимся голосом произнес:

– Вы, может быть, принимаете меня за безумного или за пьяного. Нет, этого нет – пока еще нет. Только сказанное вами слово странно поразило меня... поразило потому, что это как раз то, что меня сейчас мучит: лежит ли на нас долг... долг...

Он снова начал спотыкаться. Потом он замолк и начал с новым усилием:

– Дело в том, что я врач. В нашей практике часто бывают такие случаи, такие роковые... да, я бы сказал, предельные случаи, когда не знаешь, лежит ли на тебе долг... долг ведь не один – перед ближним, есть еще долг перед самим собой, и перед государством, и перед наукой... Нужно помогать, конечно, для этого мы и существуем... но такие правила хороши только в теории... До каких пределов нужно помогать?.. Вот вы чужой человек, и я для вас чужой, и я прошу вас молчать о том, что вы меня видели... хорошо, вы молчите, исполняете этот долг... Я прошу вас разговаривать со мной, потому что я прямо умираю от своего молчания... Вы готовы слушать меня... хорошо... Но это ведь легко... а что, если бы я попросил вас схватить меня и бросить за борт... тут уж кончается любезность, готовность помогать. Где-то она должна кончаться... там, где начинается наша собственная жизнь, наша собственная ответственность... где-то это должно кончаться... где-то должен прекращаться этот долг... или, может быть, как раз у врача он не должен кончаться? Неужели врач должен быть каким-то икупителем, каким-то всесветным помощником только потому, что у него есть диплом, написанный латинскими буквами; неужели он действительно должен отбросить всякую личную жизнь и подлить себе воды в кровь, когда какая-нибудь... когда какой-нибудь пациент является и требует от него благородства, готовности помочь и доброты? Да, где-нибудь кончается долг... там, где человек больше не может, именно там...

Он снова приостановился и затем продолжал:

– Простите, я говорю с таким возбуждением, но я не пьян... пока еще не пьян... впрочем, и это со мной теперь часто бывает, я спокойно признаюсь в этом вам, в этом дьявольском одиночестве... Подумайте: я семь лет прожил почти исключительно среди туземцев и животных... тут можно отучиться от спокойной речи. Потом, как начнешь говорить, так всего сразу не перескажешь... Но, подождите... да, я уже знаю... я хотел вас спросить, хотел представить вам один случай... лежит ли на нас долг помочь... так, с ангельской чистотой помочь... Впрочем, я боюсь, что это будет длинная история. Вы в самом деле не устали?

– Да нет же, нисколько.

– Я... я очень признателен вам... не хотите ли?

Он пошарил где-то за собой в темноте. Звякнули одна о другую две, три, несколько бутылок, которые он поставил возле себя. Он предложил мне стакан виски, к которому я едва прикоснулся, в то время как он разом опрокинул свой.

На миг воцарилось молчание. Вдруг ударил колокол: половина первого.

– Итак... я хотел рассказать вам один случай. Предположите, что врач в одном... в маленьком городке... или, вернее, в деревне... врач, который... врач, который...

Он снова запнулся. Потом вдруг, вместе с креслом, рванулся ко мне.

– Так ничего не выйдет. Я должен рассказать вам все прямо, с самого начала, а то вы не поймете... Это нельзя изложить в виде примера, в виде теоретической возможности... я должен рассказать вам свою историю. Тут не должно быть ни стыда, ни игры в прятки... передо мной ведь тоже люди раздеваются донага и показывают мне свои язвы и выделения... когда хочешь, чтобы тебе помогли, то нечего вилять и стараться что-нибудь утаить... Итак, я не стану рассказывать вам про случай с неким воображаемым врачом... я раздеваюсь перед вами догола и говорю: я... стыдиться я разучился в этом собачьем одиночестве, в этой проклятой стране, которая выедаёт душу у человека и высасывает у него мозг из костей.

Вероятно, я сделал какое-нибудь движение, так как он вдруг остановился.

– Ах, вы протестуете... понимаю: вы в восторге от Индии, от храмов и пальм, от всей романтики двухмесячной поездки. Да, тропики полны очарования, если видеть их, только катаясь по железной дороге, в автомобиле, на рикше: я сам это чувствовал, когда семь лет назад впервые приехал сюда. О чем я только не мечтал: я хотел овладеть языками и читать священные книги в подлиннике, хотел изучать болезни, работать для науки, ознакомиться с психикой туземцев; я был, как говорят на европейском жаргоне, миссионером человечности и цивилизации. Всем, кто сюда приезжает, грезится тот же сон. Но под невидимыми стеклами этой оранжереи человек теряет силы, лихорадка – от нее ведь не уйти, сколько ни есть хинина, – подтачивает нервы, становишься вялым и ленивым, рыхлым, как медуза. Европейец невольно отстает от своего естественного образа жизни, если попадает из больших городов на этакую проклятую болотную станцию. Рано или поздно пристукнет всякого: одни запивают, другие курят опиум, третьи дерутся и звереют, – так или иначе, но тупеют все. Они стремятся в Европу, мечтают о том, чтобы когда-нибудь опять пройти по улице, посидеть в светлой комнате среди белых людей, год за годом мечтают об этом, а когда настает срок, когда можно было бы получить отпуск, то им уже лень двинуться с места. Они знают, что всеми забыты, сознают, что они чужие, как морские ракушки, на которые всякий наступает ногой. И они остаются, завязшие в своих болотах, и погибают в этих жарких, сырых лесах. Пусть будет проклят тот день, когда я продал себя в эту вонючую дыру...

Между прочим, это было не так уж вполне добровольно. Я учился в Германии, сделался врачом, даже хорошим врачом, и работал при лейпцигской клинике. В одном из медицинских журналов того времени много писали по поводу нового впрыскивания, которое я первый ввел в практику. Тут подросла история с одной бабенкой, которую я впервые увидел в больнице: она своего любовника довела до бешенства, и он ранил ее из револьвера; вскоре и я был таким же бешеным. У нее была манера держаться высокомерно и холодно – это и выводило меня из себя: властные и дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам, а эта так скрутила меня, что я и совсем потерял голову. Я делал все, что она хотела, я, – да что там, отчего мне не сказать всего, ведь прошло уже восемь лет, – я из-за нее растратил госпитальные деньги, и, когда это выплыло наружу, скандал был ужасный. Правда, моему дяде удалось прикрыть мое преступление, но карьера погибла. В это время я услышал, что голландское правительство вербует врачей для работы в колонии и предлагает подъемные. Я сразу сообразил, что это, верно, отчаянное дело, раз за него предлагают деньги вперед; я знал, что могильные кресты на этих пораженных лихорадкой плантациях растут втрое быстрее, чем у нас; но когда человек молод, ему всегда кажется, что лихорадка и смерть постигнут кого угодно, но только не его. Ну что же, выбора у меня не было, я поехал в Роттердам, подписал контракт на десять лет и получил внушительную пачку банкнот. Половину я отослал домой, а другую выудила у меня в портовом квартале одна особа, которая обобрала меня дочиста только потому, что была удивительно

похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий уезжал я из Европы и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбирался из гавани. А потом я сидел на палубе, как вы сидите, как сидели все, и видел Южный Крест и пальмы, сердце таяло у меня в груди: ах, леса, одиночество, тишина! – мечтал я. Ну, одиночества-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию, или Сурабайю, в город, где есть люди, и клубы, и гольф, и книги, и газеты, а – впрочем, название не играет никакой роли – на одну из районных станций, в двух днях езды от ближайшего города. Два-три скучных иссохших чиновника, пара полубелых туземцев – это было все мое общество, а кроме него, вокруг только лес, плантации, пустыни и болота.

Вначале еще было сносно. Я занимался всякой всячиной; раз, когда вице-резидент упал во время инспекционной поездки из автомобиля и сломал себе ногу, я без всяких помощников сделал ему операцию, о которой много говорили. Я собирал яды и оружие туземцев, занимался множеством мелочей, лишь бы не опуститься. Но все это продолжалось только до тех пор, пока во мне действовала привезенная из Европы сила; потом я завял. Мои европейцы наскучили мне, я прервал общение с ними, пил и отдавался думам. Мне оставалось ведь всего два года, потом я освобождался с пенсией, мог вернуться в Европу, начать жизнь сначала. Я забросил все занятия и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там и по сей день, если бы не она... если бы не случилось все это...

Голос во мраке умолк. И трубка больше не тлела. Стало так тихо, что я сразу услышал опять звук воды, пенящейся под носом парохода, и отдаленное глухое биение сердца машины. Мне хотелось закурить папиросу, но я боялся резкой вспышки огня и отсвета на его лицо. Он все молчал. Я не знал, кончил ли он, дремлет ли или спит, таким мертвым казалось мне его молчание.

Вдруг прозвучал отрывистый сильный удар колокола: час. Он встрепенулся; и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука искала виски. Послышался тихий звук глотка, затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз более напряженный и страстный.

– Да, так вот... подождите... да, так вот, это было так. Сiju я там, в своей проклятой дыре, сiju неподвижно, как паук в паутине, уже целые месяцы. Это было как раз после дождей. Неделя за неделей барабанила вода по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне, ни один европеец; изо дня в день сидел я в доме со своими желтыми женщинами и своим добрым виски. Я был тогда как раз совсем «down»¹, совсем болен Европой: когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы, я не могу передать вам это состояние, это особого рода тропическая болезнь, яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине. Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках и мечтах о путешествиях. Вдруг раздался возбужденный стук в дверь, и я увидел боя и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают с важным видом: пришла дама, какая-то леди, белая женщина.

Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши?

Я готов уже выбежать на лестницу, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало, наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство, меня мучит неприятное предчувствие, так как я не знаю никого на свете, кто из дружбы пришел бы ко мне. Наконец я иду вниз.

В передней ждет дама и поспешно направляется мне навстречу. Густая автомобильная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить.

– Добрый день, доктор, – говорит она по-английски. Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы заранее заученной. – Простите, что я застаю вас врасплох. Но мы были как раз на

¹ Упавший духом (англ.).

станции, наш автомобиль остался там (почему она не подъехала к дому? – молнией блеснула у меня в голове мысль) – и вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас, с вице-резидентом вы проделали прямо чудо, его нога в безукоризненном состоянии, и он по-прежнему играет в гольф. О да, у нас там все говорят еще об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчуна военного доктора и обоих остальных в придачу, если бы вы приехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете точно йог...

И так она тараторит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и беспокойное чувствуется в этой скользкой болтовне, и я сам заражаюсь беспокойством своей гостью. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос, почему не называет себя, почему не снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая? Я все больше волнуюсь, чувствую себя в смешном положении, стоя так перед ней и позволяя изливаться на себя эту бесконечную болтовню. Наконец она на миг останавливается, и я могу пригласить ее наверх. Она делает бою знак остаться и первая поднимается по лестнице.

– Как у вас мило, – говорит она, осматривая мою комнату. – О, какая прелесть: книги! Я хотела бы их все прочесть! – Она подходит к полке и рассматривает названия книг. В первый раз, с тех пор как я вышел к ней, она на минуту умолкает.

– Разрешите мне предложить вам чаю? – спросил я.

Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать книжные корешки.

– Нет, спасибо, доктор... нам нужно сейчас же уходить... у меня мало времени... это была ведь просто маленькая прогулка... Ах, у вас есть и Флобер, я его так люблю... чудесная, удивительная вещь его «L'Education sentimentale»²... я вижу, вы читаете и по-французски... Чего только вы не знаете!.. Да, немцы, они проходят все в школе... Право, удивительно – знать столько языков!.. Вице-резидент бредит вами и говорит всегда, что вы единственный хирург, к кому он пошел бы под нож... наш добряк доктор годится только для игры в бридж... кстати, знаете ли (она все еще говорит не оборачиваясь) – сегодня мне самой пришлось в голову, что хорошо было бы разок посоветоваться с вами... и так как мы как раз проезжали мимо, то я подумала... ну вы сегодня, может быть, заняты... я лучше заеду в другой раз.

«Наконец-то ты раскрыла карты!» – сейчас же подумал я. Но я не дал ей ничего заметить и заверил ее, что почту за честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно.

– У меня ничего серьезного, – сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую ею с полки, – ничего серьезного, пустяки... женские неприятности, головокружение, обмороки. Сегодня утром во время езды, на повороте, мне вдруг стало дурно, *gaide morte*³... бой должен был посадить меня и принести воды... ну, может быть, шофер слишком быстро ехал... как вы думаете, доктор?

– Не могу так об этом судить. У вас часто такие обмороки?

– Нет... то есть да... в последнее время... именно в последнее время... да... обмороки и тошнота.

Она снова стоит уже перед книжным шкафом, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает... так нервно, почему не поднимает взора из-под вуали? Я намеренно ничего не говорю. Мне хочется заставить ее ждать. Наконец она снова начинает в своей развязной и суетливой манере:

– Не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь...

– Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс...

Я направляюсь к ней, но она уклоняется легким движением.

² «Воспитание чувств» (фр.).

³ Здесь: лишилась чувств (фр.).

– Нет, нет, у меня нет жара... безусловно, безусловно нет... я измеряла температуру каждый день, с тех пор... с тех пор, как начались эти обмороки. Жара нет, всегда ровно тридцать шесть и четыре. И желудок у меня в порядке.

Минуту я медлю. Во мне все растет недоверие: я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет, в такую глушь ведь не приезжают, чтобы поговорить о Флобере. Я заставляю ее ждать минуту, другую.

– Простите, – говорю я затем, – разрешите мне задать вам совершенно откровенно несколько вопросов?

– Конечно, вы ведь врач! – отвечает она, но тут же поворачивается ко мне спиной и начинает возиться с книгами.

– У вас есть дети?

– Да, сын.

– А было ли у вас... было ли у вас раньше... я хочу сказать – тогда... было ли у вас подобное состояние?

– Да.

Ее голос стал теперь совсем другим – ясным, определенным, без всякой трескучести и нервности.

– А возможно ли, чтобы вы... простите мой вопрос... возможно ли, чтобы вы находились теперь в таком же состоянии?

– Да.

Резко и остро, как нож, бросила она это слово. Ничто не дрогнуло в ее лице.

– Будет лучше всего, сударыня, если я осмотрю вас... вы разрешите попросить вас... перейти в другую комнату?

Тут она вдруг оборачивается. Сквозь вуаль я чувствую ее холодный, решительный взгляд, устремленный на меня.

– Нет... в этом нет надобности... я вполне уверена в своем состоянии.

Голос на миг умолк. В темноте снова блеснул наполненный стакан.

– Итак, слушайте... но сначала постарайтесь вдуматься немного во все это. К человеку, погибающему от одиночества, вторгается женщина, впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты... и вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Бессознательно ощутил я это: мной овладел трепет перед стальной решимостью этой женщины, вошедшей с беспечной болтовней, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкнувший нож. Я знал ведь, чего она от меня хотела, угадал это сразу, – это было не в первый раз, что женщина обращалась ко мне с такой просьбой, но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. Но тут была... о, тут была стальная, чисто мужская решимость... с первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня... что она могла подчинить меня своей воле... Однако... однако... и во мне сидела какая-то злоба... гордость мужчины, обида, потому что... я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше, чем я увидел эту женщину, я почувствовал в ней врага.

Сначала я молчал. Молчал упорно и ожесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо и вызывающе и хочет заставить меня говорить. Но я не уступал так легко. Я заговорил, но... уклончиво... невольно переняв ее болтливую, равнодушную манеру. Я делал вид, что не понял ее, потому что – не знаю, можете ли вы почувствовать это, – я хотел заставить ее высказаться яснее, я не хотел предлагать, наоборот... хотел, чтобы меня просили... чтобы просила она, явившаяся с таким властным видом... и, кроме того, я знал, как легко я подчиняюсь власти таких высокомерных, холодных женщин.

Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки вполне в порядке нормального хода вещей, напротив, они даже являются залогом нормального развития

беременности. Я приводил случаи из клинических журналов... я говорил, говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание как нечто весьма обычное, и... все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит.

И действительно, она резким движением руки прервала меня, словно отстраняя прочь все эти успокоительные разговоры.

– Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я родила своего мальчика, мое здоровье было в лучшем состоянии... но теперь я уже не all right⁴... у меня бывают сердечные припадки...

– Вот как, сердечные припадки, – повторил я, изображая на лице беспокойство, – сейчас же посмотрим.

Я сделал вид, что встаю и достаю слуховую трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь остро и повелительно, как голос команды на плацу.

– У меня бывают припадки, доктор, и я должна просить вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследования, вы могли бы, думается, оказать мне немного больше доверия. Я, со своей стороны, достаточно доказала свое доверие вам.

Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. И я принял его.

– Доверие требует откровенности, полной откровенности. Говорите ясно, я врач. И прежде всего снимите вуаль, садитесь сюда, оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью.

Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту помедлила. Потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо, такое, какое боялся увидеть, непроницаемое лицо, твердое, уверенное, полное не зависящей от возраста красоты, лицо с серыми английскими глазами, казалось, исполненными спокойствия, но скрывающими внутренний огонь. Эти узкие сжатые губы умели хранить тайны. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной стальной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взор.

Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, и она нервничала. Затем она вдруг сказала:

– Знаете ли вы, доктор, чего я от вас хочу, или не знаете?

– Кажется, знаю. Но лучше поговорим начистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния... хотите, чтобы я избавил вас от ваших обмороков и тошноты, устранив... устранив причину. В этом все дело?

– Да.

Как топор гильотины, упало это слово.

– А вы знаете, что подобные эксперименты опасны... для обеих сторон?..

– Да.

– Что закон запрещает их?

– Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется.

– Это бывает только при наличии известных медицинских данных.

– Так вы найдете эти данные. Вы – врач.

Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, слабохарактерный, дрожал, пораженный демонической мощью ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что я уже раздавлен. «Только не спешить! Всячески оттягивать! Принудить ее просить», – мелькало во мне какое-то смутное желание.

– Это не всегда во власти врача. Но я готов... посоветоваться с коллегой в больнице...

– Не надо мне вашего коллеги... я пришла к вам.

– Позвольте узнать, почему именно ко мне?

Она холодно взглянула на меня.

⁴ Вполне здорова (англ.).

– Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне, вы меня не знаете, вы хороший врач, и вы... – она в первый раз запнулась, – вероятно, недолго пробудете в этих местах, особенно если... если вы сможете увезти домой приличную сумму.

Меня так и обдало холодом. Эта сухая, купеческая ясность расчета ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрылись для просьбы, но она давно уже вычислила и сначала выследила меня, а потом начала травить.

Я чувствовал, как проникала в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон.

– И эту приличную сумму вы... вы предоставили бы в мое распоряжение?

– За вашу помощь и немедленный отъезд.

– Вы знаете, что я, таким образом, теряю свою пенсию?

– Я возьму вам ее.

– Вы говорите очень определенно... Но я хотел бы еще больше определенности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара?

– Двенадцать тысяч гульденов, с выплатой по чеку в Амстердаме.

Я задрожал... задрожал... от гнева и... и от восхищения. Все она рассчитала, и сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду; она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной в предвидении своей власти. Я был бы рад дать ей пощечину... Но, когда я поднялся дрожа, – она тоже встала, – я посмотрел ей прямо в глаза, взглянул на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться, мной вдруг овладела... овладела... какая-то жажда насилия. Должно быть, и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека, между нами сверкнула открытая вражда. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне, а я ее ненавидел за то... за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду молчания мы в первый раз говорили друг с другом вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, заползла мне в душу мысль, и я сказал... сказал ей...

Но подождите, так вы неправильно поняли бы, что я сделал... что сказал... мне нужно сначала объяснить вам, как... как зародилась во мне эта безумная мысль...

Опять тихонько звякнул в темноте стакан. И голос сделался более возбужденным.

– Не думайте, что я хочу извиняться, оправдываться, обелить себя... Но вы без этого не поймете... Не знаю, был ли я когда-нибудь хорошим человеком... но, кажется, помогал я всегда охотно... это была ведь единственная радость в моей собачьей жизни, когда я, пользуясь крупницей знаний, уцелевших у меня в голове, спасал какую-нибудь тлеющую искорку жизни... я чувствовал себя тогда маленьким богом... Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил этакий желтый парнишка, посиневший от страха, со змеиным укусом на вспухшей ноге, заранее выл, чтобы ему не отрезали ногу, и я умудрялся спасти его. Я проводил долгие часы в пути, чтобы посетить лежащую в лихорадке женщину; случалось мне оказывать и такую помощь, какой ждала от меня сегодняшняя посетительница, – еще в Европе, в клинике. Но тогда я чувствовал, что я кому-то нужен, тогда я знал, что спасаю кого-то от смерти или от отчаяния, а это и нужно самому помогающему, это сознание, что ты нужен другому.

Но эта женщина – не знаю, могу ли объяснить вам это – волновала, раздражала меня с той минуты, когда вошла в мой дом, словно мимоходом, вызывала своим высокомерием сопротивление, будила во мне все... как бы это сказать... будила все подавленное, все скрытое, все низменное. Меня сводило с ума то, что она разыгрывала леди и с холодной неприступностью предлагала мне сделку, когда речь шла о жизни и смерти. И затем... затем, в конце концов, от игры в гольф не становятся ведь беременными... я знал... то есть я должен был вдруг с ужасающей ясностью представить себе... это и была та мысль... с ужасающей ясностью представить себе, что эта спокойная, эта надменная, эта холодная женщина, презрительно подымавшая

брови над своими стальными глазами, когда я, только для протеста... да, почти негодуяще взглянул на нее, что она два или три месяца назад, разгоряченная, лежала в постели с мужчиной, голая, как зверь, и, может быть, стонала от наслаждения, и тела их впивались друг в друга, как их губы... Вот это, вот это и была обжигавшая меня мысль, когда она посмотрела на меня с таким высокомерием, с такой неприступной холодностью, словно английский офицер... и тогда, тогда все напрягалось во мне... и я обезумел от мысли унижить ее... с этого мгновения я видел сквозь платье ее голое тело... с этого мгновения я только и жил мыслью овладеть ею, вырвать стон из ее жестких губ, видеть эту холодную, эту гордую женщину в порыве сладострастия, как тот, другой, которого я не знал. Это... это я и хотел вам объяснить... Как я ни опустил, я, как врач, никогда не пытался злоупотреблять своим положением... но на этот раз это ведь не была похоть, в этом не было ничего сексуального, я говорю правду... я ведь не стал бы отпираться... только страстное желание победить ее гордость... стать ее господином, как мужчина... Я, кажется, уже говорил вам, что высокомерные, холодные на вид женщины всегда имели надо мной особую власть... но теперь, теперь к этому прибавлялось еще то, что я уже семь лет не имел белой женщины, что я не знал сопротивления... Здешние девушки, эти щебечущие изящные зверьки, дрожат ведь от благоговения, когда их берет белый человек, «господин»... они смиренны и покорны, всегда доступны, всегда готовы отдаться со своим тихим гортанным смехом... но именно эта покорность, эта рабская угодливость и отравляет все наслаждение... Понимаете ли вы теперь, понимаете ли вы, как ошеломляюще подействовало на меня внезапное появление этой женщины, полной презрения и ненависти, застегнутой на все пуговицы и в то же время дразнившей своей тайной и отягченной недавней страстью... когда подобная женщина дерзко входит в клетку такого мужчины, такого одинокого, изголодавшегося, отрезанного от всего мира полувзвья... Это... вот это я хотел вам только сказать, чтобы вы поняли все остальное... поняли то, что теперь произошло. Итак... полный какого-то злого желания, отравленный мыслью о ней, обнаженной, чувственной, отдающейся, я словно сжался весь в комок и напустил на себя равнодушный вид. Я холодно произнес:

– Двенадцать тысяч гульденов?.. Нет, это меня не удовлетворяет.

Она взглянула на меня, немного побледнев. Вероятно, она уже догадывалась, что мой отказ вызван не алчностью. Но все же она сказала:

– Сколько же вы хотите?

Я больше не желал говорить спокойным тоном.

– Будем играть в открытую. Я не делец... не бедный аптекарь из «Ромео и Джульетты», продающий яд за презренное золото... я представляю собой, скорее, противоположность делового человека... этим путем вам не удастся достигнуть желаемого.

– Так вы не хотите это сделать?

– За деньги – нет.

На миг воцарилась тишина. Было так тихо, что я в первый раз услышал ее дыхание.

– Чего же вы еще можете хотеть?

Теперь я больше не владел собой.

– Во-первых, я хочу, чтобы вы... чтобы вы обращались ко мне не как к торговцу, а как к человеку. Чтобы вы, если вам нужна помощь, не... совали сейчас ваши гнусные деньги... а попросили... попросили меня, как человека, помочь вам, как человеку... я не только врач, у меня не только приемные часы... у меня бывают и другие часы... может быть, вы пришли бы в такой час...

Она минуту молчит. Потом ее рот слегка кривится, дрожит и быстро произносит:

– Значит, если бы я вас попросила... тогда вы сделали бы это?

– Вот вы уже опять хотите заключить со мной сделку, вы согласны попросить только в том случае, если я сначала обещаю. Сначала вы должны меня попросить, тогда я вам отвечу.

Она высоко вскидывает голову, как горячая лошадь; с гневом смотрит она на меня.

– Нет, я не стану вас просить. Лучше погибнуть.

Тут мною овладевает гнев, красный, безумный гнев.

– Тогда я требую, если вы не хотите просить. Я думаю, мне не нужно выражаться яснее, – вы знаете, чего я от вас хочу. Тогда, тогда я вам помогу.

На миг она остолбенела. Потом, – о, я не могу, не могу передать, как ужасно это было, – потом ее черты нахмурились, и потом... потом она вдруг расхохоталась... с нескрываемым презрением расхохоталась мне прямо в лицо... с презрением, которое уничтожило меня... и в то же время еще больше опьянило... Это было похоже на взрыв, внезапный, раскатистый, мощный... такая чудовищная сила чувствовалась в этом презрительном смехе, что я... да, я готов был упасть на колени и целовать ее ноги. Это продолжалось одно мгновение... словно молния; у меня был огонь во всем теле... вдруг она повернулась и быстро пошла к двери.

Я невольно хотел пойти за ней... просить прощения... умолять ее... моя сила была ведь совсем сломлена... но она еще раз обернулась и сказала... и это звучало как приказ:

– Не смейте идти за мной или наводить справки... Вам пришлось бы раскаться.

В тот же миг за ней захлопнулась дверь.

Снова пауза. Снова молчание... Снова неумолчное журчание, словно от струящегося лунного света. И наконец опять его голос:

– Хлопнула дверь... но я стоял, не двигаясь с места... я был словно загипнотизирован ее приказом... я слышал, как она спускалась по лестнице, как закрылась входная дверь... я слышал все, и вся моя воля устремилась ей вслед... чтобы ей... я не знаю, что... чтобы позвать ее назад, или ударить, или задушить... но только за ней... за ней... Но что-то удерживало меня. Мои ноги были словно парализованы электрическим ударом... я был поражен, поражен в самую душу убийственной молнией ее взора... Я знаю, что этого не объяснить и не рассказать... это может показаться смешным, но я все стоял и стоял... прошло несколько минут, может быть, пять, может быть, десять, прежде чем я мог оторвать ногу от земли...

Но как только я ступил ногой, я уже снова весь горел и готов был бежать... вмиг слетел я с лестницы... Она могла ведь пойти только по улице, ведущей к станции. Я бросаюсь в сарай за велосипедом, вижу, что забыл ключ, срываю засов, бамбук трещит и разлетается в щепы. И вот я уже на велосипеде и несусь ей вдогонку... я должен... я должен догнать ее, прежде чем она сядет в автомобиль... я должен поговорить с ней...

Я мчусь, оставляя за собой облака пыли... теперь только я вижу, как долго я простоял в оцепенении... там... на повороте в лесу, перед самой станцией я вижу ее, идущую торопливым твердым шагом, в сопровождении боя... Но и она, несомненно, заметила меня, потому что говорит что-то бою, и тот останавливается, а она идет дальше одна... Что она задумала? Почему хочет быть одна?... Может быть, она хочет поговорить со мной так, чтобы он не слышал?... Яростно нажимаю я на педали... Вдруг что-то бросается сбоку передо мной на дорогу... это бой... я едва успеваю рвануть велосипед в сторону и лечу на землю...

Встаю с ругательствами... невольно заносу кулак, чтобы дать болвану тумака, но он легко увертывается... Встряхиваю свой велосипед, собираюсь снова вскочить на него... Но подлец опять тут как тут, хватается за велосипед и бормочет на ломаном английском языке: «You remain here»⁵.

Вы не жили в тропиках... Вы не знаете, какая это дерзость, когда такой желтокожий бездельник хватается за велосипед белого «господина» и ему, «господину», приказывает остаться на месте. Вместо ответа я заезжаю ему кулаком в физиономию... он отшатывается, но все-таки держит велосипед... его глаза, узкие трусливые глаза, широко раскрыты и полны рабского страха... но он держит руль, держит его чертовски крепко... «You remain here», – бормочет он

⁵ Вы останетесь здесь (англ.).

еще раз. К счастью, при мне не было револьвера, а то я непременно пристрелил бы мальчишку. «Прочь, каналья!» – прорычал я. Он глядит на меня, весь согнувшись, но не отпускает руля. Я наношу ему новый удар по голове, он все еще не отпускает. Тогда я прихожу в ярость... я вижу, что ее уже нет, может быть, она уже уехала... я закатываю ему настоящий боксерский удар в подбородок, сшибающий его с ног... Теперь велосипед опять в моем распоряжении... вскакиваю в седло, но машина не идет... во время борьбы погнулась спица... Дрожащими руками я пытаюсь выпрямить ее... Ничего не выходит... тогда я швыряю велосипед на дорогу рядом с негодяем, который встает, весь в крови, и уходит в сторону... И тогда, нет, вы не можете понять, каким смешным и позорным считается там, если европеец... словом, я не соображал уже, что делал... у меня была только одна мысль: бежать за ней, догнать ее... и я пустился бежать, бежал как сумасшедший по деревенской улице мимо лачуг, где желтый сброд в изумлении теснился у дверей, чтобы видеть, как бежит белый человек, как бежит доктор.

Обливаясь потом, добрался я до станции... Мой первый вопрос был: «Где автомобиль?..» – «Только что уехал...» С удивлением смотрели на меня люди: я должен был показаться им сумасшедшим, когда прибежал мокрый и покрытый грязью и еще издали выкрикивал свой вопрос... На улице за станцией я вижу клубящийся белый дымок автомобиля... ей удалось удрать... удалось, как должны удаваться все ее твердые, жестокие расчеты...

Но бегство ей не поможет... В тропиках нет тайн между европейцами... один знает другого, всякая мелочь вырастает в событие... Не напрасно простоял шофер целый час перед правительственным бунгалом... через несколько минут я знаю все... Знаю, кто она... что живет она внизу в... ну, в областном городе в восьми часах езды отсюда по железной дороге... что она... ну, скажем, жена крупного коммерсанта, безумно богата, из хорошей семьи, англичанка... знаю, что ее муж пробыл теперь пять месяцев в Америке и в ближайшие дни должен приехать, чтобы взять ее с собой в Европу...

Но она, – и эта мысль, как яд, сжигает меня, – она не больше двух или трех месяцев в положении.

– До сих пор я мог еще быть понятным для вас... может быть, только потому, что до этого момента сам еще понимал себя... сам, как врач, ставил диагноз своего состояния. Но тут мной словно овладела лихорадка... я потерял способность управлять собой... то есть я ясно сознавал, как бессмысленно было все, что я делал, но я не имел больше власти над собой... я больше не понимал самого себя... я как безумный бежал вперед, видя перед собой только одну цель... Впрочем, подождите... я постараюсь сделать это более понятным для вас... Знаете вы, что такое «амок»?

– Амок?.. Что-то припоминаю... Это род опьянения у малайцев...

– Это больше чем опьянение... это бешенство, напоминающее собачье... припадок бессмысленной, кровожадной моноμανии, который нельзя сравнить ни с каким другим видом алкогольного отравления... во время своего пребывания там я сам наблюдал несколько случаев, – когда дело идет о других, мы всегда очень рассудительны и деловиты, – но мне так и не удалось выяснить ужасной и таинственной причины этой болезни... Она находится в какой-то связи с климатом, с этой душной, сгущенной атмосферой, которая, как гроза, давит на нервы, пока наконец они больше не выдерживают... Итак, я говорил об амоке... да, амок... вот как это бывает: какой-нибудь малаец, человек простой и добродушный, сидит и тянет свою водку... сидит, отупевший, равнодушный, вялый... как я сидел у себя в комнате... и вдруг вскакивает, хватая кинжал и бросается на улицу... и бежит все вперед и вперед... сам не зная куда... Кто бы ни попался ему на дороге, человек или животное, он убивает его своим крисом, и вид крови еще больше разжигает его... Пена выступает у него на губах во время бега, он воет, как дикий зверь... и бежит, бежит, бежит, не смотрит ни направо, ни налево, бежит, со своим резким криком и с окровавленным крисом в руке, по своему ужасному неуклонному пути... Люди в

деревнях знают, что нет силы, которая могла бы остановить гонимого амоком... они кричат, предупреждая других, при его приближении: «Амок! Амок!» – и все обращается в бегство... а он бежит, не слыша, не видя, убивая встречных... пока его не пристрелят, как бешеную собаку, или он сам не рухнет с пеной у рта...

Я видел это раз из окна своего бунгало... это было жуткое зрелище... но только благодаря тому, что я это видел, я понимаю самого себя в те дни... потому что точно так же, с тем же ужасным, обращенным вперед взором, с тем же бешенством ринулся я... вслед за этой женщиной... Я не знаю теперь, как я все это проделал, с такой чудовищной, безумной быстротой мелькало все мимо меня... Через десять минут, нет, что я говорю, через пять, через две... после того, как я узнал все подробности об этой женщине, ее имя, адрес, историю ее жизни, я мчался уже на одолженном мне велосипеде домой, швырнул в чемодан костюм, захватил денег и уехал в экипаже на железнодорожную станцию... уехал, не предупредив районного чиновника... не назначив себе заместителя, бросив дом на произвол судьбы... Вокруг меня столпились слуги, изумленные женщины о чем-то спрашивали меня, но я не отвечал, даже не обернулся... уехал на железную дорогу и первым поездом отправился в город... Прошло не больше часа с того мгновения, как эта женщина вошла в мою комнату, а я успел уже разбить всю свою жизнь и мчался, гонимый амоком, в пустоту...

Я мчался вперед, готовый головой пробивать стены... в шесть часов вечера я приехал... в десять минут седьмого я был у нее в доме и велел доложить о себе... Это было... вы понимаете... самое бессмысленное, самое глупое, что я мог сделать... но гонимый амоком бежит с незрячими глазами, он не видит, куда бежит... Через несколько минут слуга вернулся... вежливый и холодный... госпожа плохо себя чувствует и не может меня принять...

Я вышел шатаясь... Целый час я бродил вокруг дома в безумной надежде, что она пошлет за мной... лишь затем я занял номер в Странд-отеле и потребовал себе в комнату две бутылки виски... этот виски и двойная доза веронала помогли мне... я наконец уснул... и этот тяжелый, мутный сон был единственной передышкой в этой скачке между жизнью и смертью.

Прозвучал колокол – два твердых, полновесных удара, долго вибрировавших в мягком, почти неподвижном воздухе и постепенно угасших в тихом неумолчном журчании, долетавшем из-под килия и все время сопровождавшем возбужденную речь рассказчика. Человек, сидевший во мраке против меня, как будто вздрогнул, и слова его пресеклись. Я опять услышал, как рука тянется к бутылке, услышал тихое бульканье. Потом, несколько успокоившись, он более твердым голосом начал:

– То, что последовало с этого момента, я едва ли сумею вам передать. Теперь я думаю, что тогда у меня была лихорадка, во всяком случае, я был в состоянии крайнего возбуждения, граничившего с безумием, – человек, гонимый амоком, как я вам говорил. Но не забудьте, что я приехал во вторник ночью, а в субботу, как я успел узнать, должен был прибыть пароходом из Йокогамы ее супруг; следовательно, оставалось только три дня, три коротких дня, чтобы решить вопрос и оказать ей помощь. Поймите: я знал, что должен оказать ей немедленную помощь, и не мог поговорить с ней. И именно эта потребность просить прощения за мое смешное, необузданное поведение и разжигала меня сильнее. Я знал, как драгоценно каждое мгновение, знал, что для нее это вопрос жизни и смерти, и все-таки не имел возможности шепнуть ей словечко, подать ей какой-нибудь знак, потому что она была напугана моим неистовым и нелепым преследованием. Это было... да, подождите... как бывает, когда один бежит перед остеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед, навстречу своей гибели... она видела во мне только гонимого амоком, который преследует ее, чтобы унижить, а я... в этом и была вся ужасная бессмыслица... я больше и не думал об этом... я был вконец уничтожен, хотел только помочь ей, быть ей полезным... я пошел бы на убийство, на преступление, чтобы ей помочь... Но она, она этого не понимала. Когда я утром проснулся

и сейчас же побежал опять к ее дому, у дверей стоял бой, тот самый бой, которого я ударил в лицо, и, как только издали заметил меня, – несомненно, он поджидал меня, – он проворно юркнул в дверь. Возможно, что он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе... возможно... ах, эта неизвестность, как мучит она меня теперь!.. может быть, тогда все было уже подготовлено для моего приема... но в тот миг, когда я его увидел и вспомнил о своем позоре, тогда я опять потерял всякую решимость еще раз повторить свой визит... У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел... ушел в ту минуту, когда она, может быть, в не меньшей муке ждала меня.

Теперь я совсем уже не знал, что делать в этом чужом городе, который пугал и угнетал меня... Вдруг у меня мелькнула мысль; в тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я тогда оказал помощь у себя на станции, и велел о себе доложить... В моем внешнем виде было, вероятно, что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то испуганно, и в его вежливости сквозило беспокойство... по-видимому, он тогда уже отгадал во мне человека, гонимого амоком... Я решительно заявил ему, что прошу перевести меня в город, так как не могу больше выдержать на моем посту... я должен переехать немедленно...

Он взглянул на меня... не могу вам передать, как он на меня взглянул... ну, примерно так, как смотрит врач на больного...

– У вас нервы не выдержали, милый доктор, – сказал он затем, – я это прекрасно понимаю. Ну, это можно будет как-нибудь устроить, подождите только немного... скажем, недели четыре... мне нужно сначала подыскать вам заместителя.

– Не могу ждать ни единого дня, – ответил я.

Он опять взглянул на меня этим странным взглядом.

– Нужно потерпеть, доктор, – серьезно сказал он, – мы не можем оставить станцию без врача. Но обещаю вам, что сегодня же займусь этим.

Я стоял перед ним со стиснутыми зубами; в первый раз я ясно ощутил, что я продавшийся человек, раб. Во мне уже накипало упрямое сопротивление, но он, светский и ловкий, опередил меня:

– Вы отвыкли от людей, доктор, а это тоже своего рода болезнь. Мы тут удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска. Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите, по крайней мере, сегодня вечером, сегодня прием у губернатора, вы встретите всю колонию, а многие давно уже хотели познакомиться с вами, часто осведомлялись о вас и высказывали пожелания, чтобы вы перебрались сюда.

Последние его слова поразили меня. Осведомлялись обо мне? Не она ли? Я сразу словно переродился и, поблагодарив вице-резидента самым вежливым образом за приглашение, обещал быть пунктуальным. И я был точен, даже слишком точен. Нужно ли мне говорить вам, что, гонимый своим нетерпением, я первый явился в огромный зал правительственного здания и стал ждать; безмолвные желтокожие слуги сновали туда и сюда, мягко ступая босыми ногами, и, как мерещилось моему помраченному сознанию, посмеивались за моей спиной. В течение четверти часа я был единственным европейцем среди этой бесшумной толпы и настолько ушел в себя, что слышал только тиканье часов в своем жилетном кармане. Наконец пришли два-три чиновника со своими семьями, а затем появился и сам губернатор, вступивший со мной в продолжительную беседу; я внимательно слушал его и, как мне казалось, удачно отвечал, пока... пока мной не овладела вдруг какая-то необъяснимая нервозность, я потерял самообладание и стал говорить невпопад. Я стоял спиной к входной двери зала, но сразу почувствовал, что вошла она, что она уже здесь. Я не мог бы объяснить вам, как возникла во мне эта смутившая меня уверенность, но, говоря с губернатором и прислушиваясь к звуку его слов, я в то же время ощущал где-то за собой ее присутствие. К счастью, губернатор вскоре окончил разговор, – мне кажется, что, если бы он не отпустил меня, я все равно бы, пренебрегая вежливостью, обернулся бы, так сильно было это странное напряжение моих нервов, так мучительно хотелось

мне оглянуться. И действительно, не успел я повернуться, как увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье, оставлявшее обнаженными прекрасные узкие плечи, сверкавшие, как матовая слоновая кость. Она разговаривала, стоя среди группы гостей. Она улыбалась, но мне показалось, что я уловил на ее лице какое-то напряжение. Я подошел ближе – она не могла меня видеть или не хотела видеть – и смотрел на эту улыбку, любезную и вежливую, игравшую на тонких губах. И эта улыбка снова опьянила меня, потому что она... ну, потому что я знал, что это ложь, искусство, техника, шедевр притворства. Сегодня среда, мелькнуло у меня в голове, в субботу приходит пароход, на котором едет ее муж... как может она так смеяться, так... так уверенно, так беззаботно смеяться и лениво играть веером, вместо того чтобы скомкать его от волнения? Я... я, чужой... я дрожал уже два дня с того часа... я, чужой, переживал за нее ее боязнь, ее ужас, со всеми эксцессами разбушевавшегося чувства... а она явилась на бал и улыбалась, улыбалась, улыбалась...

Где-то позади заиграла музыка. Начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее, она, извинившись, оставила круг своих знакомых и прошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу, но только на секунду, потом она вежливо кивнула мне, соблаговолив узнать меня, как случайного знакомого, прежде чем я успел решить, поклониться мне или нет. «Добрый вечер, доктор». Миг, и она ушла. Никто не мог бы разгадать, что было скрыто в этом серо-зеленом взгляде, и я, я сам этого не знал. Почему она поклонилась... почему вдруг узнала меня?.. Была ли это самозащита, или шаг к примирению, или просто следствие неожиданности? Не могу вам изобразить, в каком я находился волнении, во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее, спокойно вальсирующую в объятиях офицера, с холодным и беспечным выражением на лице, а я ведь знал, что она... что она так же, как и я, думала только о том... только о том... что между нами двумя среди всей этой толпы была ужасная тайна... а она вальсировала... в эти секунды моя боязнь, мое страдание и восхищение были сильнее, чем когда-либо. Не знаю, наблюдал ли кто-нибудь за мной, но, несомненно, я своим поведением выдавал гораздо больше, чем она хотела скрыть, – я не мог заставить себя смотреть в другом направлении, я должен был... да, я должен был смотреть на нее, я пожирал ее глазами, я издали впивался в ее невозмутимое лицо, следя, не уронит ли она маску, хотя бы на миг. Она, несомненно, чувствовала на себе этот упорный взгляд, и ей было неприятно. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня глазами повелительно, словно приказывая уйти. Уже виденная мною однажды складка гордого гнева снова прорезала ее лоб...

Но... но... я ведь уже говорил вам... меня гнал амок, я не оглядывался ни вправо, ни влево. Я мгновенно понял ее, этот взгляд говорил: «Не возбуждай внимания! Владей собой». Я узнал, что она... как бы это выразить?.. что она требовала от меня корректного поведения здесь, в людном зале... Я понимал, что, уйди я теперь домой, я мог бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею... Она хотела только избежать здесь бросающейся в глаза интимности с моей стороны... я знал, что она – и с полным основанием – боится какой-нибудь моей неловкой выходки... Вы видите... я узнал все, я понял этот повелительный взгляд, но... но это было выше моих сил, я должен был говорить с нею. Итак, я, шатаюсь, направился к группе гостей, среди которых она стояла, разговаривая, и присоединился к этому немногочисленному кружку, хотя знал лишь немногих из присутствовавших... Я хотел слышать, как она говорит, но избегал, точно побитая собака, ее взгляда, изредка так холодно скользившего по мне, словно я был холщовой портьерой, к которой прислонился, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова от нее, какого-нибудь знака примирения, стоял, не сводя с нее глаз, среди общего разговора. Безусловно, это должно было уже обратить на себя внимание, безусловно, потому что никто не сказал мне ни слова; и она страдала от моего нелепого поведения.

Долго ли я так простоял, не знаю... может быть, целую вечность... я не мог разорвать этих чар, сковывавших мою волю... Но она больше не могла выдержать... Внезапно она повернулась со свойственной ей восхитительной непринужденностью к мужчинам и сказала: «Я немного утомлена... хочу сегодня раньше лечь... Спокойной ночи!» И вот она уже проплыла мимо меня, едва кивнув головой. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, холодную, обнаженную спину. Прошли мгновения, прежде чем я понял, что она ушла... что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер, в этот последний вечер, когда еще возможно спасение... итак, я стоял, окаменев на месте, пока не понял всего... а тогда... тогда...

Однако подождите... подождите. Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка... сначала я должен описать вам все место действия... Это было в большом зале правительственного здания, в огромном зале, залитом светом и почти пустом... пары ушли танцевать, мужчины – играть в карты... только по углам болтали небольшие кучки... итак, зал был пуст, малейшее движение бросалось в глаза при ярком свете люстр... и она медленно, легкой походкой, шла по этому огромному залу, изредка величественно отвечая на поклонны... она шла с этим высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхищало меня в ней... Я... я оставался на месте, как я вам уже говорил. Я был словно парализован до того мгновения, когда понял, что она уходит... и тогда, когда это понял, она была уже на другом конце зала у самого выхода... Тогда... о, я до сих пор стыжусь вспоминать об этом... тогда что-то вдруг толкнуло меня, и я побежал... вы слышите, я побежал... я не шел, а бежал за ней, и стук моих каблуков громко отдавался в зале... я слышал свои шаги, видел удивленные взгляды, обращенные на меня... я сгорал от стыда... я уже во время бега сознавал свое безумие... но я не мог... не мог вернуться на место... я догнал ее у дверей... Она обернулась... ее глаза серой сталью вонзились в меня, ноздри дрожали от гнева... я только собрался что-то пробормотать... как она... как она... вдруг громко рассмеялась... звонким, беззаботным, искренним смехом и произнесла... так громко, что все могли слышать... «Ах, доктор, теперь только вы вспомнили о рецепте для моего мальчика... Ах, эти люди науки!..»

Стоявшие вблизи добродушно засмеялись... я понял, был поражен – как мастерски спасла она положение!.. Порывшись в бумажнике, я наскоро вырвал из блокнота чистый листок... она спокойно взяла его и... ушла... поблагодарив меня еще раз холодной улыбкой... В первый миг я чувствовал себя хорошо... я видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение... но тут же я понял, что для меня все потеряно, что эта женщина ненавидит меня за мою нелепую горячность... ненавидит больше смерти... понял, что могу сотни раз подходить к ее двери, и она будет отгонять меня, как собаку.

Шатаясь, шел я по залу... я чувствовал, что на меня смотрят... у меня был, вероятно, страшный вид... Я пошел в буфет, выпил подряд две, три... четыре рюмки коньяку... это спасло меня от обморока... нервы больше не выдерживали, они словно оборвались... Потом я выбрался через боковой выход, тайком, как злоумышленник... Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха... я пошел... точно не знаю, куда я пошел... в какие-то кабаки... и напился, напился, как человек, который хочет все забыть... но... но мне не удалось одурманить себя... этот смех звучал во мне, резкий и злобный... этот проклятый смех я никак не мог заглушить... Потом я бродил по гавани... револьвер я оставил в отеле, а то непременно бы застрелился. Я больше ни о чем и не думал и с одной этой мыслью пошел домой... с мыслью о левом ящике комода, где лежал мой револьвер... с одной этой мыслью.

Если я тогда не застрелился... то, клянусь вам, это была не трусость... для меня было бы облегчением спустить уже взведенный холодный курок... но, как бы объяснить это вам... я чувствовал, что на мне еще лежит долг... да, тот долг помощи, тот проклятый долг... меня сводила с ума мысль, что я могу еще быть полезен ей, что я нужен ей, уже... это было ведь утро

четверга, а в субботу... я ведь говорил вам... в субботу должен был прийти пароход, и я знал, что эта женщина, эта надменная, гордая женщина, не переживет своего позора перед мужем и перед светом... О, как мучили меня мысли о бессмысленно потерянном драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной своевременную помощь... часами, часами, клянусь вам, ходил я взад и вперед по комнате и ломал себе голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей... Что она больше не допустит меня к себе, было для меня совершенно ясно... я всеми своими фибрами ощущал еще ее смех и гневное вздрагивание ее ноздрей... часами, часами метался я по своей узкой комнате... был уже день, время приближалось к полудню...

И вдруг меня толкнуло к столу... я выхватил пачку почтовой бумаги и начал писать ей... писать обо всем... визгливое, собачье письмо, в котором я просил у нее прощения, называл себя сумасшедшим, преступником... в котором я умолял ее довериться мне... Я обещал исчезнуть в тот же час из города, колонии, даже из жизни, если бы она этого пожелала... лишь бы она простила мне, и поверила, и позволила помочь ей в этот последний, роковой час... Я исписал двадцать страниц... Это было безумное, невероятное письмо, похожее на горячечный бред. Когда я поднялся из-за стола, я был весь в поту... комната плыла перед глазами, я должен был выпить стакан воды... тогда лишь попытался я перечитать письмо, но мне стало страшно при первых же словах... дрожащими руками сложил я его и собирался уже положить в конверт... и вдруг меня осенило. Я нашел истинное, решающее слово. Еще раз схватил я перо и приписал на последнем листке: «Я жду здесь, в Странд-отеле, Вашего прощения. И если до семи часов не получу ответа, я застрелюсь».

После этого я позвонил бою и велел ему отнести письмо. Наконец-то было сказано все!

* * *

Возле нас что-то зазвенело и покатилося – неосторожным движением он опрокинул бутылку с виски. Я слышал, как его рука шарила по палубе и наконец схватила пустую бутылку; широким взмахом бросил он ее в море. Несколько минут он молчал, потом он продолжал еще более лихорадочно, еще более возбужденно и торопливо:

– Я больше не верю ни во что... для меня нет ни неба, ни ада... а если и есть ад, то я его не боюсь: он не может быть ужаснее тех часов, которые я пережил от полудня до вечера... Вообразите маленькую комнату, нагретую солнцем, все более накаляемую его полуденным жаром... комнатку, где есть только стол, стул и кровать... на этом столе – ничего, кроме часов и револьвера, а за столом – человек... неподвижный и не сводящий взора с секундной стрелки часов... человек, который все время... все, слышите, все время, три часа подряд, смотрит на белый круг циферблата и на маленькую стрелку, с тиканьем бегущую по этому кругу... Так... так... провел я этот день, все ждал, ждал... но делал это так, как делает что-нибудь гонимый амоком, бессмысленно, тупо, с безумным, прямолинейным упрямством.

Ну... я не стану описывать вам эти часы... это не поддается описанию... я и сам ведь не понимаю теперь, как можно было это пережить, не... не сойдя с ума... Итак... в двадцать две минуты четвертого... я знаю точно, потому что смотрел ведь на часы... раздался внезапный стук в дверь... Я вскакиваю... вскакиваю, как тигр, бросающийся на добычу, одним прыжком оказываюсь у двери, распаиваю ее... в коридоре испуганный маленький китайчонок с запиской. Я выхватываю бумажку у него из рук, и он сейчас же исчезает.

Разворачиваю записку, хочу прочесть... я не могу... красные круги плывут передо мной... подумайте об этой муке... наконец, наконец я получил от нее ответ... а тут все прыгает и пляшет перед моими глазами... я окунаю голову в воду... становится лучше... Снова берусь я за записку и читаю:

«Поздно! Но ждите дома. Может быть, я Вас еще позову».

Подписи нет. Бумажка измятая, оторванная от какого-нибудь старого объявления... торопливые, набросанные карандашом строки... я не знал сам, почему меня так взволновал этот листок... какой-то ужас, какая-то тайна была в этих строках, написанных словно во время бегства, где-нибудь на подоконнике или в экипаже... какой-то неопикуемый страх и холод повеяли мне в душу от этой тайной записки... и все-таки... и все-таки я был счастлив... она написала мне, я не должен был еще умирать, она позволяла мне помочь ей... может быть... я мог бы... о, я сразу преисполнился самыми несбыточными надеждами и ожиданиями... Сотни тысяч раз перечитывал я маленькую бумажку, целовал ее... осматривал в поисках какого-нибудь забытого, незамеченного слова... все тяжелее, все туманнее становились мои грезы, это был какой-то фантастический сон с открытыми глазами... оцепенение, тупое и в то же время напряженное, что-то среднее между дремотой и бодрствованием, тянувшееся не то четверть часа, не то целые часы...

Вдруг я встрепенулся... Как будто постучали? Я затаил дыхание... минута, две мертвой тишины... А потом опять тихий, словно мышинный шорох, тихий, но настойчивый стук... Я вскакиваю, голова у меня кружится, открываю дверь – за ней стоит бой, ее бой, тот самый, которому я тогда дал в зубы... его коричневое лицо было пепельного цвета, блуждающий взгляд говорил, что случилось несчастье... Мной овладел ужас...

– Что... что случилось? – с трудом выговорил я.

– Come quickly⁶, – ответил он... и больше ничего...

Мигом сбежал я с лестницы, он за мной... Внизу стояла «садо», маленькая коляска, мы сели...

– Что случилось? – еще раз спросил я...

Дрожа, взглянул он на меня и молчал, стиснув зубы... Я повторил свой вопрос, но он все молчал и молчал... я охотно дал бы ему опять по физиономии, но... меня трогала его собачья преданность этой женщине... и я не стал больше расспрашивать... Колясочка с такой быстротой мчалась по оживленным улицам, что прохожие с ругательствами отскакивали в стороны. Мы оставили за собой европейский квартал на берегу, проехали нижний город и врезались в крикливую сутолоку китайского квартала... Наконец мы добрались до узкой улочки, где-то в стороне... остановились перед низкой лачугой... Домишко был грязный, вросший в землю, впереди – лавчонка, освещенная светом сальной свечки... одна из тех лавчонок, за которыми прячутся курильни опиума и публичные дома, воровские притоны и склады краденых вещей... Бой поспешно постучался... За щелью двери послышался сиплый голос... начались бесконечные расспросы... Я не выдержал, выскочил из экипажа, толкнул прикрытую дверь... передо мной отступила, вскрикнув, испуганная старуха китайка... бой шел за мной, провел меня по узкому проходу... открылась другая дверь... в темную комнату, где стоял запах водки и свернувшейся крови... Оттуда послышался стон... я ощупью пробирался вперед...

Снова пресекался его голос. И дальнейшая речь прерывалась непрерывными всхлипываниями.

– Я... я нащупывал дорогу... и там... там, на грязном матрасе... скорчившись от боли... лежало и стонало человеческое существо... лежала она...

В темноте я не видел ее лица... Мои глаза еще не привыкли... ощупью я нашел ее руку... горячую... как огонь... у нее был жар, сильный жар... и я содрогнулся... я сразу понял все... она убежала сюда от меня... дала первой попавшейся грязной китайке искалечить себя... только потому, что надеялась лучше сохранить так свою тайну... позволила какой-то ведьме убить себя, лишь бы только не довериться мне... только потому, что я, безумец... не пощадил ее гордость, не помог ей сразу... потому что смерти она боялась меньше, чем меня...

⁶ Идите быстрее (англ.).

Я крикнул, чтобы дали свет. Бой вскочил, отвратительная китаянка дрожащими руками внесла коптящую керосиновую лампу... Я должен был сделать над собой усилие, чтобы не схватить за горло желтую бестию... Она поставила лампу на стол... Желтый луч скользнул по измученному телу... И вдруг... вдруг с меня точно рукой сняло все мое отупение и гнев, весь этот нечистый нагар накопившейся страсти... теперь я был только врач, помогающий, исследующий, вооруженный знанием человек... я забыл все личное... мое сознание прояснилось, и я вступил в борьбу с надвигавшимся ужасом... Нагое тело, о котором я столько мечтал, я ощущал теперь только как... ну, как бы это сказать... как материю, как организм... я не чувствовал, что это она, я видел только жизнь, борющуюся со смертью, человека, корчившегося в убийственных муках... Ее кровь, ее горячая, священная кровь текла по моим рукам, но я не чувствовал ни восторга, ни трепета... я был только врач... я видел только страдание... и видел...

Я видел, что все поггло, если не вмещается чудо... у нее было повреждение, и она истекла кровью от неумелого вмешательства преступной руки... а у меня не было ничего в этом гнусном вертепе, чтобы остановить кровь... не было даже чистой воды... все, до чего я ни дотрагивался, было покрыто грязью...

– Нужно сейчас же в госпиталь, – сказал я.

Но не успел я этого произнести, как больная судорожным усилием приподнялась с подушки.

– Нет... нет... лучше смерть... чтобы никто не узнал... чтобы никто не узнал... домой... домой...

Я понял... только за тайну, за свою честь боролась она... не за жизнь... И я послушался... Бой принес носилки... мы уложили ее... и так... словно труп, слабую, в лихорадке... несли мы ее сквозь ночь домой... отстранили недоумевающих, испуганных слуг... как воры... внесли мы ее в комнату и заперли двери... А потом... потом началась борьба, долгая борьба со смертью...

Внезапно в мою руку судорожно впилась рука, и я чуть не вскрикнул от испуга и боли. Я видел во мраке его лицо прямо перед собой, его белые зубы, стучавшие от волнения, стекла очков в отблеске лунного света, точно два огромных кошачьих глаза. Теперь он уже не говорил, он кричал, потрясаемый охватившим его гневом:

– Знаете ли вы, вы – чужой человек, сидящий здесь спокойно на палубном стуле, совершающий увеселительную поездку по свету, – знаете ли вы, что это значит, когда умирает человек? Случалось ли вам когда-нибудь быть при этом, видели ли вы, как корчится тело, как синие ногти впиваются в пустоту, как хрипит глотка, как каждый член борется, каждый палец упирается в борьбе с неумолимым призраком, как глаза вылезают из орбит от ужаса, которого не передать словами? Случалось ли вам переживать это, вам, праздному человеку, туристу, вам, рассуждавшему о долге помощи? Я часто видел все это, как врач, видел это, как... как клинические случаи, как факты... я, так сказать, изучал это, но пережил я это только один раз... я вместе с умирающей переживал это в ту ночь... в ту ужасную ночь, когда я сидел и напрягал свой мозг, чтобы найти что-нибудь, придумать, изобрести против крови, которая все лилась, лилась и лилась, против лихорадки, сжигавшей ее на моих глазах... против смерти, которая подходила все ближе и которую я не мог отогнать от ее постели. Понимаете ли вы, что это значит: быть врачом, знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь, как вы так основательно заметили, – и все-таки сидеть бессильно возле умирающей, знать и не иметь силы... знать только одно, только эту ужасную истину, что помочь нельзя... нельзя, хотя бы даже вскрыв все вены в своем теле... видеть беспомощно истекающее кровью любимое тело, терзаемое болью, чувствовать пульс, учащенный и прерывистый... быть врачом и ничего не знать, ничего, ничего, ничего... только сидеть и бормотать какую-нибудь молитву, как церковная старушонка, или угрожать кулаками ничтожеству – Богу, о котором только и

знаешь, что его нет. Понимаете вы это? Понимаете?.. Я... я только одного не понимаю: как... как люди умудряются не умереть вместе с больными в такие минуты... как, поспав, встают на следующее утро и чистят зубы, и завязывают галстук... как можно жить... жить после того, что я пережил... когда я чувствовал, как улетает ее дыхание... как этот человек, за которого я боролся, которого хотел удержать всеми силами моей души, ускользает от меня... куда-то в неведомое, ускользает с каждой минутой все быстрее, и я ничего не нахожу в своем лихорадочном мозгу, что бы могло удержать этого человека...

И к тому же еще, чтобы удвоить мои дьявольские муки... еще вот это... Когда я сидел у ее постели, я дал ей морфий, чтобы успокоить боли, и смотрел, как она лежит, с пылающими щеками, горячая и истомленная, да... когда я так сидел, я все время чувствовал два глаза, устремленные на меня с ужасным напряжением... Это бой сидел на корточках на полу и шептал какие-то молитвы... Когда его взор встречался с моим, то в нем... нет, я не могу это изобразить... в нем отражалась такая мольба, такая благодарность была в его собачьем взгляде, и в такие минуты он протягивал ко мне руки, словно заклинал меня ее спасти... вы понимаете... ко мне, ко мне простирал он руки, как к Богу... ко мне... безвольному, бессильному человеку, знавшему, что все потеряно... знавшему, что он здесь так же не нужен, как ползущий по полу муравей... Ах, этот взгляд, как мучил он меня... эта фантастическая, эта животная надежда на мое искусство... я мог бы крикнуть на него и ударить ногой, такую боль причинял он мне... и все-таки я чувствовал, что мы оба связаны нашей любовью к ней... и тайной... Как притаившийся зверь, сидел он, свернувшись клубком за моей спиной... стоило мне потребовать чего-нибудь, как он вскакивал, бесшумно ступал своими голыми подошвами и, дрожа... исполненный ожидания, подавал просимую вещь, словно в этом была помощь... спасение... Я знаю, он позволил бы вскрыть себе вены, чтобы ей помочь... такая женщина это была, такую власть имела она над людьми... а я... у меня не было власти спасти каплю ее крови... О, эта ночь, эта ужасная, бесконечная ночь между жизнью и смертью!

К утру она еще раз очнулась... открыла глаза... теперь в них не было ни высокомерия, ни холодности... они горели влажным, лихорадочным блеском, когда она, словно чужая, озиралась в комнате... потом она взглянула на меня: казалось, она думала, старалась вспомнить что-то, глядя мне в лицо... и вдруг... я видел это... она вспомнила... какой-то страх, какое-то негодование... что-то... что-то... враждебное, гневное исказило ее лицо... она начала двигать руками, как будто хотела бежать... прочь, прочь, прочь от меня... я видел, что она думала о том... о том часе, когда я... Но потом к ней вернулось сознание... она спокойно смотрела на меня, но тяжело дышала... я чувствовал, что она хочет говорить, что-то сказать... опять пришли в движение ее руки... она хотела приподняться, но была слишком слаба... Я успокаивал ее, наклонился над ней... тогда она посмотрела на меня долгим, полным страдания взглядом... ее губы тихо шевелились... это был последний угасающий звук... она сказала:

– Никто не узнает?.. Никто?

– Никто, – сказал я решительным, уверенным голосом, – обещаю вам.

Но в глазах ее все еще было беспокойство... Невнятно, с усилием она пробормотала:

– Поклянитесь мне... что никто не узнает... поклянитесь.

Я поднял руку, как для присяги. Она смотрела на меня... неописуемым взглядом... нежным, теплым, благодарным... да, поистине, поистине благодарным... она хотела еще что-то сказать, но ей было слишком трудно... Долго лежала она, обессилив от напряжения и закрыв глаза. Потом начался ужас... ужас... Еще долгий, мучительный час боролась она. Только к утру настал конец.

Он долго молчал. Я заметил это только тогда, когда со средней палубы раздался в тишине колокол: один, два, три сильных удара – три часа. Лунный свет потускнел, но в воздухе уже дрожала какая-то новая желтизна, и изредка налетал легкий ветерок. Еще полчаса, час, и настанет

день, и весь этот кошмар погаснет в его ярком свете. Теперь я яснее видел черты рассказчика, так как тени не были уже так густы и черны в нашем углу. Он снял фуражку, и я увидел его лысину и измученное лицо, казавшееся еще более страшным. Но вот сверкающие стекла его очков опять усталились на меня, он сел прямее, и его голос принял резкий язвительный тон.

– Для нее теперь настал конец, но не для меня. Я был наедине с трупом – и один в чужом доме, один в городе, не терпевшем тайн, и я... я должен был оберегать тайну... Да, вообразите себе все это положение: женщина из лучшего общества колонии, совершенно здоровая, танцевавшая накануне на правительственном балу, лежит вдруг мертвая в своей постели... при ней находится чужой врач, которого будто бы позвал ее слуга... Никто в доме не видел, когда и откуда он пришел... Ночью внесли ее на носилках и потом заперли двери... А утром она была уже мертва... Тогда лишь позвали слуг, и весь дом вдруг огласился воплями... в тот же миг об этом узнают соседи, весь город... И только один человек может все это объяснить... это – я, чужой человек, врач с отдаленной станции... Приятное положение, не правда ли?..

Я знал, что мне предстояло. К счастью, возле меня был бой, славный мальчуган, который читал малейшее желание в моих глазах, даже это желтокожее тупое животное понимало, что здесь еще придется выдержать борьбу. Мне достаточно было сказать ему: «Госпожа желает, чтобы никто не узнал, что произошло». Он посмотрел мне в глаза своим влажным собачьим, но в то же время решительным взглядом. «Yes, sir»⁷, – больше он ничего не сказал. Но он вытер с пола следы крови, привел себя в полный порядок, и эта решительность его действий вернула и мне самообладание. Никогда в жизни, я знаю это, я не проявлял подобной энергии и никогда больше не смогу ее проявить. Когда человек потерял все, то за последнее он борется с остервенением – и этим последним было ее завещание, ее тайна. Я с полным спокойствием принимал людей, рассказывал им всем одну и ту же вымышленную историю о том, как посланный ею за врачом бой случайно встретил меня по дороге. Но в то время, как я, по-видимому, спокойно рассказывал все это, я ждал... ждал решительной минуты... ждал освидетельствования трупа, которое должно было состояться, прежде чем мы могли запереть в гроб ее – и тайну вместе с нею... Не забудьте, что была пятница, а в субботу должен был приехать ее муж...

В девять часов мне наконец доложили о приходе городского врача. Я велел его впустить, он был старше меня по чину и в то же время мой соперник, тот самый врач, о котором она в свое время так презрительно отзывалась и которому, очевидно, были уже известны мои хлопоты о переводе. Я почувствовал это, как только он взглянул на меня, – он был моим врагом. Но именно это и придало мне силы.

Уже в передней он спросил:

– Когда умерла госпожа?... – Он назвал ее имя.

– В шесть часов утра.

– Когда она послала за вами?

– В одиннадцать вечера.

– Вы знали, что я ее врач?

– Да, но дело было спешное... и затем... покойная определенно требовала, чтобы пришел я. Она запретила звать другого врача.

Он уставился на меня; румянец появился на его бледном, несколько ожиревшем лице; я чувствовал, что его самолюбие уязвлено. Но это мне только и нужно было: я всеми силами стремился к быстрой развязке, потому что сознавал, что долго мои нервы не выдержат. Он хотел ответить какой-то колкостью, но раздумал и с небрежным видом сказал:

– Ну что же, если вы думали, что можете обойтись без меня, но все-таки мой служебный долг – удостоверить смерть и... отчего она наступила.

⁷ Да, сэр (англ.).

Я ничего не ответил и пропустил его вперед. Затем я вернулся к двери, запер ее и положил ключ на стол. Он удивленно поднял брови:

– Что это значит?

Я спокойно встал против него:

– Тут речь идет не о том, чтобы установить причину смерти, а о том, чтобы скрыть ее. Эта женщина позвала меня, чтобы я помог ей после... после неудачного вмешательства... я уже не мог ее спасти, но обещал ей спасти ее честь и исполню это. И я прошу вас помочь мне!

Он широко раскрыл глаза от изумления.

– Неужели вы хотите сказать, – пробормотал он, – что я, официальный врач, должен покрыть здесь преступление?

– Да, я этого хочу, я должен этого хотеть.

– Чтобы я за ваше преступление...

– Я уже сказал вам, что я и не прикасался к этой женщине, иначе... иначе я не стоял бы перед вами и давно бы уже покончил с собой. Она искупила свой проступок, – если вам угодно так это называть, – и свет ничего не должен об этом знать. И я не потерплю, чтобы честь этой женщины была теперь бессмысленно поругана.

Мой решительный тон вызвал в нем еще большее раздражение.

– Вы не потерпите... так... ну, вы ведь мой начальник... или, по крайней мере, собираетесь стать им... попробуйте только приказывать мне... я сразу подумал, что тут какая-то грязная история, раз вас вызывают из вашего угла... недурной практикой вы тут занялись... недурной пробный образец... Но теперь я приступлю к осмотру, я сам, и вы можете быть уверены, что протокол, под которым будет стоять мое имя, будет в полном порядке. Я не подпишу лжи.

Я остался спокоен.

– На этот раз вам придется все-таки это сделать. До тех пор вы не выйдете из комнаты.

При этом я сунул руку в карман – моего револьвера при мне не было. Но мой коллега все-таки вздрогнул. Я на шаг приблизился к нему и посмотрел на него.

– Послушайте, я вам скажу пару слов... чтобы избежать крайностей. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены... чужая – тоже... я дошел уже до такого предела... единственное, что имеет для меня значение, это выполнить свое обещание и сохранить в тайне причину этой смерти... Слушайте: я даю вам честное слово, если вы подпишете свидетельство, что смерть вызвана... какой-нибудь случайностью, то я в течение недели покину город, покину Индию... я, если вы этого потребуете, возьму револьвер и застрелюсь, как только гроб будет опущен в землю и я смогу быть спокоен, что никто... вы понимаете, никто... не станет заниматься расследованиями. Этого будет для вас достаточно, это должно вас удовлетворить.

В моем голосе было, несомненно, что-то угрожающее, что-то опасное, потому что по мере того, как я невольно приближался к нему, он отступал с тем же выражением ужаса, с каким... ну, с каким люди спасаются от одержимого амоком, когда он бешено мчится вперед, размахивая крисом... И сразу он стал другим... каким-то пришибленным и безвольным... от его уверенного тона не осталось и следа. В виде слабого протеста он промямлил еще:

– Это было бы первый раз в моей жизни, что я подписал бы ложное свидетельство... но так или иначе какую-нибудь форму можно будет подыскать... бывают всякие случаи... Однако не мог же я так, без всяких...

– Конечно, не могли, – поспешно поддержал я его (только скорее!., только скорее!.. – стучало у меня в висках), – но теперь, когда вы знаете, что вы только обидели бы живого и жестоко поступили бы с умершей, вы, конечно, не станете колебаться.

Он кивнул головой. Мы подошли к столу. Через несколько минут удостоверение было готово (оно было затем опубликовано в газетах и вполне правдоподобно описывало картину сердечного паралича). После этого он встал и посмотрел на меня:

– Вы уедете на этой же неделе, не правда ли?

– Даю вам честное слово.

Он снова посмотрел на меня. Я заметил, что он хочет казаться строгим и деловитым.

– Я сейчас же закажу гроб, – сказал он, чтобы скрыть свое смущение. Но особенно мучительно для меня было, – я не знаю сам почему, – когда он вдруг протянул мне руку и с неожиданной сердечностью потряс мою.

– Желаю вам молодцом перенести это, – сказал он, и я не знал, что он имеет в виду. Был ли я болен? Или... сошел с ума? Я проводил его до двери, отпер и, делая над собой последнее усилие, запер за ним. Потом начался опять этот стук в висках, все закачалось и завертелось передо мной, и перед самой ее постелью я рухнул на пол... как... падает с оборвавшимися нервами гонимый амоком в конце своего безумного бега.

Он опять замолчал. Меня знобило – вероятно, от того, что первый порыв утреннего ветра легкой волной пробежал по кораблю. Но на измученном лице, которое я уже ясно различал в свете сумерек, снова уже появилось напряженное выражение.

– Не знаю, долго ли пролежал я так на циновке. Вдруг я почувствовал легкое прикосновение. Я вскочил. Это был бой, с робким и почтительным видом стоявший передо мной и тревожно заглядывавший мне в глаза.

– Сюда хотят войти... хотят видеть ее...

– Не впускать никого!

– Да... но...

В его глазах был испуг. Он хотел что-то сказать и не решался. Верное животное испытывало какое-то страдание.

– Кто это?

Он, дрожа, посмотрел на меня, словно ожидая удара. А потом он сказал, – он не назвал имени... откуда берется вдруг в таком низшем существе столько понимания? Почему в иные мгновения удивительное чувство такта осеняет подобных совершенно темных людей?.. Он сказал... тихо и боязливо:

– Это он.

Я вскочил, понял сразу, и меня охватило жгучее желание и нетерпение увидеть этого незнакомца. Дело в том, видите ли, что, как это ни странно... но среди всей этой муки, среди этих лихорадочных волнений, страхов и сумятицы я совершенно забыл о нем... забыл, что в деле замешан еще один мужчина... человек, которого любила эта женщина, кому она в пылу страсти отдала то, в чем отказала мне... За двенадцать, за двадцать четыре часа до этого я ненавидел этого человека, мог бы разорвать его на куски... Но теперь... я не могу, не могу передать вам, как меня тянуло увидеть его... полюбить его за то, что она его любила.

Одним прыжком я очутился у двери. Передо мной стоял молодой, совсем молоденький офицер, блондин, очень неловкий, очень стройный, очень бледный. Он выглядел совсем ребенком, так... так трогательно молод он был... и несказанно потрясло меня, как он старался быть мужчиной, показать выправку... скрыть свое волнение... Я сразу заметил, что у него дрожала рука, когда он поднес ее к фуражке... Мне хотелось обнять его... потому что он был именно таким, каким я хотел видеть человека, обладавшего этой женщиной... не соблазнитель, не гордец... нет, полурбенку, чистому, нежному созданию подарила она себя.

В крайнем смущении стоял передо мной молодой человек. Мой жадный взор и порывистые движения еще более смутили его. Маленькие усики над губой предательски вздрагивали... этот юный офицер, этот ребенок должен был сделать над собой усилие, чтобы не расплакаться.

– Простите, – сказал он наконец, – я хотел еще раз... увидеть... госпожу...

Невольно, сам не замечая этого, я положил ему, чужому человеку, руку на плечо и повел его, как ведут больного. Он посмотрел на меня изумленным и бесконечно благодарным взглядом.

дом... в этот миг между нами уже зародилось сознание какой-то общности... Я повел его к ней... Она лежала, белая, в белых простынях, я почувствовал, что мое присутствие все еще стесняло его... поэтому я отошел назад, чтобы оставить его наедине с ней. Он медленно приблизился к постели... дрожащими шагами, волоча за собой ноги... по тому, как поднимались его плечи, я видел, какая боль разрывает ему грудь... он шел... как человек, идущий против чудовищной бури... И вдруг упал на колени перед постелью... так же, как раньше упал я.

Я подскочил к нему, поднял и усадил в кресло. Он больше не стыдился и разразился рыданиями. Я не мог произнести ни слова и только бессознательно проводил рукой по его светлым, мягким, как у ребенка, волосам. Он схватил меня за руку... с каким-то страхом... и вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд...

– Скажите мне правду, доктор, – пробормотал он, – она не наложила на себя руки?

– Нет, – повторил я, хотя у меня уже готов был вырваться из горла крик: «Я! Я! Я!.. И ты! Мы оба! И ее упрямство, ее злосчастное упрямство!»

Но я удержался и повторил еще раз:

– Нет... никто не виноват... Это был рок!

– Мне не верится, – простонал он, – не верится. Позавчера только она была на балу, улыбалась, кивнула мне. Это невысказанно, как это могло случиться?

Я начал плести длинную историю. Даже ему не выдал я ее тайны. Все эти дни мы, как два брата, беседовали с ним, словно озаренные связывавшим нас чувством... мы друг другу не веряли его, но каждый из нас чувствовал, что жизнь другого тесно связана с этой женщиной... Иногда запретное слово готово было сорваться с моих уст, но я стискивал зубы, и никогда он не узнал, что она носила под сердцем ребенка от него... что я должен был убить этого ребенка, его ребенка... и что она увлекла его с собой в пропасть. И все же мы говорили только о ней в эти дни, пока я скрывался у него... потому что – я забыл это вам сказать – меня разыскивали... Ее муж приехал, когда гроб был уже закрыт... он не хотел верить официальной версии... ходили какие-то слухи... и он искал меня... Но я не мог решиться на встречу с ним... увидеть его, человека, как я знал, заставлявшего ее страдать... я спрятался... четыре дня не выходил я из дома, четыре дня мы оба не покидали квартиры... Ее возлюбленный купил для меня на чужое имя место на пароходе, чтобы я мог бежать... словно вор, прокрался я ночью на палубу, чтобы никто меня не узнал... Я бросил там, в глуши, все, что у меня было... свой дом и работу, на которую потратил семь лет жизни. Все мое добро брошено на произвол судьбы... а начальство, вероятно, уже уволило меня со службы, так как я без разрешения оставил свой пост... Но я больше не мог жить в этом доме, в этом городе... в этом мире, где все напоминает мне о ней... Как вор, бежал я ночью... только чтобы уйти от нее... забыть...

Однако... когда я вступил на борт... ночью... в полночь... мой друг был со мной... тогда... тогда... как раз поднимали что-то краном... что-то продолговатое, черное... Это был ее гроб... Вы слышите? Ее гроб... Она преследовала меня, как раньше я преследовал ее... и я должен был стоять тут же, с безучастным видом, потому что он, ее муж, был тоже тут... Он сопровождал тело в Англию... может быть, он хочет произвести там вскрытие... Он овладел ею... теперь она опять принадлежит ему... Уже не нам... нам обоим... Но я еще здесь... Я пойду за ней до конца... Он не узнает, он не должен никогда узнать... Я сумею защитить ее тайну от всякого посягательства... от этого негодяя, из-за которого она пошла на смерть... Ничего, ничего ему не узнать... ее тайна принадлежит мне, только мне одному...

Понимаете вы теперь... понимаете вы... почему я не могу видеть людей... не выношу их смеха... когда они флиртуют и ходят парочками... потому что там, внизу... внизу, в трюме, между тюками чая и кокосовыми орехами, стоит ее гроб... Я не могу пробраться туда, там заперто... но я чувствую это, чувствую каждую секунду... чувствую и тогда, когда здесь играют вальсы и танго... Это ведь глупо, на дне моря лежат миллионы мертвых; под любой пядью земли, на которую мы наступаем ногой, гниет труп... Но все-таки я не выношу, не могу выне-

сти, когда устраивают здесь маскарады и так плотоядно смеются... Я чувствую здесь эту мертвую и знаю, чего она от меня хочет... я знаю, на мне еще лежит долг... я еще не кончил... Ее тайна еще не погребена... она еще не отпускает меня...

На средней палубе зашаркали шаги, зашлепали мокрые метлы – матросы начинали уборку. Он вздрогнул, как человек, застигнутый врасплох; на истерзанном лице отразился испуг. Он встал и пробормотал:

– Мне пора... пойду уж.

Мучительно было на него смотреть – страшен был пустой взгляд его опухших глаз, красных от алкоголя или от слез. Его стесняло мое участие; я ощущал во всей его сгорбленной фигуре стыд, мучительный стыд за откровенность со мной в минувшую ночь. Невольно я сказал:

– Вы позволите мне зайти после обеда к вам в каюту...

Он посмотрел на меня, жесткая усмешка исказила его губы. С какой-то злобой выдавливал он из себя каждое слово:

– Эге... наш знаменитый долг... помогать... Эге... этим самым словом вы и подзадорили меня на болтовню. Ну нет, сударь, спасибо. Пожалуйста, не воображайте, что мне теперь легче, после того как я перед вами вывернул наружу все свои внутренности. Жизнь свою я проворонил, и никто мне ее не починит... Вышло так, что напрасно я трудился для почтенного голландского правительства... Пенсия – тью-тью, бездомным псом возвращаюсь я в Европу... псом, с визгом плетущимся за гробом... Безнаказанно не бегут в бреду амока: рано или поздно меня подкосит, и я надеюсь, что конец уже близок... Нет, спасибо, сударь, за любезное желание меня посетить... Я уже завел себе приятелей в своей каюте... две-три бутылки доброго старого виски... они меня иногда утешают... а затем мой старинный друг, к которому я, к сожалению, своевременно не обратился, мой славный «браунинг»... он-то уж поможет лучше всякой болтовни... Прошу вас, не утруждайте себя... у человека всегда остается его последняя возможность – околеть, как ему вздумается... и при этом отклонить всякую постороннюю помощь.

Он еще раз насмешливо, даже вызывающе посмотрел на меня, но я чувствовал – в нем говорил только стыд, бесконечный стыд. Потом он втянул голову в плечи, повернулся и, не прощаясь, пошел кривой и расслабленной походкой по уже светлой палубе к каютам. Больше я его не видел. Напрасно искал я его в ближайшие ночи на обычном месте. Он исчез, и я мог бы предположить, что все это был сон или галлюцинация, если бы мое внимание не было привлечено одним пассажиром с траурным флером на рукаве. Это был крупный голландский коммерсант, и мне подтвердили, что он действительно только что потерял жену, скончавшуюся от какой-то тропической болезни. Я видел, как он, с суровым, измученным лицом, прогуливался в стороне от других, и мысль, что я знаю его сокровенные думы, несказанно волновала и пугала меня; я всегда сворачивал с дороги, когда встречался с ним, боясь неосторожным взглядом выдать, что я знаю о его судьбе больше, чем он сам.

В порту Неаполя произошел после этого тот необычный несчастный случай, объяснение которого нужно, мне кажется, искать в рассказе доктора. Большинство пассажиров вечером съехало на берег, я сам отправился в оперу, а оттуда в одно из ярко освещенных кафе на Виа Рома. Когда мы в ялике возвращались на пароход, мне бросилось в глаза, что несколько лодок с факелами и ацетиленовыми фонарями кружили и искали что-то вокруг корабля, а наверху в темноте таинственно ходили по палубе карабинеры и жандармы. Я спросил у одного из матросов, что случилось. Он уклонился от ответа, и было ясно, что ему приказано молчать. На следующий день, когда пароход мирно и без малейшего следа какого-либо происшествия пошел дальше, в Геную, на борту по-прежнему ничего нельзя было узнать; и лишь в итальянских газетах я потом прочел романтически разукрашенное сообщение о несчастном случае в Неаполе.

В ту ночь, писали газеты, в поздний час, чтобы не смущать печальным зрелищем пассажиров, с борта парохода спускали в лодку гроб знатной дамы из голландских колоний. Носильщик спускался с ним по веревочной лестнице, а муж покойной помогал ему, держа за веревку. В этот миг что-то тяжелое рухнуло с высоты борта и увлекло за собой и гроб, и обоих мужчин в воду. Одна из газет утверждала, что это был какой-то сумасшедший, бросившийся сверху на веревочную лестницу. По другой версии, лестница оборвалась сама, от чрезмерной тяжести. Как бы то ни было, пароходная компания приняла, очевидно, все меры, чтобы скрыть истину. С большим трудом спасли из воды носильщика и мужа покойной, но свинцовый гроб тотчас же пошел ко дну, и его не удалось найти. Появившаяся одновременно заметка о том, что в порту прибило к берегу труп неизвестного сорокалетнего мужчины, не привлекла к себе внимания публики, так как, по-видимому, вовсе не была связана с романтически описанным происшествием; но передо мной, как только я прочел эти беглые строки, еще раз призрачно выступило из-за газетного листа бледное, как месяц, лицо со сверкающими стеклами очков.

Фантастическая ночь

Нижеследующие заметки найдены были в запечатанном конверте в письменном столе барона Фридриха Микаэля фон Р... после того, как он, осенью 1914 года, пал в сражении при Рава-Русской, служа обер-лейтенантом запаса в одном драгунском полку Семья покойного, решив по заглавию и после беглого просмотра этих листков, что они представляют собою всего лишь литературный опыт, передала мне их на рассмотрение и разрешила опубликовать. Я, со своей стороны, смотрю на это произведение отнюдь не как на вымысел, а как на правдивую во всех своих подробностях повесть о том, что действительно пережил усопший, и, утаив его имя, предаю гласности эту исповедь без всяких изменений и добавлений.

Сегодня утром вдруг меня озарила мысль, что мне следовало бы для самого себя записать события той фантастической ночи, чтобы наконец обзреть их в связном виде и в естественной их последовательности. И начиная с этого мгновения я испытываю необъяснимую потребность изложить письменно это приключение, хотя и сомневаюсь, удастся ли мне, пусть даже приближенно, выразить необычайность происшедшего. Я совершенно лишен так называемого художественного дара, нимало не искушен в литературе и если не говорить о некоторых гимназических произведениях преимущественно шуточного характера, то никогда и не пробовал писать. Например, я не знаю даже, существует ли особая, поддающаяся усвоению техника, позволяющая сочетать чередование внешних событий и одновременное их описание и осмысление; я задаюсь также вопросом, способен ли я всегда придавать смыслу надлежащее слово, слову – надлежащий смысл и тем самым устанавливать то равновесие, которое я бессознательно всегда ощущал при чтении хороших произведений. Но я ведь пишу эти строки только для себя, и они нимало не предназначены объяснить другим нечто такое, что я с трудом понимаю сам. Они являются всего лишь попыткой наконец-то, в известном смысле, отделаться от одного происшествия, которое непрестанно занимает мои мысли, приводя их в мучительное брожение, – зафиксировать его, поставить перед собою и рассмотреть со всех сторон.

Я не рассказал об этом событии ни одному из своих приятелей, руководствуясь именно тем чувством, что не смогу им объяснить самое в нем существенное, да и как-то стыдясь того, что столь случайные обстоятельства так меня потрясли и переположили. Ведь все в целом представляет собою, в сущности, незначительное приключение. Но, едва лишь написав это слово, я уже начинаю замечать, как трудно неопытному человеку выбирать слова надлежащего веса и какая двусмысленность, какая возможность быть истолкованным ложно присуща каждому, самому простому обозначению. Ибо, если я называю свое приключение незначительным, то понимаю это, разумеется, только в относительном смысле, в противоположность крупным драматическим событиям, в которые вовлекаются целые народы со своими судьбами, и понимаю это, с другой стороны, в смысле длительности, потому что все происшедшее развернулось на протяжении каких-нибудь шести часов. Для меня же это – вообще говоря, мелкое, мало-важное и незначительное – событие имело столь большое значение, что еще и теперь – спустя четыре месяца после той фантастической ночи – я им пылаю и должен напрягать все свои духовные силы, чтобы скрывать его в своей груди. Ежедневно, ежечасно перебираю я в памяти все его подробности, ибо оно стало как бы стержнем всего моего существования. Все, что я делаю и говорю, безотчетно для меня определяется им, мысли мои заняты исключительно тем, что воспроизводят его снова и снова и тем самым утверждают меня во владении им. И теперь мне вдруг стало ясно то, что я не сознавал еще десятью минутами раньше, когда взялся за перо: что я для того лишь излагаю теперь это происшествие письменно, чтобы иметь его перед собою совершенно точно и как бы вещественно зафиксированным, еще раз его прочувствовать и в то же время понять. Я выразился совсем неправильно, совсем ложно, только что сказав, что

хочу от него отделаться; напротив, я хочу еще больше жизни вдохнуть в слишком быстро пережитое, наделив его теплом и дыханием, чтобы иметь возможность постоянно его ощущать. О, я не боюсь забыть хотя бы одну секунду того знойного дня, той фантастической ночи; мне не надобно ни камней, ни вех, чтобы шаг за шагом снова пройти в воспоминаниях путь этих часов: как лунатик, попадаю я в любое время, посреди дня, посреди ночи, в их сферу и вижу в ней каждую подробность с той зоркостью, какую знает только сердце, а не мягкая память. Я мог бы и теперь с не меньшей уверенностью нанести на бумагу очертания каждого отдельного листка в зеленеющем весеннем ландшафте, я еще теперь, осенью, чувствую нежный пыльный аромат стоящих в цвету каштановых деревьев; и поэтому, если я еще раз описываю эти часы, то не из боязни их утратить, а радуясь тому, что их снова обрел. И когда я теперь, в точной последовательности, представляю себе превращения той ночи, то вынужден, ради стройности изложения, сдерживаться, потому что стоит мне подумать о подробностях, как в душе моей поднимается какой-то дурман, своего рода экстаз овладевает мною, и мне приходится пропускать воспоминания сквозь запруды, чтобы они в многоцветном опьянении не ринулись друг на друга. Все еще переживаю я со страстным пылом пережитое, тот день, 7 июня 1913 года, когда я в полдень сел в фиакр...

Но снова, чувствую, нужно мне остановиться, потому что испуганно вновь замечаю, как обоюдоостро, как многозначно каждое отдельное слово. Только теперь, когда мне впервые предстоит нечто в связном виде изложить, я вижу, как трудно заключить в сжатую форму то ускользящее, чем все же является все живое. Только что я написал «я», сказал, что 7 июня 1913 года, в полдень, сел в фиакр. Но уже это слово ведет к неясности, потому что тем «я», каким я был 7 июня, я быть уже давно перестал, хотя только четыре месяца прошло с того времени, хотя жить я продолжаю в квартире прежнего «я» и пишу за его столом, его пером и его собственной рукою. От того прежнего человека – и как раз под влиянием этого события – я отрешился совершенно, я гляжу на него теперь со стороны, бесстрастно и холодно, и могу его описывать, как товарища, сверстника, друга, о котором знаю много существенного, но которым сам я отнюдь уже не являюсь. Я мог бы о нем говорить, порицать его или осуждать, и при этом не чувствовать вообще, что он мне принадлежал когда-то.

Человек, каким я был в ту пору, внешне и внутренне мало отличался от большинства людей его социального класса, который принято, в частности, у нас, в Вене, называть без особой гордости, но вполне убежденно «хорошим обществом». Мне шел тридцать шестой год, родители мои рано умерли и оставили мне, незадолго до моего совершеннолетия, состояние, оказавшееся достаточно значительным, чтобы вполне избавить меня от забот о заработке и карьере. Таким образом я неожиданно освободился от одного решения, которое меня в то время очень беспокоило. Как раз в эту пору я окончил университет и стоял перед выбором дальнейшего поприща деятельности, которым явилась бы, вероятно, в силу наших семейных связей и моей рано уже обнаружившейся склонности к спокойно расширяющемуся и созерцательному существованию, государственная служба. Но тут мне досталось как единственному наследнику состояние родителей и обеспечило мне нежданную праздную независимость, даже в довольно широких пределах роскоши. Честолюбием я никогда не страдал, а поэтому решил сначала, в течение нескольких лет, понаблюдать жизнь, пока сам не почувствую потребности найти себе какое-нибудь поле деятельности. Но так я и остался наблюдателем жизни, ибо, не испытывая никаких особых стремлений, достигал всего в узком кругу своих желаний; изнеженный и сластолюбивый город Вена, доводящий поистине до художественного совершенства привычку шататься без дела, глазеть по сторонам и быть элегантным, превращающий ее в цель существования, заставил меня совсем позабыть о влечении к серьезной деятельности. Мне достались в удел все удовольствия, доступные изящному, знатному, состоятельному, приятной внешности молодому человеку, лишенному вдобавок честолюбия, – безопасные увлечения игрой, охотой, регулярные улады экскурсий и путешествий, – и вскоре я принялся, все с

большей тщательностью и художественностью, украшать эту созерцательную жизнь. Я собирал редкий фарфор, не столько по душевному влечению, сколько ради удовольствия, какое доставляет приобретение навыка и знания в пределах неутомительной деятельности. Я украсил свою квартиру особого рода итальянскими гравюрами барокко и пейзажами в манере Каналетто, поиски которых у антикваров и приобретение на аукционах были полны для меня спортивного, но нисколько не опасного азарта. Занимался многими вещами с охотой и всегда со вкусом, редко пропускал концерты и выставки картин. У женщин я имел успех немалый, и в этой области тоже вкусил, с тайной страстью коллекционера, много памятных и ценных мгновений, постепенно превратившись из простого сластолюбца в знатока и ценителя.

В общем, я много переживал такого, что приятно наполняло мой день и позволяло мне считать мою жизнь богатой, и я начинал все больше любить эту теплую, сладостную атмосферу оживленной и все же не ведавшей никаких потрясений молодости, почти уже не испытывая новых желаний, ибо совсем незначительные вещи в безбурном воздухе моих дней способны были претворяться в радость. Хорошо выбранный галстук мог меня привести чуть ли не в веселое настроение; автомобильная поездка, прекрасная книга или свидание с женщиной – дать мне ощущение блаженства. Особенно был мне приятен такой образ существования тем, что он ни в каком отношении, совершенно как безупречно сшитый английский костюм, никому не бросался в глаза. Думается мне, что на меня смотрели как на приятное явление, в обществе меня любили и охотно принимали, и большинство знакомых называло меня счастливым человеком.

Теперь уж я не мог бы сказать, чувствовал ли сам себя счастливым тот прежний человек, которого я стараюсь представить себе; ибо ныне, когда я, под влиянием пережитого, требую для каждого чувства значительно более полного смысла, мне представляется почти невозможной всякая оценка прежнего моего самочувствия. Но я могу с уверенностью сказать, что в это время, во всяком случае, не чувствовал себя несчастным, потому что почти никогда мои желания и требования к жизни не оставались неисполненными. Однако как раз то обстоятельство, что я привык получать от судьбы все, чего хотел, а вне этого никаких притязаний к ней не иметь, породило мало-помалу известный недостаток в напряжении, какую-то мертвенность в самой жизни. Что тогда, в иные минуты смутного постижения, томясь, шевелилось во мне, было, в сущности, не желаниями, а желанием желаний, потребностью вожделем сильнее, необузданней, честолюбивее, не столь удовлетворенно, жить больше, а также, быть может, страдать. Я устранил из своего существования, посредством чересчур разумной техники, все сопротивления, и об этот недостаток сопротивления притупилась моя жизнедеятельность. Я замечал, что вожделею все меньше, все слабее, что какое-то оцепенение овладевает моими чувствами, что я – пожалуй, будет правильнее всего так выразиться – страдаю духовным бессилием, неспособностью к страстному обладанию жизнью. Сначала я стал догадываться об этом изъяне по мелким признакам. Я обратил внимание на то, что все реже начал бывать в театрах, в обществе, на различных сенсационных собраниях, что, покупая книги, о которых я слышал лестные отзывы, оставлял их в течение целых недель неразрезанными на своем столе, что, механически продолжая коллекционировать свои любовные похождения, фарфор и древности, я уже не приводил их в порядок и не слишком радовался неожиданному приобретению, после долгих поисков, какой-нибудь редкой вещи.

Осознал же я вполне это медленное и постепенное ослабление своей духовной энергии только по одному определенному поводу, отчетливо сохранившемся в моей памяти. Я остался на лето в Вене – также под влиянием этой странной вялости, не поддававшейся никаким примамкам новизны, – и вдруг получил с одного курорта письмо от женщины, с которой я в течение трех последних лет был в связи и в любви к которой был даже искренне уверен. Она взволнованно писала мне на четырнадцати страницах, что за эти недели познакомилась там с одним человеком, который занял в ее жизни большое, господствующее место, что она выйдет осенью

замуж за него и что наши отношения должны быть прерваны. Она без раскаяния, больше того – с радостью вспоминает прожитое со мной время, вступает в новый брак, сохраняя память обо мне, как о самом дорогом в ее прежней жизни существе, и надеется, что я прощу ей это неожиданное решение. Вслед за этим деловым сообщением взволнованное письмо заканчивалось поистине потрясающими заклинаниями, чтобы я не слишком страдал от этого внезапного разрыва; чтобы я не пытался ее насильно удержать или совершить какой-нибудь безумный шаг. Все стремительнее мчались строки: она умоляла меня найти утешение у более достойной женщины и сейчас же ей написать, потому что она с трепетом думает о том, как я приму это сообщение. И в виде постскриптума, карандашом, было еще порывисто написано: «Не делай ничего безрассудного, пойми меня, прости меня».

Читая это письмо, я сначала опешил от неожиданности, а потом, когда я его перелистал и начал вторично читать, то почувствовал какой-то стыд, и, будучи осознан мною, этот стыд быстро повысился до степени ужаса. Ибо ни одно из этих сильных и все же естественных ощущений, которые предвидела моя любовница, даже в слабой мере не шевельнулось во мне. Ее сообщение не причинило мне боль, не вызвало гнева во мне, и уж, во всяком случае, ни на мгновение не приходило мне на ум какое-либо насилие над нею или над собою. И этот мой душевный холод был все же настолько странен, что не мог не испугать меня самого. Ведь от меня уходила женщина, в течение ряда лет бывшая спутницей моей жизни, женщина, чье теплое гибкое тело прижималось к моему, чье дыхание в долгие ночи сливалось с моим, и ничто во мне не шевельнулось, не возмутилось, ничто не пыталось отвоевать ее снова, ничто не произошло в моей душе из того, что чистый инстинкт этой женщины должен был ожидать от настоящего человека. В этот миг я впервые понял, как далеко зашел процесс окостенения. Я скользил мимо, словно по проточной зеркальной воде, нигде не задерживаясь, не пуская корней, и знал совершенно точно, что этот холод был чем-то мертвенным, трупным, еще не отдававшим, правда, гнилостным запахом тления, но говорившим о безнадежной окоченелости, о жуткой, ледяной бесчувственности, которая предшествует подлинному телесному умиранию, явному распаду.

С этого времени я принялся внимательно наблюдать себя и эту странную духовную отупелость во мне, как больной следит за своей болезнью. Когда вскоре после этого умер один мой друг и я шел за его гробом, то прислушивался к самому себе: шевелится ли во мне скорбь, вызывает ли в моем сознании какую-нибудь боль утрата этого близкого мне с детских лет человека? Но ничто не шевельнулось во мне, я сам себе представлялся каким-то стеклянным предметом, сквозь который вещи просвечивают, никогда не проникая внутрь, и как я ни силился при этом, да и при многих подобных обстоятельствах, что-нибудь почувствовать или хоть доводами рассудка пробудить в себе чувство, никакого ответа не доносилось из застывших глубин души. Люди покидали меня, женщины приходили и уходили – ощущал я это почти так же, как человек, сидящий в комнате, ощущает дождь, который барабанит по стеклам. Между мной и окружающим миром была какая-то стеклянная стена, и разрушить ее напором воли у меня не было сил.

Как ни ясно я это сознавал, подлинной тревоги не вызвало во мне такое открытие, потому что, как я уже говорил, я равнодушно относился к вещам, касавшимся меня самого. Даже для страдания я был уже недостаточно чувствителен. Я довольствовался тем, что этот духовный изъян был так же незаметен для посторонних, как телесное бессилие мужчины обнаруживается только в интимные мгновения, и часто в обществе, посредством напускной сдержанности, посредством спонтанного преувеличения, я старался с известным тщеславием скрыть, до какой степени я внутренне безучастен и мертв. Внешне я продолжал вести свой прежний угарный, не знающий трений образ жизни, не изменяя его течения: недели, месяцы легко скользили мимо и медленно превращались в годы. Однажды утром я увидел в зеркале седую прядь у себя на виске и почувствовал, что моя молодость медленно струится в другой мир. Но то,

что другие называли молодостью, во мне давно миновало. Поэтому прощаться с нею было не очень больно; я ведь и собственную свою молодость недостаточно любил. Даже по отношению ко мне самому строптивое мое сердце молчало.

В силу этой внутренней неподвижности дни мои становились все более однообразными, несмотря на пестроту занятий и обстоятельств. Они выстраивались в тусклый ряд, росли и увядали, как листья на дереве. И совершенно обычно, ничем не выделяясь, без всякого предзнаменования начался и тот единственный день, который я хочу для самого себя описать.

В этот день, 7 июня 1913 года, я поздно встал под влиянием не поблекшего с детских, школьных лет праздничного, воскресного настроения; принял ванну, читал газету и перелистывал книги, затем пошел гулять, будучи прельщен теплым, летним днем, участливо проникавшим в мою комнату; по привычке прошелся по Грабену, разглядывая экипажи, обмениваясь поклонами с приятелями и знакомыми, кое с кем из них переговариваясь мимоходом. Потом позавтракал вместе с друзьями. Дневные часы были у меня свободны, потому что по воскресеньям я особенно любил в течение нескольких часов нераздельно принадлежать самому себе, всецело отдаваясь на волю случая или какого-нибудь внезапного решения. Когда я затем, возвращаясь от друзей, переходил Ринг, то почувствовал благородную красоту залитого солнцем города и обрадовался его яркому, летнему убранству. Все люди казались веселыми и какими-то влюбленными в праздничный вид пестрой улицы, многие частности бросались мне в глаза – и прежде всего то, как пышно разделись в свою новую зелень росшие среди асфальта деревья. Хотя я здесь проходил почти ежедневно, эту воскресную сутолоку я вдруг воспринял как чудо и невольно испытал тоску по зелени, яркости и пестроте. Я вспомнил с некоторым любопытством о Пратере, где теперь, в конце весны, в начале лета, тяжелые деревья стоят, как исполинские лакеи, по обеим сторонам струящейся экипажами главной аллеи и неподвижно протягивают свои белые цветы множеству принарядившихся, элегантных людей. Привыкнув сразу же уступать каждому своему мимолетному желанию, я остановил первый встретившийся мне фиакр и приказал кучеру ехать в Пратер.

– На скачки, господин барон, не правда ли? – спросил он подобострастно.

Тут только я вспомнил, что на этот день назначены престижные скачки, предшествовавшие розыгрышу дерби, и что все фешенебельное венское общество собирается там.

«Странно, – подумал я, садясь в фиакр, – могло ли еще несколько лет тому назад случиться, чтобы я пропустил или забыл такой день?» Снова по этой забывчивости почувствовал я, как больной, когда заденешь его рану, душевную черствость, овладевшую мною.

Главная аллея была уже довольно пустынна, когда мы выехали на нее. Скачки, должно быть, уже давно начались, потому что не видно было столь пышной обычно вереницы экипажей, только несколько фиакров порознь мчались под грохот копыт, словно в погоню за незримой целью. Кучер повернулся на козлах и спросил, гнать ли ему коней. Но я сказал ему, чтобы он не торопился, потому что мне было безразлично, опоздаю ли я. Слишком часто бывал я на скачках и наблюдал публику на трибунах, чтобы стремиться приехать вовремя, и моему ленивому настроению больше соответствовало мягко покачиваться в коляске, ощущать нежно шелестящий синий воздух, как море на палубе корабля, и спокойно присматриваться к густолиственным каштановым деревьям, отдававшим по временам вкрадчиво теплом ветру лепестки своих цветов, которые он, играя, легко поднимал и крутил, прежде чем уронить их снежинками на аллею. Приятно было давать себя укачивать так, вдыхать весну с закрытыми глазами, чувствовать себя, без всякого напряжения, окрыленным и уносимым: в сущности, мне стало досадно, когда коляска остановилась во Фройденау перед воротами. Охотнее всего я бы еще повернул, продолжал бы упиваться мягким днем раннего лета. Но уже было поздно, коляска стояла перед ипподромом.

Глухой гул донесся мне навстречу. Словно море бушевало за ступенчатыми трибунами, где скрывалась от моих глаз взволнованная толпа, порождавшая этот сосредоточенный шум,

и невольно припомнилось мне, как в Остенде, чуть только поднимешься на пляж из нижнего города, по боковым улочкам, тебя уже обдаёт солеными и резкими порывами ветер и слышится глухой грохот, прежде чем взор охватит пенистый, серый простор с его гремящими валами.

В этот миг, по-видимому, проходил один из заездов, но между мною и кругом, по которому неслись теперь лошади, теснилась многокрасочная, гудящая, словно внутренней бурей потрясаемая толпа игроков и зрителей; мне не были видны скачки, но я угадывал каждую фазу их по азарту зрителей. Лошади, очевидно, давно уже были пущены, кучка разределась, и двое боролись за лидерство, потому что из толпы, таинственным образом переживавшей невидимые для меня движения, уже вырывались крики и взволнованные призывы. По направлению голов чувствовал я поворот, которого теперь достигли жокеи и лошади на продолговатом овале дорожки, потому что весь людской хаос тянулся все в большем единстве, все сплоченнее, как одна вытянутая шея, по направлению к незримому для меня фокусу взглядов, и все выше поднимавшийся прибой клокотал и ревел в этой единственной вытянутой шее тысячью drobных, отдельных звуков. И этот прибой рос и вздувался, уже заполняя все пространство, вплоть до равнодушного синего неба. Я взглянул на несколько лиц. Они были искажены как бы внутренней судорогой, глаза были выпучены и сверкали, губы закушены, подбородок жадно вытянут вперед, ноздри раздуты, как у лошадей. Забавно и жутко было мне рассматривать в трезвом состоянии этих не владеющих собою опьяненных людей. Рядом со мной стоял на стуле мужчина, щегольски одетый, с лицом, вообще говоря, довольно приятным; теперь, одержимый незримым дьяволом, он неистовствовал, размахивал в воздухе палкой, словно кого-то подхлестывал, все его тело страстно воспроизводило – для стороннего наблюдателя в этом был невыразимый комизм – движения быстрой скачки. Как на стальных стремянах, непрестанно постукивал он каблуками по стулу, не переставая рассекать воздух палкой вместо хлыста, левой рукой судорожно сжимая белую афишку. И вокруг все больше развевалось этих белых афишек. Как пенные брызги, реяли они над этим яростным, серым, шумно бурлившим водоворотом. Теперь, по-видимому, две лошади шли на повороте, голова в голову, потому что сразу рев раздробился на два, три, четыре отдельных имени, которые не переставали вырываться, как боевой клич, из одиночных иступленных групп, и крики эти казались клапанами их бредовой одержимости.

Я стоял среди этого оголтелого грохота, холодный, как скала среди бушующего моря, и не могу даже теперь сказать, что испытывал в ту минуту. Прежде всего я чувствовал комизм всех этих гримас и ужимок, ироническое презрение к плебейскому характеру этих излияний, но все же и нечто иное еще, в чем я неохотно сам себе признавался, – какую-то тихую зависть к такому возбуждению, к такой пылкой страстности, к жизненной силе, таившейся в этом фанатизме. «Что должно было бы произойти, – думал я, – чтобы до такой степени взволновать меня, привести в такое лихорадочное состояние: чтобы по телу моему разлился жар, а изо рта невольно вырывались крики?» Я не представлял себе такой денежной суммы, получение которой могло бы меня так зажечь, такой женщины, которая бы меня так возбудила, ничего, ничего не существовало, способного довести мои онемелые чувства до такого пожара! Перед внезапно на меня направленным пистолетом сердце мое, за миг до смерти, не билось бы так дико, как вокруг меня стучали, из-за горсточки золота, сердца десятков тысяч человек.

Но вот, по-видимому, одна лошадь уже подходила к финишу, потому что в слитном, становившемся все более пронзительным крике тысяч голосов зазвенело, как натянутая струна, одно определенное имя и резко вдруг оборвалось. Музыка заиграла, толпа внезапно растеклась. Один заезд закончился, один бой разрешился, напряжение разрядилось в пенящуюся, движимую затухающими колебаниями сутолоку. Толпа, только что представлявшая собою пучок страсти, распалась на множество отдельных бегущих, смеющихся, говорящих людей: спокойные лица снова выплыли из-за уродливой маски возбуждения; в азартном хаосе, на несколько мгновений спаявшем эти тысячи в единую раскаленную глыбу, начали опять высла-

иваться человеческие группы, сходящиеся, расходившиеся, – люди, которых я знал и которые со мною здоровались, люди чужие, которые окидывали друг друга холодно-учтивыми взглядами. Женщины критически осматривали одна другую в новых своих туалетах, мужчины жадно поглядывали на них; то светское любопытство, которое, в сущности, является занятием для безучастных людей, опять начинало обнаруживаться. Они выискивали, пересчитывали, проверяли друг друга: все ли в сборе, все ли элегантно. Едва очнувшись от хмеля, все эти люди не знали уже, антракты ли составляют цель этого светского сборища или самые скачки.

Я расхаживал в этой разгоряченной толпе, кланялся и отвечал на поклоны, с наслаждением вдыхал – ведь это была атмосфера моего существования – запах духов и элегантности, которым веяло от этого калейдоскопического муравейника, и с еще большим упоением – тихий ветерок, долетавший со стороны лугов Пратера и согретых летним солнцем лесов, ласково игравший кисеей женских туалетов. Несколько знакомых пытались заговорить со мною, Диана, красивая актриса, приветливо кивнула мне из ложи, но я ни к кому не подходил. Мне было неинтересно беседовать сегодня с кем-нибудь из этих светских людей, мне было скучно видеть в их зеркале самого себя; только общую картину хотел я воспринимать, шелестяще чувственное возбуждение, разлитое по этой толпе (ибо чужое возбуждение для безучастных составляет самое приятное зрелище). Несколько красивых женщин прошли мимо меня, я взглянул нагло, но хладнокровно на их груди, трепетавшие под легкой материей от каждого их шага, и про себя смеялся над полутягостным, полусладостным смущением, какое должны были испытывать они под чувственными, оценивающими взглядами, будучи так бесстыдно обнажены. В сущности, меня не прельщала ни одна, мне только доставляло некоторое удовольствие напускать на себя такой вид, игра с мыслью, с их мыслями, радовала меня, приятно было телесно соприкоснуться с ними телами, чувствовать магнетическое подрагивание в глазах; ибо для меня, как для всякого душевно холодного человека, подлинным эротическим наслаждением было вызывать в другом смятение и зной вместо того, чтобы самому разгораться. Только теплое дуновение любил я ощущать, которым обдает нашу чувственность присутствие женщины, а не подлинный жар, одно лишь побуждение, а не возбуждение. Так я прогуливался и теперь, ловя взгляды, отражал их легко, как мячики, вкушал, не хватая, осязал, не чувствуя, будучи только легко согрет теплым сладострастием игры.

Но и это мне скоро наскучило. Все те же люди проходили мимо, я знал уже наизусть их лица и жесты. Поблизости оказался свободный стул. Я уселся. Вокруг меня опять возникло в группах вихревое движение, люди беспокойнее забегали и стали толкаться; очевидно, начинался новый заезд. Я не интересовался им, сидел небрежно и как-то дремотно в клубах своей папиросы, уносившихся белыми завитками ввысь, светлевших и таявших, как облака в весенней синеве.

В этот миг началось то единственное, то неслыханное событие, которым и теперь определяется моя жизнь. Я могу совершенно точно установить это мгновение, потому что случайно взглянул на часы. Было три минуты четвертого в этот день, 7 июня 1913 года. Итак, я взглянул, с папиросой в руке, на белый циферблат, совершенно уйдя в это ребячливое и смешное созерцание, когда услышал, как вплотную за моей спиной громко рассмеялась женщина тем резким, возбужденным смехом, который мне нравится у женщин, тем смехом, который вылетает с теплой, восторженной непосредственностью из разогретого кустарника чувственности. Невольно повернул я голову, собираясь уже взглянуть на женщину, чья громкая чувственность дерзко ударила по моей беспечной созерцательности, как искрящийся белый камень по глухому, тинистому пруду, но удержался. Остановило меня нередко уже овладевавшее мною странное желание позабавиться, произвести небольшой и безопасный психологический эксперимент. Я еще не хотел видеть смеявшуюся, мне захотелось сперва дать волю воображению, своей фантазии; представить ее себе в своего рода предвкушении, восполнить в воображении

этот смех каким-то лицом, ртом, шеей, затылком, грудью, целостным образом живой, дышащей женщины.

Она, очевидно, стояла теперь прямо за моей спиной. Смех опять перешел в беседу. Я напряженно прислушивался. Она говорила с легким венгерским акцентом, очень быстро и живо, широко растягивая гласные, точно пела. Меня забавляло теперь желание присочинить к этой речи определенный облик и по возможности обстоятельно разработать эту фантазию. Я придал ей темные волосы, темные глаза, широкий, чувственно изогнутый рот с совершенно белыми, крепкими зубами, очень узкий маленький нос, но с трепещущими, круто выгнутыми ноздрями. К левой щеке я приклеил мушку, в руку вложил стек, которым она, смеясь, легко похлопывала себя по бедру. Она продолжала говорить. И каждое слово прибавляло новую деталь к молниеносно возникшему в моей фантазии образу: узкая девичья фигура, темно-зеленое платье с косо пристегнутой бриллиантовой брошью, светлая шляпа с белым пером. Все яснее становилась картина, и я уже ощущал эту чужую женщину, незримо стоявшую за моей спиной, в зрачке своем, как на освещенной пластинке. Но я не хотел поворачиваться, стремясь усилить эту игру воображения. Какой-то тихий трепет сладострастия примешался к дерзким грезам, я закрыл глаза, будучи уверен, что, когда я подниму веки и оглянусь на нее, внутренний образ в точности совпадет с внешним.

В этот миг она появилась передо мной. Я невольно открыл глаза – и рассердился. Я нелепо промахнулся: все было иначе, мало того – все каким-то злостным образом контрастировало с моим вымыслом. Она была не в зеленом, а в белом платье, была не стройная, а полная, с пышными бедрами, нигде на пухлой щеке не видно было мушки, волосы выбивались рыжевато-белокурыми, а не черными прядями из-под шлемообразной шляпы. Ни один из моих признаков не соответствовал ее облику; но эта женщина была красива, вызывающе красива, хотя я старался, уязвленный в своем глупом тщеславии психолога, не признавать этой красоты. Почти враждебно взглянул я на нее, но даже то, что во мне сопротивлялось, ощущало сильное чувственное обаяние, исходившее от этой женщины, манящую, животную прелесть ее плотных и в то же время мягких форм. Теперь она снова громко рассмеялась, показав белые, крепкие зубы, и я должен был признаться, что этот горячий, чувственный смех вполне гармонировал с ее пышной фигурой; все в ней было так ярко и вызывающе, выпуклая грудь, выступающий вперед при смехе подбородок, острый взгляд, вздернутый нос, рука, сильно вонзившая зонтик в землю. Здесь было женское начало, стихийная сила, сознательное, захватывающее прельщение, плотью ставший маяк сладострастия.

Рядом с нею стоял изящный, немного поблекший офицер и что-то ей увлеченно говорил. Она его слушала, улыбалась, смеялась, возражала, но все это только вскользь, потому что в то же время взгляд ее скользил повсюду, ноздри трепетали как бы всем навстречу. Она впитывала внимание, улыбки, взгляды со стороны каждого проходившего и со стороны всей мужской толпы. Взор ее все время блуждал то вдоль трибун, чтобы вдруг, радостно узнав кого-нибудь, ответить на поклон, то влево, то вправо, между тем как она не переставала с тщеславной улыбкой слушать офицера. Только меня, заслоненного ее спутником и находившегося ниже поля ее зрения, не касался еще ее взгляд. Это было мне досадно. Я встал – она меня не видела. Я продвинулся ближе – она опять стала рассматривать трибуны. Тогда я решительно к ней подошел, поклонился ее спутнику и предложил ей стул. Она удивленно взглянула на меня, улыбающийся блеск мелькнул в ее глазах, губы вкрадчиво изогнулись в усмешке. Затем она меня коротко поблагодарила и взяла стул, но не села на него. Только своими полными, до локтей обнаженными руками оперлась она мягко на спинку и воспользовалась легким изгибом тела, чтобы явственнее показать его формы.

Досада, вызванная во мне неудачным психологическим опытом, давно улеглась, меня прельщала только игра с этой женщиной. Я немного отступил к стене трибуны, откуда мог ее свободно и все же незаметно для других разглядывать, оперся на свою трость и стал искать ее

взгляда. Она это заметила, немного повернулась в сторону моего наблюдательного поста, но все же так, что это движение показалось совершенно случайным, не избегала моего взгляда, отвечала на него при случае, но надежд не подавала. Глаза ее по-прежнему блуждали, всего касались, ни на чем не останавливались. Только ли при встрече с моими излучали они неопределенную улыбку, или она дарила ее каждому – этого нельзя было понять, и эта именно неопределенность раздражала меня. В промежутках, когда взор ее падал на меня, как белый луч, он казался полным обещания, но теми же сталью сверкающими зрачками она без всякого разбора парировала всякий брошенный в ее сторону взгляд, только ради кокетливого увлечения игрой, а главное, ни на мгновение не отрываясь от беседы со своим спутником, которая ее, по-видимому, интересовала. Нечто ослепительно дерзкое было в этих страстных выпадах: виртуозность кокетства или прорвавшийся избыток чувственности. Невольно я приблизился на шаг: ее холодная дерзость передалась мне. Я уже не в глаза ее глядел, а деловито рассматривал ее с головы до ног, взглядом срывал с нее одежду и чувствовал ее нагою. Она следила за моим взглядом, несколько не оскорбляясь, улыбаясь углами рта болтливому офицеру, но я замечал, что этой улыбкой она подтверждает понимание моего намерения. И когда я затем взглянул на ее маленькую ногу, нежно выступавшую из-под белого платья, она спокойно скользнула вдоль платья контролирующим взглядом. Затем, в следующее мгновение, она как бы случайно подняла ногу и поставила ее на нижнюю перекладину стула, так что я сквозь ажурную юбку видел чулки до колен, но в то же время ее улыбка, обращенная к спутнику, словно сделалась какою-то ироничной или коварной. Очевидно, она играла со мною так же безучастно, как я с нею, и мне приходилось с ненавистью дивиться утонченной технике ее наглости; ибо, украдкой предоставляя мне постигать чувственность своего тела, она в то же время польщенно прислушивалась к нашептыванию своего спутника, давала и брала одновременно, и то и другое – только шутя. В сущности, я был ожесточен, я ненавидел в других этот род холодной и злостно-расчетливой чувственности, именно потому, что ощущал ее столь кровосмесительно близкое родство с моею собственной искушенной бесстрастностью. Но все же я был взволнован, быть может, в большей мере ненавистью, чем вожделением. Нагло подошел я ближе и грубо ошупал ее взглядом. «Я хочу тебя, красивое животное», – говорил мой недвусмысленный жест, и, по-видимому, губы мои невольно шевельнулись, потому что она с тихим презрением усмехнулась, отвернувшись в сторону от меня, и опустила платье над обнаженной ногой. Но в следующий миг черные зрачки начали опять, искрясь, блуждать по сторонам. Было совершенно очевидно, что она была так же бесстрашна, как и я, и достойна меня, что мы оба холодно играли чужим пылом, который сам был всего лишь нарисованным огнем, красивым, однако, с виду и с которым весело было играть в середине знойного дня.

Вдруг напряженность угасла в ее лице, искрящийся блеск потух, маленькая досадливая складка обозначилась вокруг только что улыбавшегося рта. Я взглянул в ту же сторону: маленький толстый господин, в мешковатом костюме, торопливо к ней приближался, нервно вытирая платком влажные от возбуждения лоб и лицо. Из-под второпях набекрень надетой шляпы видна была сбоку большая плешь (невольно я почувствовал, что на ней, под шляпой, застыли, должно быть, капли пота, и почувствовал отвращение к этому человеку). В униженных перстнями пальцах он держал целую пачку талонов, сопел от волнения и тотчас же, не глядя на свою жену, громко заговорил по-венгерски с офицером. Я сразу в нем угадал фанатика конного спорта, какого-нибудь крупного лошадиного барышника, для которого тотализатор был единственным наслаждением, пленительным суррогатом возвышенного. Его жена в этот миг сказала ему, по-видимому, нечто укоризненное (она явно стеснялась его присутствия и утратила свою дерзкую уверенность), ибо он привел в порядок (очевидно, по ее указанию) свою шляпу, потом фамильярно улыбнулся ей и с ласковым добродушием похлопал ее по плечу. Она гневно вздернула брови, негодуя на такую супружескую интимность, тяготившую ее в присутствии офицера, а еще больше, пожалуй, в моем. Он как будто попросил извинения, сказал

опять по-венгерски несколько слов офицеру, на которые тот ответил, любезно осклабясь, но затем ласково и несколько подбодрительно взял жену под руку. Я чувствовал, что она стыдится в нашем присутствии близости к нему, и наслаждался ее унижением со смешанным чувством насмешки и отвращения. Но она уже опять немного овладела собою, и, между тем как она мягко оперлась на его руку, взгляд ее иронически скользнул в мою сторону, как бы говоря: «Вот видишь, вот кому я принадлежу, а не тебе». Я испытывал ярость и в то же время тошноту. Собственно говоря, мне хотелось повернуться к ней спиной и пойти дальше, чтобы показать ей, что супруга столь вульгарного толстяка не может меня больше интересовать. Но чары были слишком сильны. Я остался.

В этот миг раздался пронзительный сигнал старта. Сразу же эта болтливая, тусклая, косная толпа всколыхнулась и опять со всех сторон, толкаясь и бурля, хлынула вперед к барьеру. Мне понадобилось известное усилие, чтобы не дать себя увлечь в водоворот, потому что я хотел как раз в этой суতোлке остаться поблизости от нее в надежде, что тут представится случай для решающего взгляда, жеста, какой-нибудь внезапной наглой выходки, какой именно – я еще не знал, и поэтому я упорно проталкивался к ней сквозь торопливую толпу. В это как раз мгновение толстый супруг протиснулся вперед в намерении занять удобное место подле трибуны, и мы оба таким образом, каждый под влиянием своего порыва, так сильно столкнулись друг с другом, что его шляпа полетела на землю и засунутые за ее ленту талоны рассыпались широким полукругом, усеяв песок, как красные, синие, желтые и белые мотыльки. На мгновение он вперил в меня взгляд. Машинально я хотел извиниться, но какая-то злая воля сжала мне губы; мало того: я глядел на него холодно, с дерзким и оскорбительным вызовом. Взгляд его на секунду вспыхнул от сильного прилива робко подавленной ярости, но малодушно погас перед моим. С незабываемой, почти трогательной робостью глядел он на протяжении другой секунды в мои глаза, потом отвернулся, вспомнил вдруг про свои талоны и нагнулся, чтобы поднять их с земли заодно со шляпой.

С нескрываемым гневом, зардевшись от волнения, жена блеснула на меня глазами, оставив его руку; я чувствовал с каким-то сладострастием, что она охотнее всего ударила бы меня. Но я продолжал стоять совершенно хладнокровно и небрежно и наблюдал с улыбкой, не помогая, как, задыхаясь, нагибался тучный муж и ползал у моих ног, подбирая свои талоны. Вороник у него был высоко задран, как перья у нахохлившейся курицы, широкая складка жира образовалась на красном затылке, он астматически сопел. Невольно при виде этого сопящего человека возникла у меня непристойная и тошнотворная мысль, я представил его себе в супружеском общении с женой и, почерпнув смелость в этом представлении, рассмеялся ей прямо в лицо, потешаясь над ее уже еле сдерживаемым гневом. Она стояла, теперь снова бледная, в нетерпении, с трудом владея собою, – наконец-то я все же вырвал у нее искреннее, подлинное чувство: ненависть, необузданный гнев! Охотнее всего я продлил бы эту злую сцену до бесконечности. С холодным сладострастием следил я за тем, как он мучается, подбирая талоны один за другим. Какой-то проказливый черт сидел у меня в глотке, все время хихикавший и подбивавший меня на смех, – приятнее всего мне было бы высмеять или пощекотать немного палкой эту мягкую ползавшую мясную тушу: я даже не помню, владела ли мною когда бы то ни было более сильная злоба, чем при этом искрометном торжестве над унижением нагло игравшей женщины.

Но вот несчастный собрал наконец все свои талоны, кроме одного, синего, который упал подальше и лежал на песке, как раз передо мной. Он одышливо поворачивался во все стороны, искал его своими близорукими глазами, – пенсне сдвинулось у него на самый кончик влажного от испарины носа, – и этой секундой воспользовалась моя каверзная злоба, чтобы продлить его забавное рвение: безвольно повинуюсь шаловливости, достойной школьника, я быстро выставил ногу и наступил на талон, так что найти его он не мог бы, несмотря ни на какие усилия, пока на это не согласился бы я. И он искал, искал неутомимо, посапывая, все заново пере-

считывая разноцветные карточки; ясно было, что одной – моей – он недосчитывался, и когда посреди возраставшего гула он снова хотел приняться за поиски, его жена, которая, судорожно закусив губы, избегала моих насмешливых взглядов, не смогла больше сдержать свое гневное нетерпение.

– Лайос! – властно крикнула она ему вдруг, и он встrepенулся, как лошадь при звуке трубы, еще раз ищущим взором окинул песок – у меня было такое чувство, точно спрятанный талон щекочет мне ступню, и я с трудом удержался от смеха, – потом послушно вернулся к жене, и та с какой-то строптивой поспешностью увлекла его прочь, в сутолоку, пенившуюся все сильнее.

Я продолжал стоять на месте, не испытывая никакого желания последовать за ними. Эпизод был для меня завершен; чувство эротического напряжения приятно разрядилось в веселое настроение; возбуждение совершенно покинуло меня, не оставив никаких следов, кроме здорового ощущения сытости, – утолена была моя внезапно прорвавшаяся злоба, – следа наглого, почти шаловливого удовлетворения тем, что проделка удалась.

Впереди тесно сгрудились люди, волнение уже начинало клокотать и напирать в виде мощной, грязной, черной волны на барьер, но я совсем не смотрел в ту сторону: я уже начинал скучать и подумывал о том, чтобы прогуляться по Криау или поехать обратно. Но едва лишь я непроизвольно ступил ногой вперед, как заметил синий талон, забытый на земле. Я поднял его и держал, теребя, в руке, не зная, как с ним поступить. Смутно возникла у меня мысль возвратить его Лайосу, что могло бы послужить превосходным поводом к знакомству с его женой; но я чувствовал, что она меня больше не интересуется, что недолгий зной, которым пахнуло на меня это приключение, давно остужен моим старым равнодушием. Большого, чем этот борющийся, вызывающий обмен взглядами, я не требовал от супруги Лайоса, – толстяк был мне все же слишком противен, чтобы я мог делить ее тело с ним, – нервный трепет я вкусил и теперь ощущал уже только спокойное любопытство, приятную разрядку.

Стул находился все там же, покинутый и одинокий. Я удобно развалился на нем, закурил папиросу. Передо мною опять начиналось бушевание страстей, я даже не прислушивался: повторения меня не прельщали. Я спокойно смотрел на стлавшийся табачный дымок и думал о Меранском Гильфе, где я двумя месяцами раньше смотрел на брызжущий водопад. Это было совсем как здесь: тот же бурно возраставший гул, от которого не становилось ни тепло, ни холодно, то же бессмысленное звучание среди молчаливого синего пейзажа. Но в этот миг азарт достиг апогея, снова замелькала над черным людским прибором пена зонтиков, шляп, криков, платков, снова слились голоса воедино, снова из гигантской пасти толпы вырвался – иначе только окрашенный – возглас. Я слышал одно имя, тысячекратно, с ликованием, звоном, экстазом, отчаянием провозглашаемое: «Кресси! Кресси! Кресси!» И снова, как натянутая струна, оно оборвалось (какую монотонность сообщает повторение даже страстям!). Заиграла музыка, толпа расползлась. Взметнулись доски с номерами победителей. Я безотчетно взглянул на них. На первом месте стояла семерка. Машинально посмотрел я на синий талон, оставшийся у меня в руке. На нем тоже стояла семерка.

Я невольно рассмеялся. Талон выиграл, этот славный Лайос поставил верно. Итак, я по злобе своей еще и обобрал толстого супруга! Сразу вернулось ко мне мое проказливое настроение, теперь меня интересовало, во сколько ему обошлось мое ревнивое вмешательство. В первый раз присмотрелся я к синей карточке: это был талон на двадцать крон, и Лайос поставил их в ординаре. Это могло составить приличную сумму. Без долгих размышлений, повинувшись только щекотанию любопытства, я дал торопливой толпе увлечь себя по направлению к кассе. Я вдвинут был в какую-то очередь, предъявил талон, и костлявые проворные руки человека, чье лицо мне даже не было видно за перегородкой, сунули мне на мраморную доску девять билетов по двадцать крон.

В этот миг, когда мне уплачены были деньги, настоящие деньги, синие кредитки, смех у меня замер в гортани. Сразу зашевелилось неприятное чувство. Невольно я отвел руки назад, чтобы не прикоснуться к чужим деньгам. Охотнее всего я оставил бы синие кредитки на доске, но за мною уже теснились люди, нетерпеливо ждавшие выигранных ими денег. Мне поэтому ничего иного не оставалось, как взять деньги – с омерзением в пальцах; словно синие языки огня, горели банкноты в руке, и я ее невольно отводил в сторону, как будто и рука, их взявшая, не мне принадлежала. Тотчас же я понял фатальность положения. Против моей воли шутка превратилась в нечто такое, что не должно было произойти с человеком приличным, с джентльменом, с офицером запаса, и я не решался перед самим собою назвать этот поступок надлежащим именем. Ибо это были не открытые, а коварством добытые, украденные деньги.

Вокруг меня жужжали и реяли голоса, люди теснились и толкались перед кассами. Я все еще стоял неподвижно, с отведенной в сторону рукой. Что было мне делать? Сначала возникла самая естественная мысль: разыскать выигравшего, извиниться и возвратить ему деньги. Но это было неосуществимо, особенно в присутствии того офицера. Я ведь был лейтенантом запаса и за такое признание немедленно поплатился бы чином; ибо, пусть бы я даже нашел талон, получение денег было некорректным поступком. Я подумывал также о том, не уступить ли мне инстинкту, щекотавшему мои пальцы, не смять ли и не выбросить ли банкноты, но и это на людях могло броситься кому-нибудь в глаза и породить подозрение. Но я ни за что, ни на мгновение не хотел оставлять у себя чужие деньги или же положить их в бумажник, чтобы позже подарить их кому-нибудь: привитое мне с детства, подобно привычке к чистому белью, чувство опрятности заставляло испытывать омерзение при каждом, пусть мимолетном, прикосновении к этим кредиткам. «Отделаться, только бы отделаться от этих денег, – лихорадочно шептал мне какой-то голос, – каким бы то ни было путем». Невольно я стал смотреть по сторонам, и, в то время как беспомощно высматривал, нет ли поблизости какого-нибудь укромного уголка, какой-нибудь скрытой возможности избавиться от денег, я заметил, что люди опять начали проталкиваться к кассам, но теперь уже с деньгами в руках. Это была прекрасная мысль. Швырнуть обратно деньги злему случаю, который мне подбросил их, сунуть их опять в прожорливую пасть, которая проглатывала в этот миг с той же жадностью новые ставки, серебро и банкноты, – да, это было правильно, это было правильно, это было подлинным освобождением.

Я рванулся с места, побежал туда, вклинился в очередь. Только два человека стояли еще передо мною, первый уже подошел к тотализатору, когда я вдруг сообразил, что не мог бы назвать лошадь, на которую ставлю эти деньги. Жадно прислушался я к раздававшимся вокруг меня словам.

- Вы ставите на Равахоля? – спросил кто-то.
- Разумеется, на Равахоля, – ответил ему спутник.
- Вы думаете, у Тедди нет шансов?
- У Тедди? Ни малейших. Он в гандикапе совсем сплоховал. Тедди – это блеф.

Как умирающий от жажды, проглотил я эти слова. Итак, Тедди был плох, Тедди не мог выиграть. Тотчас же я решил поставить на него. Я сунул деньги в окошко, назвал только что впервые услышанное мною имя Тедди в ординаре, чья-то рука бросила мне талоны. Сразу сделался я теперь обладателем девяти красных с белым карточек вместо одной. Это было все еще тягостное чувство; но как-никак оно было не таким жгучим и унижительным, как непосредственное осязание шелестящих денег.

Я опять почувствовал себя легко, почти беззаботно; от денег я теперь отделался, покончил с неприятной стороной приключения, и оно приняло опять характер такой же шутки, с какой началось. Спокойно усевшись опять на свой стул, я закурил папиросу и стал пускать кольцами дым. Но мне не сиделось, я встал, принялся ходить взад и вперед, опять опустился на стул. Удивительная вещь: блаженная мечтательность исчезла бесследно. Какая-то нервозность

колюще пробегала у меня по телу. Сначала я думал, что это неприятное чувство вызвано возможностью встретить Лайоса и его жену в струившейся мимо толпе; но как могли бы они догадаться, что эти новые талоны принадлежат им? Не мешало мне и волнение публики, напротив, я внимательно следил, не начинает ли она опять уже тесниться к барьеру, и даже поймал себя на том, как все время приподнимался, чтобы посмотреть на флажок, который взвивается в начале заезда. Так вот это что было – нетерпение, лихорадочное нетерпение ожидания: скорее бы уже начался заезд и навсегда кончилось это тягостное положение.

Мимо пробегал мальчишка с программами. Я окликнул его, купил программу и принялся разбирать непонятные, на чужом жаргоне напечатанные слова, пока не набрел наконец на Тедди, на фамилию его жокея, владельца конюшни и цвет: красный с белым. Но почему это так меня интересовало? Я раздраженно смял листок и отшвырнул его, встал, сел опять. Мне вдруг стало очень жарко, – пришлось вытереть платком влажный лоб, – и воротник стал мне тесен. Заезд все еще не начинался.

Наконец звонок задрезжал, люди хлынули, и в этот миг я с ужасом почувствовал, как этот звон, точно будильник, пробудил и меня, в испуге, от какого-то сна. Я так порывисто вскочил со стула, что он опрокинулся, и поспешил – нет, побежал – жадно вперед, крепко сжимая в кулаке талоны, прямо в толпу, словно снедаемый неистовой боязнью опоздать, пропустить нечто чрезвычайно важное. Грубо растолкав людей, я пробрался к самому барьеру и бесцеремонно рванул к себе стул, которым хотела воспользоваться одна дама. Всю свою бестактность и бешенство я сразу понял по ее глазам – это была моя добрая знакомая, графиня R, и я уловил ее гневный взгляд под высоко поднятыми бровями, но из стыда и упрямства холодно отвернулся и вскочил на стул, чтобы видеть ипподром.

Где-то вдали сгрудилась на лужайке у старта небольшая кучка беспокойных лошадей, которых с трудом сдерживали маленькие жокеи, похожие на пестрых полишинелей. Я сразу же постарался узнать среди них моего, но зрение у меня не изошренное, и в глазах так странно и знойно все двоилось, что мне не удавалось различить среди многоцветных пятен красный с белым цвет. В этот миг раздался второй звонок, и, как семь пестрых стрел с тетивы, полетели лошади в зеленый коридор. Для спокойного эстетического созерцания было, вероятно, наслаждением наблюдать, как скакали стройные животные и неслись над полем, почти не касаясь грунта; но я всего этого не воспринимал, я только делал отчаянные попытки узнать мою лошадь, моего жокея и проклинал себя за то, что не захватил с собою бинокля. Как ни выгибался я и ни вытягивался, я видел только не то четыре, не то пять насекомых, сплетавшихся в один летящий клубок; только форма его начала теперь у меня на глазах постепенно изменяться; легкая стая клинообразно удлинилась на повороте, спереди заострилась, а с боков стала крошиться. Борьба разгорелась жаркая: три или четыре лошади, совершенно распластавшись в галопе, плоско, как цветные бумажные полоски, слипались друг с другом; то одна, то другая выдвигалась на голову вперед. И невольно я вытягивался всем своим телом, как будто мог придать их скачке еще большую стремительность этим подражательным, пружинящим, страстно напряженным движением.

Вокруг меня возбуждение росло. Некоторые более опытные зрители, вероятно, уже на кривой различили цвета, потому что имена взлетели теперь, как ракеты, над смутным гулом. Подле меня стоял человек, неистово вытянувший руки, и когда в этот миг выдвинулась одна лошадиная голова, он заорал, стуча ногами, мерзко, пронзительным и торжествующим голосом: «Равахоль! Равахоль!» Я увидел действительно синее мелькание жокея на этой лошади, и ярость охватила меня от того, что не моя лошадь побеждала. Все невыносимее делался для меня пронзительный рев моего противного соседа: «Равахоль! Равахоль!» Во мне клочкотало холодное бешенство, охотнее всего я ударил бы его кулаком в широко раскрытую черную дыру кричащего рта. Я дрожал от гнева, как в лихорадке, чувствовал, что каждую минуту могу совершить какое-нибудь безрассудство. Но тут еще другая лошадь увязалась непосредственно за

первой. Может быть, это был Тедди, может быть, может быть, – и эта надежда окрылила меня. И вправду, мне показалось, будто над седлом мелькнула красная рука и чем-то хлестнула по лошадиному крупу, это мог быть Тедди! Но почему не гонит он его, негодяй? Еще раз – хлыстом его! Еще раз! Вот теперь уже он совсем близко от первого. Вот уже отстаёт только на пядь. Почему Равахоль? Равахоль? Нет, не Равахоль! Не Рава-холь! Тедди! Тедди! Вперед, Тедди! Тедди!

Вдруг я откинулся назад. Что, что это было? Кто крикнул так? Кто тут орал: «Тедди! Тедди!»? Да ведь это я сам кричал. И посреди безумия я испугался самого себя. Я хотел сдержать себя, овладеть собою, меня стал мучить внезапный приступ стыда. Но я не мог оторвать взгляда от двух лошадей, точно сросшихся друг с другом, и, по-видимому, это был действительно Тедди, боровшийся с проклятым, мне ненавистным Равахолем, потому что вокруг меня поднялся теперь громкий и многоголосый, пронзительно высокий крик: «Тедди! Тедди!» – и крик этот опять погрузил меня в страсть, меня, выплывшего на поверхность только на одно мгновение. Он должен был, обязан был выиграть, и в самом деле, вот из-за мчавшейся лошади выдвинулась голова другой, только на четверть, а вот и наполовину, а вот уже и шея видна – в этот миг звонко задребезжал звонок, и раздался единый крик торжества, отчаяния, гнева. На одно мгновение желанное имя заполнило собою весь синий небосвод. Потом оно рухнуло, и где-то зашумела музыка.

Разгоряченный, весь мокрый, со стучащим сердцем, соскочил я со стула. Мне нужно было некоторое время посидеть, так ошалел я от исступленного возбуждения. Экстаз, какого я никогда еще не переживал, заливал меня; бессмысленная радость от сознания, что случай так рабски повинуется моему вызову. Тщетно старался я уговорить себя, что лошадь выиграла вопреки моей воле, что мне хотелось бы проиграть эти деньги. Я не верил этому сам и уже чувствовал в своем теле страшную тягу, меня куда-то волшебной силой влекло, и я знал, куда меня влечет: я хотел видеть победу, осязать ее, держать, ощущать в руках деньги, много денег, синие шелестящие банкноты, а в теле – ту же дрожь. Какое-то совсем необыкновенное, дикое вожделение овладело мною, и никаким чувством стыда я уже не мог его побороть. И не успел я встать, как уже поспешил, побежал к кассе, грубо, локтями расталкивая ожидающих у окошка, нетерпеливо отбрасывая в сторону людей, только чтобы увидеть деньги, подлинные деньги. «Невежа!» – проворчал кто-то за моей спиной; я слышал это, но даже не подумал о том, чтобы потребовать удовлетворения, я весь дрожал от непостижимого, болезненного нетерпения. Наконец очередь дошла до меня, мои руки алчно ухватили синюю пачку банкнот. Я пересчитал их с трепетом и в то же время с восторгом. В пачке было шестьсот сорок крон.

Пылко рванул я их к себе. Моей следующей мыслью было: еще играть, выиграть больше, гораздо больше. Куда девалась моя программа? Ах, я ее выбросил от волнения! Я оглядывался по сторонам: как бы раздобыть другую? Тут я заметил с неизъяснимым испугом, что вдруг все вокруг меня растеклось в разные стороны, по направлению к выходам, что кассы закрывались и развевавшийся флажок опустился. Игра закончилась. Это был последний заезд. На мгновение я оторопел. Потом во мне вспыхнул гнев, словно я стал жертвой несправедливости. Я не мог примириться с тем, что теперь, когда все мои нервы напряглись и дрожали, когда кровь заструилась у меня в жилах так горячо впервые за многие годы, – что теперь всему должен наступить конец. Но бесполезно было питать обманчивым желанием надежду, что это была всего лишь ошибка, потому что все быстрее рассасывалась пестрая суতোлка и смятая трава уже поблескивала зелеными пятнами между отдельными замешкавшимися зрителями. Постепенно я начал сознавать комизм напряженного моего ожидания, а поэтому взял шляпу – палку я, по-видимому, забыл от волнения у барьера – и пошел к выходу Сторож, подобострастно сняв картуз, подскочил ко мне, я назвал ему номер моего фиакра, он крикнул его, сложив рупором руку, и экипаж подкатил под четкий топот копыт. Я велел кучеру медленно ехать по главной

аллее. Ибо как раз теперь, когда возбуждение начало сладостно утихать, я испытывал похотливую потребность еще раз воскресить в памяти всю эту сцену.

В этот миг подкатил другой экипаж; невольно я взглянул в ту сторону, чтобы тотчас же совершенно сознательно отвернуться. Это была та женщина со своим породным супругом. Они меня не заметили. Но меня мгновенно охватило гадкое, удушливое чувство: я был пойман с поличным. И охотнее всего я крикнул бы кучеру, чтобы он погнал коней, только бы поскорее мне скрыться от них.

Фиакр мягко ускользал на резиновых шинах посреди других экипажей, которые, покачиваясь, пронеслись мимо зеленых берегов каштановой аллеи, как убранные цветами лодки, со своим пестрым грузом – женщинами в ярких туалетах. Воздух был мягкий и сладостный, сквозь него доносилось временами легкое дуновение вечерней прохлады. Но прежнее блаженномечтательное состояние уже не возвращалось: встреча с обокраденным человеком привела меня в мучительное смятение. Словно струя холодного воздуха, прорвавшись сквозь щель, подула вдруг на мою разгоряченную страсть. Я теперь снова и совершенно трезво обдумал всю разыгравшуюся сцену и не понимал уже самого себя: я, джентльмен, принятый в высшем свете, офицер запаса, пользующийся всеобщим уважением, без нужды присвоил найденные деньги, сунул их в бумажник, и вдобавок это доставило мне какую-то алчную радость, наслаждение, лишаящее меня права на какое бы то ни было оправдание. Я, бывший еще за час до этого безупречным, незапятнанным человеком, совершил кражу. Я стал вором. И как бы для того, чтобы испугать самого себя, я вполголоса произносил сам себе приговор: в то время как экипаж мягко катился, я говорил безотчетно, в такт стуку копыт: «Вор! Вор! Вор! Вор!»

Но странно... Как мне описать то, что произошло потом, это ведь так необъяснимо, так необычно, и все же я знаю, что ничего не измышляю *post factum*⁸. Каждая стадия моего чувства, каждое колебание моей мысли сохранились ведь у меня в сознании с такой сверхъестественной ясностью, как почти никакое другое впечатление за тридцать шесть лет моей жизни; и все же я с трудом решаюсь изложить этот нелепый ход событий, эти озадачивающие колебания моей психики, да и сомневаюсь, нашелся ли бы такой писатель или психолог, который был бы в состоянии представить их в логической последовательности. Я могу только записать этот ряд чувствований в строгом соответствии с тем, как они неожиданно, одно за другим, возникали.

Итак, я говорил себе: «Вор, вор, вор». Затем настало поразительное, как бы пустое мгновение, мгновение, когда не произошло ничего, когда я только, – ах, как это трудно выразить! – когда я только слушал, прислушивался к себе. Я вызвал себя в суд, предъявил себе обвинение, теперь подсудимый должен был представить свои объяснения суду. Я начал, говорю, прислушиваться – и не услышал ничего. Это хлещущее слово «вор», которое должно было, как я ожидал, вспугнуть меня, а потом низринуть в несказанный уничтожающий стыд, – слово это не вызвало ничего. Я терпеливо ждал несколько минут, прильнул потом еще ближе, так сказать, к самому себе, – потому что слишком ясно чувствовал, что под этим упрямым молчанием что-то шевелилось, – и в лихорадочном ожидании старался услышать непрозвучавшее эхо, крик омерзения, разочарования, отчаяния, который должен был последовать за этим самообличением. И опять-таки не произошло ничего. Никакого отзвука. Еще раз повторил я себе: «Вор, вор», – теперь уже совсем громко, чтобы наконец пробудить в себе словно оглохшую, парализованную совесть. Опять не последовало ответа. И вдруг, – в ярком озарении сознания, как если бы спичка внезапно зажглась над темной ямой, – я постиг, что только хотел почувствовать стыд, но не стыдился; мало того – что я в этой яме на какой-то таинственный лад был горд и даже счастлив своим безрассудным поступком.

Как могло это быть? Я отбивался, будучи теперь действительно испуган сам собою, от этого неожиданного открытия, но слишком сильно, слишком бурно поднималось во мне это

⁸ Задним числом (*лат.*).

чувство. Нет, не стыд это был, не возмущение, не гадливость к самому себе, то, что так знойно переливалось у меня в крови, – радость, пьянящая радость вспыхивала во мне, искрилась острыми, светлыми огнями дерзновения, ибо я чувствовал, что в эти минуты, впервые после долгих лет, был действительно жив, что восприимчивость моя была только парализована, но еще не омертвела, что где-то под песчаной поверхностью моего равнодушия действительно все-таки таинственно били еще горячие ключи страсти и теперь, когда случай прикоснулся к ним волшебным жезлом, высоко взметнулись до самого сердца. Значит, и во мне, и во мне, в этом осколке одухотворенной Вселенной, еще дремало то раскаленное, таинственное, вулканическое ядро всего земного, которое иногда вырывается в порыве вождения, – значит, и я жил, был живым человеком, наделенным злой и пылкой похотью.

Какую-то дверь распахнула буря этой страсти, какую-то бездну во мне раскрыла, и я со сладостным головокружением вглядывался в то неведомое, что было во мне, что внушало мне одновременно страх и чувство блаженства. И медленно – между тем как экипаж спокойно уносил мое сонное тело сквозь мир буржуа – я спускался, со ступени на ступень, в свои человеческие глубины, невыразимо одинокий в этом безмолвном нисхождении, озаряемый только поднятым надо мною ярким факелом моего внезапно разгоревшегося сознания. И в то время как людские волны, смеясь и болтая, катились вокруг меня, я искал в душе своей самого себя, потерянного человека, перебирая в магически озарившейся памяти многие минувшие годы. Совершенно забытые происшествия глянули на меня из запыленных и потускневших зеркал моей жизни, я вспомнил, что уже однажды, будучи школьником, украл перочинный нож у товарища и с таким же дьявольским наслаждением следил, как он его искал повсюду, всех расспрашивал и выбивался из сил; я понял вдруг таинственные грозы многих сексуальных потрясений, понял, что страсть моя была только искажена, только затоптана общественным помешательством, деспотическим идеалом джентльмена, – но что и во мне, только глубоко, очень глубоко, в засыпанных колодцах и трубах, струятся потоки жизни, как и во всех других. О, я ведь жил всегда, но только не осмеливался жить, я замуровал себя и спрятался от самого себя; теперь же сжатая сила возмутилась, жизнь, богатая, несказанно мощная жизнь одержала верх надо мной. И теперь я знал, что ею еще дорожу; в блаженной оторопи, как женщина, которая впервые ощущает в себе движение младенца, ощутил я в себе прорастание подлинного, – как назвать мне его иначе, – истинного, непритворного зерна жизни; я чувствовал, – мне почти стыдно написать такое слово, – как я, увядший, вдруг опять расцветаю, как у меня по жилам тревожно и знойно струится кровь, тихо распускается в тепле восприимчивость и вырастает неведомый, полный сладости или горечи плод. Чудо Тангейзера произошло со мною посреди залитого светом скакового плаца, посреди гудения праздной тысячеголовой толпы: я снова начал чувствовать; зазеленел и покрылся почками высохший посох.

Проезжавший мимо в коляске господин поклонился и окликнул меня – вероятно, я не заметил его первого поклона – по имени. Я встрепенулся, злобный, разгневанный тем, что пробужден от этого сладостного состояния, когда душа моя как бы изливалась, от этого глубочайшего сна, когда-либо изведенного мною. Но, взглянув на того, кто поклонился, я совершенно ошалел: это был мой друг Альфонс, милый школьный товарищ, теперь прокурор. Сразу меня пронзила мысль: этот человек, дружески тебя приветствующий, теперь впервые властен над тобою; стоит ему узнать про твой поступок – и ты в его руках. Знай он о тебе и твоём деянии, он должен был бы вытащить тебя из этого фиакра, вырвать из этого мягкого буржуазного существования и столкнуть на несколько лет в мрачный, с решетчатыми окнами, скрытый мир отбросов жизни, других воров, которых только кнут нужды загнал в их грязные камеры. Но на одно лишь мгновение ухватил меня страх за дрожащую руку, только на миг приостановил сердцебиение – потом и эта мысль превратилась в теплое чувство, в фантастическую, наглую гордость, под влиянием которой я теперь самоуверенно и почти насмешливо мерил взглядом других людей. «Как застыла бы у вас на губах, – думал я, – ваша слашавая, прия-

тельская улыбка, которой вы меня приветствуете, как человека своей среды, если бы вы догадались, кто я такой. Как брызнувшую грязь, стерли бы вы мой поклон гадливым движением руки. Но прежде, чем вы меня отвергли, я уже отверг вас: сегодня днем я выбросился из вашего черствого, окостенелого мира, где был бесшумно вертевшимся колесиком в большой машине, холодно движущей своими поршнями и суетно вращающейся вокруг собственной оси. Я низринулся в пропасть, глубины которой не знаю, но на протяжении этого единственного часа я в большей мере был живым человеком, чем в течение ряда стеклянных лет в вашем кругу. Не вам я больше принадлежу, не вашей среде, теперь я нахожусь где-то снаружи, на вершине или на дне, но навсегда ушел с плоского побережья вашего мешанского благополучия. Я впервые почувствовал все, что есть в человеке вожделяющего к добру и злу, но никогда вы не узнаете, где я был, никогда меня не постигнете: люди, что знаете вы о моей тайне?»

Как мог бы я передать, что переживал в этот час, в то время как в образе щегольски одетого джентльмена, хладнокровно кланяясь и отвечая на поклоны, проезжал вдоль вереницы экипажей. Ведь между тем как моя личина – внешний, прежний человек – еще ощущала и узнавала лица, во мне звучала такая оглушающая музыка, что мне надо было сдерживаться, чтобы не прокричать чего-нибудь из этого неистового гула. Я так был полон чувств, что этот внутренний прибой меня физически мучил, и я должен был, как задыхающийся, сильно прижимать руку к груди, под которой мучительно ныло сердце. Но боль, наслаждение, ужас, отчаяние или сожаление – ничего этого не ощущал я отдельно, и все сливалось воедино, я ощущал только, что живу, что дышу и чувствую. И это простейшее, это элементарное чувство, которого я не испытывал уже многие годы, опьяняло меня. Ни разу за все тридцать шесть лет моей жизни, хотя бы мимолетно, не ощущал я такого экстаза и полноты существования, как в этот час.

Экипаж, слабо дрогнув, остановился: сдерживая лошадей, кучер повернулся на козлах и спросил, ехать ли домой. Я очнулся от забытья, взглянул на аллею; опешив, увидел, как долго я грезил, как далеко разлился во времени дурман. Стемнело. Вершины деревьев тихо шевелились, каштаны начинали струить в прохладу свой вечерний аромат. И над ними уже серебрился затуманенный взгляд луны. О, только бы не домой сейчас, не в обычный мой мир! Я расплатился с кучером. Когда я достал бумажник и взял в руку банкноты, то словно слабый электрический ток пробежал у меня от локтя к кончикам пальцев; стало быть, что-то еще было живо во мне от старого человека, которому было стыдно. Еще подергивалась умирающая совесть джентльмена, но рука моя уже принялась перебирать украденные деньги, и я, в радости своей, был щедр. Кучер так преувеличенно стал меня благодарить, что я невольно усмехнулся: если бы ты знал! Лошади тронулись, фиакр удалился. Я смотрел ему вслед, как с корабля путешественник смотрит в последний раз на берег, где был счастлив.

Некоторое время я стоял в нерешительности посреди говорливой, смешливой, заливаемой звуками музыки толпы; это было, вероятно, в семь часов вечера, и я машинально повернул в сторону «Захера», где обычно ужинал всегда со знакомыми после прогулок по Пратеру и где кучер намеренно остановил лошадей. Но не успел я притронуться к двери элегантного садового ресторана, как что-то меня остановило: нет, я еще не хотел возвращаться в свой мир, к небрежным разговорам, которые могли бы приостановить это дивное, таинственно меня наполнявшее брожение, не хотел освободиться из-под искрящихся чар этого приключения, во власти которых чувствовал себя в течение последних часов.

Откуда-то глухо донеслась неясная музыка, и я невольно двинулся по направлению к ней, потому что все манило меня сегодня, для меня было наслаждением всецело отдаваться на волю случая, и в бесцельном блуждании посреди этой мягкими волнами переливавшейся толпы людей заключалась для меня какая-то фантастическая прелесть. Кровь моя бродила в этом густом, горячем, вскипающем человеческом месиве: я был взвинчен, возбужден, напряжен этим едким и дымным запахом человеческого дыхания, пыли, пота и табака. Ибо все то,

что прежде, еще вчера, отталкивало меня вульгарностью, пошлостью, плебейским характером, чего всю жизнь презрительно избегал живший во мне утонченный джентльмен, все это магически привлекало к себе мой новый инстинкт, как если бы я впервые ощущал свое сходство с животным, инстинктивным и грубым. Тут, среди городских подонков, среди солдат, проституток, бродяг, я чувствовал себя хорошо на какой-то особый, совершенно мне непонятный лад; с какой-то жадностью вдыхал едкость этой атмосферы, толкотня и давка в толпе были мне приятны, и я со сладострастным любопытством старался угадать, куда понесет меня, безвольного, этот час. Все ближе раздавались из Вурстльпратера звуки дудок и гармоник, с фантастической монотонностью наигрывали шарманки свои грохочущие польки и вальсы, из балаганов доносились глухой треск, слышался смех, звучали пьяные выкрики, а вот между деревьями замелькала своими сумасшедшими огнями с детства мне знакомая карусель. Я остановился посреди площади, предоставляя всему этому шуму заливать меня, наполнять мои уши и глаза; эти каскады грохота, адская свистопляска были приятны мне, потому что в этом водовороте заключалось нечто, заглушавшее мою внутреннюю бурю. Я смотрел, как служанки, в раздувающихся платьях, взлетали в воздух на гигантских шагах, испуская пронзительно-радостные, чувственные крики; как молодые мясники со смехом ударяли тяжелыми молотами по силомерам; как зазывалы, с обезьяньими ужимками, перекрывали хриплыми своими криками рев шарманок и как все это кипуче перемешивалось с тысячеголосой, неустанно клокочущей жизнью толпы, пьяной от сивухи, духовой музыки, от мелькания огней и от знойного наслаждения теснотой. С тех пор как я проснулся, я вдруг ощутил жизнь других людей, ощутил чувственность столичного города, которая изливалась горячо и густо, возбуждаясь от собственной полноты до степени глухого, животного, но в каком-то смысле здорового и плодотворного возбуждения. И постепенно, от давки, от непрерывного соприкосновения с их горячими, страстно напиравшими на меня телами, мне начала сообщаться их жаркая похоть; нервы у меня напряглись, прищипоренные острыми запахами; сознание опьяненно играло с гулом толпы, испытывая то отупение, которое неизбежно связано с каждым сильным порывом сладострастия. Впервые за много лет – быть может, за всю жизнь – ощутил я массу, ощутил людей, как силу, которая сообщала жизнерадостность моему собственному, индивидуальному существованию, какая-то плотина рушилась, и что-то струилось из жил моих в этот мир, ритмично текло обратно, и совсем новый порыв охватил меня: расплавить еще эту последнюю кору, отделявшую меня от них, – страстная тяга к соединению с этим горячим, чужим, теснящимся человечеством. С вождением мужчины стремился я к лону этого разгоряченного гигантского тела, с вождением женщины открыт был для любого прикосновения, любого зова, любых объятий, – и теперь, я знал, любовь была во мне и потребность в любви, какую я испытывал только в сумеречные отроческие дни. О, только бы ринуться туда, в живую плоть толпы, каким-то образом слиться с этой вздрагивающей, смеющейся, переводящей дыхание страстностью других людей, только бы влиться, излиться в ее кровеносную систему; стать совсем ничтожным, совсем безмянным в этой сутолоке, быть всего лишь инфузурией в мировой грязи, дрожащим от наслаждения, искрящимся существом в роящихся мириадах, – но только бы раствориться в этой толпе, упасть в водоворот, сорваться, как стрела, с тетивы собственного напряжения, в неведомое, в какой-то рай сплоченности.

Теперь я знаю: я был тогда пьян. В крови моей все клокотало, перемешавшись: звон колокольчиков на карусели, пронзительное взвизгивание женщин, которые хватали мужские руки, какофония музыки, шуршание одежды. Остро западал в меня каждый отдельный звук и потом еще мелькал в висках красной дрожащей полосой, я ощущал не только каждое прикосновение, каждый взгляд фантастически возбужденными нервами (как при морской болезни), но и все вместе – в каком-то бредовом единстве. Мне невозможно выразить словами мое сложное состояние, вернее всего это удастся, пожалуй, с помощью сравнения, если я скажу, что был переполнен шумом, гамом, ощущениями, как машина, бешено работающая всеми коле-

сами, чтобы избежать непомерного давления, которое уже в следующий миг должно взорвать ее котел. В кончиках пальцев дрожала, в виски стучала, горло сжимала, голову стискивала кипевшая кровь – из состояния многолетней вялости я сразу ввергнут был в лихорадку, в которой сторал. Я чувствовал, что должен сейчас распахнуть себя, выскочить из собственной кожи, используя какое-нибудь слово, взгляд, объединиться, излиться, отдаться, предаться, сделать себя общим, раствориться – как-нибудь спасти себя достоянием других из этой твердой коры молчания, которая меня отделяла от теплой, бурлящей, живой стихии. Много часов я не говорил, ничьей руки не сжимал, ничьих вопрошающих и участливых взглядов, обращенных на меня, не ощущал, и теперь, под давлением событий, это волнение мое восставало против молчания. Никогда еще, никогда не испытывал я такой потребности в общении, в общении с человеком, как теперь, когда меня несли волны многотысячной толпы, окатывая меня ее теплом и речами и все же отделяя от ее кровообращения. Я был подобен человеку, умирающему в море от жажды. И при этом я видел, – и каждый взгляд усиливал мою пытку, – как справа и слева в каждый миг завязывались узы, и шарики ртути, как бы играя, сливались. Зависть охватывала меня при виде того, как молодые парни мимоходом заговаривали с незнакомыми девушками и уже вслед за первыми словами брали их под руки; как все приходило в согласие и сближалось: достаточно им было поздороваться перед каруселью или обменяться взглядами, и разнородные элементы сливались в разговоре, быть может, для того, чтобы через несколько минут опять разъединиться, но все же это было связью, соединением, сопричастием, было тем, по чему теперь томилась моя душа. Я же, искушенный в салонных беседах, уверенный в себе, прославленный *causeur*⁹, – я изнывал от страха, я стыдился заговорить с какой-либо из этих широкобедрых служанок, боясь показаться смешным; мало того: я опускал глаза, когда кто-нибудь случайно смотрел на меня, а душа изнывала в тоске по словам. Мне ведь и самому неясно было, чего я хочу от людей, но только для меня сделалось невыносимым мое одиночество, невыносима сжигающая меня лихорадка. Но все взоры скользили мимо меня, ни один не желал на мне остановиться. Один раз ко мне приблизился двенадцатилетний мальчуган, оборвыш; глаза у него были ярко озарены отражением огней, с таким томлением уставился он на кружившихся деревянных лошадок. Узкий рот его был открыт, словно от жажды; очевидно, у него больше не было денег, чтобы кататься, и он мог только наслаждаться чужим смехом и визгом. Я к нему протолкался и спросил его, – но почему при этом так дрожал у меня голос и срывался на такой пронзительный тон?

– Не хотелось бы вам разок прокатиться?

Он вытаращил глаза, испугался – почему, почему? – покраснел как рак и убежал, не сказав ни слова. Даже босоногий ребенок – и тот не хотел быть мне обязанным радостью: во мне, должно быть, – так чувствовал я, – было нечто ужасающе чуждое всему, если я не мог ни с кем сойтись и оторванно плыл в густой массе, как масляная капля на струящейся воде.

Но я не уступал: я больше не мог быть один. Запыленные лакированные ботинки обжигали мне ноги, в горле першило от угара. Я оглянулся по сторонам: справа и слева, между протекавшими человеческими улицами, лежали зеленые островки, садовые трактиры с красными скатертями и некрашеными деревянными скамьями, на которых сидели за кружками пива, покуривая свои воскресные сигары, мещане. Эта картина прельстила меня: там сидели рядом чужие друг другу люди, вступали в беседу друг с другом. Там можно было немного передохнуть от дикой лихорадки. Я вошел, стал осматривать столы, пока не нашел одного, за которым сидело мещанское семейство – толстый, коренастый ремесленник с женой, двумя веселыми девочками и маленьким мальчиком. Они покачивали в такт головами, обменивались шутками, и от их удовлетворенных, жизнерадостных лиц на меня пахло уютно. Я вежливо поклонился, притронулся к свободному стулу и спросил, могу ли к ним подсесть. Смех у них

⁹ Собеседник (фр.).

сразу оборвался, на миг они приумолкли (словно каждый ждал, чтобы другой изъявил согласие), потом жена, точно опешив, произнесла:

– Пожалуйста, пожалуйста!

Я сел и сразу же почувствовал, что нарушил своим присутствием их непринужденное настроение, потому что за столом тотчас же возникло неловкое молчание. Не решаясь отвести глаза от красной клетчатой скатерти, на которой неряшливо рассыпаны были соль и перец, я все же ощущал, что они за мной озадаченно следят, и тут же мне пришло к голове, – слишком поздно, – что я был слишком элегантен для этого простонародного трактира, в своем костюме, парижском цилиндре и с жемчужиной в лиловато-сером галстуке; что мое изящество и аромат роскоши тотчас же и тут создавали вокруг меня слой враждебности и смятения. И это безмолвие пяти человек пригибало меня все ниже к столу, красные клетки которого я не переставал с затаенным отчаянием пересчитывать заново, пригвожденный к месту сознанием, что стыдно будет вдруг уйти, и вместе с тем чересчур малодушный, чтобы поднять на соседей глаза. Облегченно вздохнул я, когда наконец появился кельнер и поставил передо мной тяжелую кружку с пивом. Тогда я смог наконец шевельнуть рукой и, делая глотки, поверх кружки скосить на них глаза. И в самом деле, все пятеро наблюдали за мною, без ненависти, правда, но все же с немым изумлением. Они узнали во мне человека, вторгшегося в их тусклый мир, почувствовали своим наивным классовым инстинктом, что я здесь хотел, искал чего-то чуждого моему миру, что не любовь, не симпатия, не простодушная тяга к вальсу, к пиву, к уютному воскресному времяпрепровождению привели меня сюда, а какое-то вожделение, которого они не понимали и которому не доверяли, так же как мальчик около карусели отказал в доверии моему подарку, как тысячи безвестных созданий, толкавшихся там, с безотчетной враждебностью избегали моего изящества, моей светскости. И все же я чувствовал: если бы у меня нашлось для обращения к ним простое, безобидное, сердечное, поистине человеческое слово, то мне ответили бы отец или мать, дочери польщенно улыбнулись бы мне, я мог бы с мальчиком пойти стрелять в соседний тир и поребачиться с ним. В какие-нибудь пять-десять минут я был бы освобожден от самого себя, окутан бесхитростной атмосферой обывательской беседы, охотно оказываемого и даже польщенного доверия, – но этого простого слова, этого первого повода для беседы я не находил; ложный, глупый, но непреодолимый стыд сжимал мне горло, и я сидел, опустив глаза, как преступник, за столом этих простолюдинов, терзаясь мыслью, что отравил им последний час праздничного дня своим коварным присутствием. И во время этого пригвожденного сидения я искупал все те годы равнодушного высокомерия, на протяжении которых проходил пренебрежительно мимо десятков тысяч таких столов, мимо миллионов братьев-людей, будучи занят только погоней за благоволением и успехом в узком кругу элегантности; и я чувствовал, что теперь, когда в час моей отверженности я нуждался в них, прямой к ним путь, возможность непринужденного с ними общения отрезаны для меня изнутри.

Так сидел я, дотоле свободный человек, в томительном угнетении, все заново пересчитывая красные квадраты на скатерти, пока наконец опять не появился кельнер. Я подозвал его, расплатился, встал, оставил кружку почти полной, вежливо поклонился. Мне ответили приветливыми удивленными поклонами: я знал, не оглядываясь, что теперь, чуть только я повернулся к ним спиной, к ним вернутся жизнерадостность и веселье, что круг задушевной беседы сомкнется, коль скоро исторгнуто чужеродное тело.

Снова я кинулся, но только с еще большей жадностью, горячностью и отчаянием, в людской водоворот. Толкотня тем временем разредилась под деревьями, которые черными силуэтами поднимались в небо, и ярко освещенный круг карусели не так уже густо кишел людьми; движение шло в обратную сторону, к краям площади. Кипящий, глубокий, как бы дышащий гул толпы дробился теперь на множество мелких шумов, сразу обрывавшихся всякий раз, когда с какой-нибудь стороны опять начинала грохотать свирепая музыка, словно стараясь удержать

бегущих. Другого рода фигуры выплыли теперь после воскресного гулянья семьей. Теперь стали попадаться крикливые пьяные; из боковых аллей развинченной и все же крадущейся походкой начали выходить оборванцы: за тот час, который я провел, словно пригвожденный, у чужого стола, этот странный мир приобрел более порочный характер. Но именно эта фосфоресцирующая атмосфера наглости и опасности почему-то была мне больше по душе, чем прежняя, празднично-мещанская. Возбужденный инстинкт чуял в ней то же похотливое напряжение. В этих шляющихся подозрительных фигурах, в этих отбросах общества я ощущал свое отражение под каким-то углом: ведь и они здесь беспокойно ожидали какого-то мерцающего приключения, быстрого возбуждения; и даже им, этим проходимцам, завидовал я, глядя на их свободное, развязное блуждание, потому что сам стоял, прислонившись к одному из столбов карусели, стараясь исторгнуть из себя гнет молчания, пытку своего одиночества и будучи все же неспособен ни на одно движение, ни на один возглас. Я только стоял и пялил глаза на площадь, освещенную мигающим отражением огней, стоял и устремлял глаза во мрак со своего островка света, с глупым ожиданием глядя на каждого человека, который на мгновение поворачивался в мою сторону, привлеченный яркими лучами. Но все взоры холодно скользили мимо меня. Никто не хотел меня, никто не освобождал меня.

Я знаю, безумием было бы думать, будто можно кому-нибудь описать, а объяснить и подавно, как я, культурный, изящный, светский человек, богатый, независимый, связанный дружбой с самыми выдающимися жителями столичного города, мог ночью целый час простоять у столба надтреснуто визжавшей, неустанно вертевшейся карусели, пропуская мимо себя двадцать, сорок, сто раз одни и те же идиотские лошадиные морды из крашеного дерева, под звуки одних и тех же спотыкавшихся полек и ползучих вальсов, и не трогаться с места с затаенным упрямством, с таинственной решимостью подчинить судьбу своей воле. Я знаю, что действовал сумасбродно в тот час; но в этом сумасбродном столбняке был такой напор чувства, такое стальное напряжение всех мышц, какое испытывают обычно люди разве что только при падении в пропасть, непосредственно перед смертью; вся моя пусто промчавшаяся жизнь вдруг хлынула обратно и залила меня до горла. И насколько я терзался своим бессмысленным, сумасбродным решением оставаться, не трогаться с места, пока меня не освободит какой-нибудь взгляд, какое-нибудь человеческое слово, настолько же я наслаждался своими терзаниями. Что-то я искупал этим стоянием у столба, не столько эту кражу, сколько тупость, вялость, пустоту своей прежней жизни; и я поклялся себе уйти не раньше чем какой-нибудь знак не будет мне дан, чем рок не отпустит меня.

Тем временем ночь надвигалась. Один за другим гасли огни в балаганах, и всякий раз тогда надвигался мрак, проглатывая на траве пятно света; все уединеннее становился светлый островок, на котором я стоял, и я с трепетом взглянул на часы. Еще четверть часа – и размазаные деревянные кони останутся, красные и зеленые лампы погаснут у них на глупых лбах, умолкнет гудящий орган. Тогда я буду весь поглощен мраком, буду стоять совсем один в тихо шелестящей ночи, буду всеми отвержен, всеми покинут. Все тревожнее поглядывал я на темную площадь, по которой теперь уже только изредка пробегала какая-нибудь чета или, шатаясь, проходили несколько пьяных парней. Но в конце площади, наискосок, еще трепетала прячущаяся жизнь, беспокойно и раздражающе. Временами раздавался тихий свист или шелканье, когда проходили несколько мужчин. И когда они сворачивали в мрак, привлеченные зовом, то оттуда слышались шепчущие, звонкие женские голоса, и время от времени ветер доносил обрывки громкого смеха. И постепенно фигуры начали выступать наглее из мрака на освещенную часть площади, чтобы тотчас же нырнуть опять во тьму, чуть только в лучах фонаря мелькала остроконечная каска полицейского. Но едва лишь он удалялся, совершая обход, как призрачные тени появлялись опять, и мне уже были теперь отчетливо видны их очертания, так близко решались они подходить к свету, – последняя тина этого ночного мира, накипь, оставленная пронесшимся людским потоком: несколько проституток, из числа самых

убогих и отверженных, у которых нет своей постели, которые днем спят на тюфяке, а по ночам неустанно бродят, за мелкую серебряную монету отдавая любому где-то здесь, в темноте, свои истасканные, опозоренные, тощие тела, – выслеживаемые полицией, толкаемые голодом или каким-нибудь проходимцем, подстерегающие добычу и подстерегаемые сами. Как голодные собаки, выползали они постепенно на свет в поисках какого-нибудь запоздалого прохожего, чтобы выманить у него одну или две кроны, купить себе на эти деньги вина в кабаке и поддержать тускло мерцавший огарок жизни, которому и так уже вскоре предстояло догореть в больнице или тюрьме.

Это были подонки, последняя жижа чувственности, высоко вскипевшей в праздничной толпе, – с беспредельным омерзением смотрел я на эти голодные фигуры, выходившие из мглы. Но и в этом омерзении была какая-то волшебная услада, оттого что даже из этого грязнейшего зеркала снова глянуло на меня забытое и смутно пережитое: это была глубокая трясина, через которую я прошел давно, много лет тому назад, и которая ныне опять заискрилась у меня в сознании фосфоресцирующим светом. Странно: чего только не открывала мне эта фантастическая ночь! Так глубоко разоблачила она мою замкнутую душу, что наружу вышли самые темные стороны моего прошлого, самые сокровенные мои порывы! Смутное чувство всплыло из засыпанных глубин моих отроческих лет, когда на таких фигурах останавливался робкий, любопытством привлеченный и все же малодушно-растерянный взгляд, – воспоминание о том часе, когда по шаткой мокрой лестнице я в первый раз взобрался к такому созданию, – и вдруг, как будто молния разверзла ночное небо, я увидел четко каждую подробность этого забытого часа, плоскую олеографию над постелью, амулет, который она носила на шее, ощущал всеми фибрами то, что было тогда, смутную духоту, отвращение и первую мальчишескую гордость. Все это сразу прокатилось у меня по телу. Беспредельное ясновидение вдруг снизошло на меня, и – как мне передать эту беспредельность? – я внезапно понял все, что вызывало во мне такую жгучую жалость и связывало меня с этими существами как раз потому, что они были последним шлаком жизни, и мой разоженный преступлением инстинкт постигал это голодное блуждание, столь сходное с моим в эту фантастическую ночь, эту порочную открытость всякому прикосновению, всякой чужой, случайно встретившейся похоти. Меня повлекло туда словно магнитом, бумажник с украденными деньгами вдруг жарко запылал у меня на груди, когда я почувствовал наконец присутствие существ, людей – нечто мягкое, дышащее, говорящее, желавшее чего-то от других существ, быть может, и от меня, от того, кто только и ждал возможности отдать себя, кто сгорал от неистовой тяги к людям. И сразу я понял то, что влечет мужчин к таким созданиям, понял, что это редко бывает всего лишь кипением крови, жгущим зудом, а чаще всего – только боязнью одиночества, чудовищной разъединенностью, обычно громоздящейся между нами и впервые открывшейся сегодня моему воспаленному сознанию. Я вспомнил, когда в последний раз смутно испытал такое же чувство: в Англии это было, в Манчестере, в одном из тех стальных городов, которые гудят под тусклым небом, как подземная железная дорога, и в то же время обдают человека стужей одиночества, проникающей в поры тела до самой крови. Три недели прожил я там у родственников, по вечерам бродя всегда один по барам и клубам и каждый раз заходя в сверкающий мюзик-холл, только чтобы ощутить немного человеческого тепла. И там я встретился как-то вечером с таким же созданием, чей уличный жаргон был мне почти непонятен, но вдруг очутился в какой-то комнате, пил смех из незнакомых уст, теплое тело было рядом с моим, по-земному близкое и мягкое. Внезапно растаял холодный, черный город, мрачная, гудящая область одиночества; какое-то существо, которого я не знал, которое стояло тут и поджидало всякого, кто приходил, растворяло меня; снова легко дышалось, в легкой ясности ощущалась жизнь посреди стальной тюрьмы. Для одиноких, для замкнутых в себе какой было усладой сознавать, чувствовать, что для их страха все же есть всегда прибежище, возможность крепко за него уцепиться, пусть бы даже оно было захватано многими руками, изъедено ядовитой ржавчиной. И это, как раз это, забыл я в убий-

ственном своем одиночестве, из которого, пошатываясь, выкарабкивался в эту ночь, – что где-то, на последнем углу, всегда еще ждут эти последние создания, готовые принять всех отдающихся, дать отдохнуть в своем дыхании всем покинутым, охладить всякий жар, за жалкую плату, слишком ничтожную по сравнению с тем невероятным благом, каким является их вечная готовность, великий подарок их человеческого присутствия.

Подле меня опять загремел орган карусели. Это был последний тур; последними фанфарами огласил темноту кружащийся свет, возвещая переход воскресенья в тусклые будни. Но не было уже никого, лошади без наездников мчались в безумном своем круговращении, переутомленная кассирша уже собирала и пересчитывала дневную выручку, и мальчик подошел с крюком, собираясь после этого последнего тура спустить ставни над балаганом. Только я, один я все еще там стоял, прислонившись к столбу, и смотрел на пустынную площадь, где мелькали, как летучие мыши, только эти фигуры, ищущие, как и я, поджидающие, как и я, и все же отделенные от меня непроницаемой стеной отчужденности. Но теперь одна из них, по-видимому, заметила меня, потому что медленно подошла. Совсем близко видел я ее из-под полуопущенных век: маленькое, кривое, рахитичное создание, без шляпы, в безвкусном нарядном платье, из-под которого выглядывали стоптанные бальные туфли. Все это было, вероятно, куплено по частям у старьевщика и с тех пор вылиняло, смялось под дождем или при каком-нибудь грязном походе в траве. Она подкралась ближе, остановилась передо мною, бросая на меня острый, как крючок на удочке, взгляд и в заманивающей улыбке приоткрыв гнилые зубы. У меня замерло дыхание. Я не мог шевельнуться, не мог смотреть на нее – и все же не мог вырваться: как в гипнозе, ощущал, что вокруг меня алчно бродит человек, что кому-то я нужен, что наконец-то я могу отшвырнуть от себя одним словом, одним только жестом это мерзкое одиночество, эту мучительную отверженность. Но я не был в состоянии шевельнуться, деревянный, как балка, к которой я прислонился, и в каком-то сладострастном обмороке чувствовал только все время – между тем как музыка карусели утомленно замерла – это близкое присутствие, эту волю, домогающуюся меня, и я на мгновение закрыл глаза, чтобы во всей полноте ощутить, как меня заливают это магнитное, исходящее от чего-то человеческого, из мирового мрака исходящее притяжение.

Карусель остановилась, мелодия вальса оборвалась на последнем, стонущем звуке. Я открыл глаза и успел еще заметить, как фигура, стоявшая подле меня, отвернулась. Ей, по-видимому, надоело чего-то ждать от деревянного истукана. Я испугался. Мне стало вдруг очень холодно. Отчего дал я ей уйти, единственному человеку в этой фантастической ночи, подошедшему ко мне? Позади погасали огни, с треском опускались ставни. Конец.

И вдруг, – ах, как изобразить самому себе эту горячую, эту внезапно вскипевшую пену? – вдруг – это исторглось так внезапно, так горячо, так багрово, как если бы у меня разорвалась артерия в груди, – вдруг из меня, гордого, высокомерного, совершенно заостеневшего в холодном, светском достоинстве человека, вырвалось, как немая молитва, как судорога, как крик, ребячливое и все же столь для меня чудовищное желание, чтобы эта жалкая, грязная, рахитичная проститутка еще хоть раз оглянулась и дала мне возможность с нею заговорить. Ибо не гордость мешала мне пойти за нею, – гордость моя была раздавлена, растоптана, смыта совсем новыми чувствами, – но слабость и беспомощность. И в таком состоянии стоял я там, в трепете и смятении, один, у позорного столба темноты, ожидая, как не ожидал никогда с отроческих лет, как только один раз вечером стоял у окна, когда одна чужая женщина начала медленно раздеваться и все медлила и задерживала, в неведении, свое обнажение, – я стоял, взывая к Богу каким-то мне самому неизвестным голосом о чуде, о том, чтобы эта искалеченная тварь, эта алчущая человеческая падаль еще раз повторила свою попытку, еще раз обратила в мою сторону взгляд.

И – она обернулась. Еще один раз, совершенно машинально, она оглянулась. Но в глазах у меня, по-видимому, так сильно вспыхнуло мое напряженное чувство, что она остановилась,

наблюдая за мной. Она повернулась ко мне, поглядела на меня сквозь мрак и приглашающе кивнула головой в сторону погруженного в темноту края площади. И наконец я почувствовал, как ужасное оцепенение начало меня покидать. Я снова мог шевелиться и утвердительно кивнул головой.

Незримый договор был заключен. Она пошла вперед по темной площади, время от времени оглядываясь, иду ли я за ней. И я шел за нею: свинец у меня свалился с ног, я мог ими двигать опять. Непреодолимо влекло меня за нею. Я шел не сознательно, а как бы плыл за нею следом, на буксире у таинственной силы. Во мраке аллеи, между балаганами, она замедлила шаги. Теперь она стояла подле меня.

Несколько секунд она ко мне присматривалась, испытующе и недоверчиво: что-то внушало ей неуверенность. Очевидно, мое странно робкое поведение, контраст между моей элегантностью и местом действия были ей чем-то подозрительны. Она несколько раз озиралась по сторонам, колеблясь. Потом сказала, указывая в глубь аллеи, где было темно, как в шахте:

– Пойдем туда. За цирком совсем темно.

Я не мог ответить. Невыразимая гнусность этого сближения ошеломила меня. Охотнее всего я вырвался бы как-нибудь, откупился бы монетой или какой-нибудь отговоркой, но моя воля уже не имела власти надо мной. Чувство у меня было такое, какое испытываешь, когда мчишься в санях по отвесному снежному скату, когда смертельный страх как-то сладострастно сочетается с опьянением от быстроты и когда, вместо того чтобы тормозить, отдаешься падению с хмельным и в то же время сознательным безволием. Я уже не мог повернуть обратно и, быть может, совсем и не хотел повернуть, и, когда она теперь доверчиво прильнула ко мне, я невольно взял ее под руку. Это была совсем худая рука не столько женщины, сколько недоразвитого, болезненного ребенка, и едва лишь я прощупал ее сквозь тонкое пальтецо, как меня охватила чрезвычайно мягкая, струящаяся жалость к этому несчастному комочку жизни, который бросила мне под ноги эта ночь. И невольно пальцы мои приласкали эти слабые, хрупкие косточки так целомудренно, так благоговейно, как я не прикасался к женщине еще никогда.

Мы пересекли тускло озаренную аллею и вошли в небольшую чашу, где вершины густолиственных деревьев не давали выхода душистой, дурно пахнущей мгле. В этот миг я заметил, хотя теперь уже с трудом различимы были очертания предметов, что она, держась за мою руку, очень осторожно оглянулась, и несколькими шагами дальше – еще раз. И странно: между тем как я в каком-то оцепенении соскальзывал в пропасть, сознание мое все же было совершенно ясно и остро.

С ясновидением, от которого ничто не скрывается, которое постигает каждое движение, я заметил, что сзади, вдоль края дороги, нечто скользит за нами следом, и мне как будто слышались крадущиеся шаги. И внезапно, – как если бы молния белой вспышкой озарила долину, – я угадал, я понял все: что меня тут заманивают в западню, что сутенеры этой женщины крадутся за нами и что она вела меня в темноте в какое-то условленное место, где мне предстояло стать их добычей. Со сверхъестественной ясностью, какой обладают только зажатые между жизнью и смертью мгновения, я видел все, взвешивал все возможности. Было еще время спастись, главная аллея должна была находиться неподалеку, потому что до меня доносился шум пробежавшего по ней электрического трамвая; крикнув или свистнув, я мог бы привлечь сюда людей; в остро очерченных образах возникали в мозгу все возможности бегства, спасения.

Но странно: это устрашающее постижение не охладило, а еще больше разгорячило меня. Ныне, в трезвую минуту, при ясном свете осеннего дня, я не в силах и сам себе как следует объяснить нелепость моего поведения: я понял, понял сразу всеми фибрами своего существа, что я бесцельно подвергаю себя опасности, но это предчувствие, как разжиженное безумие, струилось у меня по нервам. Я предвидел нечто мерзкое, может быть – грозящее смертью, я дрожал от гадливости при мысли, что меня здесь толкают на какое-то преступление, в подлое, грязное

приключение, но при том опьянении жизнью, какое я испытывал тогда впервые, возможности которого никогда не предполагал, самая смерть и та представлялась мне предметом мрачного любопытства. Какое-то чувство – стыдно ли мне было обнаружить трусость, или это слабость была? – толкал о меня вперед. Меня прельщала возможность спуститься в самую клоаку жизни, за один день проиграть и промотать все свое прошлое; дерзновенная похоть духа примешивалась к низменной похоти этого приключения. И хотя я всеми своими нервами предчувствовал опасность, ясно постигал ее своими чувствами, своим рассудком, я все же углублялся в чащу, под руку с этой грязной проституткой, которая меня физически отталкивала сильнее, чем привлекала, и которая, заведомо для меня, относилась ко мне только как к добыче для своих сообщников. Но я не мог отступить. Инерция преступности, днем сообщившаяся мне на ипподроме, влекла меня все глубже и глубже вниз. И я только сильнее ощущал вихревой, ошеломляющий дурман падения в новые бездны и, быть может, в последнюю: в смерть.

Пройдя еще несколько шагов, она остановилась. Опять ее взгляд неуверенно заскользил вокруг. Потом она взглянула на меня выжидательно:

– А что ты мне подаришь?

Ах вот что! Об этом я забыл. Но этот вопрос не протрезвил меня. Напротив. Я ведь так рад был возможности дарить, отдавать, расточать себя. Я порывисто опустил руку в карман, высыпал ей на открытую ладонь все серебро и несколько смятых кредиток. И тут случилось нечто до того поразительное, что еще и теперь у меня кровь бежит быстрее в жилах, когда я думаю об этом: было ли это жалкое создание озадачено размером платы, – обычно она за грязную службу свою получала только гроши, – или было нечто непривычное, нечто новое в том, как радостно, быстро, почти ошарашенно подарил я ей эти деньги, – но только она подалась назад, и сквозь густую, дурно пахнущую мглу я почувствовал, как ее взгляд с крайним изумлением искал моего. И я испытал наконец то, чего мне так долго в этот вечер недоставало: кто-то искал меня, впервые я жил для кого-то в этом мире. И что ко мне потянулось как раз это отверженное существо, носившее, как товар, даже не глядя на покупателя сквозь мрак, свое несчастное, захватанное тело, что она подняла свои глаза на меня и во мне искала человека, – это усилило только мое поразительное опьянение, одновременно ясновидящее и бредовое, постигающее и растворенное в странном отупении. И ко мне уже прижалось это чуждое мне создание, но не ради исполнения оплаченной обязанности; мне почудилась в этом движении какая-то безотчетная признательность, женственная воля к сближению. Я осторожно взял ее руку, худую рахитичную руку, ощутил ее маленькое искалеченное тело и вдруг, поверх всего этого, увидел всю ее жизнь: снятый грязный угол в предместье, где она с утра до полудня спала среди кишевших вокруг нее чужих детей, ее сутенера, душившего ее, пьяных, которые в темноте, рыгая, бросались на нее, отделение больницы, куда ее приводили, аудиторию клиники, где ее поношенное, голое, больное тело показывали наглым молодым студентам как учебное пособие, и потом – конец в какой-нибудь богадельне, куда ее выгрузят из полицейской кареты и оставят, как собаку, околевать. Бесконечная жалость к ней совсем овладела мною, нечто теплое, что было нежностью, но не было чувственностью. Я не переставал гладить ее по худой, тонкой руке. И потом наклонился над нею и поцеловал ее.

В этот миг за моей спиной раздался шорох, треск ветвей. Я отскочил. И вот уже послышался грубый раскатистый смех мужчины:

– Так и есть! Так я и думал!

Прежде еще, чем я увидел их, я знал, кто они такие. Посреди своего глухого опьянения я ни на миг не забывал, что меня выслеживают; больше того: мое таинственное бодрствующее любопытство поджидало их. Теперь из кустов выдвинулась человеческая фигура, а за нею – вторая: опустившиеся парни с наглыми повадками. Опять послышался грубый смех:

– Экая гадость, заниматься тут свинством! А еще благородный господин! Но теперь мы с ним разделаемся!

Я стоял неподвижно. Кровь у меня стучала в висках. Я не испытывал страха. Я только ждал: что произойдет? Теперь я был наконец на дне, на самом дне низости. Теперь должна была наступить катастрофа, взрыв, конец, которому я полусознательно шел навстречу.

Женщина от меня отпрянула, но не к ним. Она как бы стояла между нами: по-видимому, подготовленное нападение было ей все же не совсем приятно. Парни же были раздосадованы моей неподвижностью. Они переглядывались – очевидно, ждали с моей стороны возражения, просьбы, испуга.

– Вот как, он молчит! – крикнул наконец один из них угрожающим тоном. А другой подошел ко мне и сказал повелительно:

– Идем в комиссариат!

Я все еще ничего не отвечал. Тогда первый положил мне руку на плечо и легко толкнул меня вперед.

– Марш! – сказал он.

Я пошел. Я не сопротивлялся, потому что не хотел сопротивляться: невероятная, низменная, опасная сторона положения ошеломляла меня. Голова у меня оставалась совершенно ясной; я знал, что парни эти должны были больше, чем я, бояться полиции, что я мог откупиться несколькими кронами, но я хотел испытать до дна чашу мерзости, я вкушал гнусную унижительность положения в каком-то сознательном бреду. Не спеша, совсем машинально пошел я в направлении, в каком они меня толкнули.

Но как раз то, что я так безмолвно, так послушно пошел по направлению к свету, привело, по-видимому, в замешательство парней. Они тихо перешептывались. Потом опять нарочито громко заговорили друг с другом.

– Шут с ним, отпусти его, – сказал один (он был маленького роста, с изъеденным оспой лицом), но другой ответил с напускной строгостью:

– Нет, брат, шалишь! Попробуй это сделать нищий вроде нас, которому жрать нечего, сейчас же его засадят под замок. Так нечего спуска давать такому благородному господину!

И я слышал каждое слово, слышал в каждом их слове неуклюжую просьбу о том, чтобы я начал с ними торговаться; преступник во мне понимал преступников в них, понимал, что они хотят пытать меня страхом, и я пытал их своей уступчивостью. Это была немая борьба между нами, и – о, как богата была эта ночь! – я чувствовал, посреди смертельной опасности, здесь, в смрадной чаше Пратера, в обществе проходимцев и проститутки, во второй раз за двенадцать часов почувствовал я неистовый азарт игры, но только дело касалось теперь высшей ставки, всего моего гражданского существования, самой жизни моей. И я предался этой чудовищной игре, искрящемуся волшебству случая, со всею напряженной, вплоть до разрыва сердца, силой моих трепетавших нервов.

– О, вот и полицейский! – послышался голос за моей спиной. – Не поздоровится ему, благородному господину, придется недельку отсидеть!

Это должно было прозвучать злобно и грозно, но я слышал запинаящуюся неуверенность в тоне. Спокойно шел я на свет фонаря, где в самом деле поблескивала каска полицейского. Еще двадцать шагов – и я стоял бы перед ним. За мною парни перестали разговаривать; я заметил, как они замедлили шаги. В следующее мгновение – я это знал – они должны были трусливо нырнуть обратно во тьму, в свой мир, ожесточенные неудачей, и выместить ее, быть может, на этой несчастной. Игра подходила к концу: опять вторично я выиграл сегодня, опять обманным образом выманил у чужого, незнакомого человека его злое удовольствие. Передо мною уже мерцал бледный круг фонарей, и когда я в этот миг обернулся, то в первый раз увидел лица обоих парней: ожесточение и угрюмый стыд читал я в их шмыгающих глазах. Они остановились, подавленные разочарованием, готовые отпрянуть во мрак. Ибо власть их окончилась; теперь я был тот, кого они боялись.

В это мгновение мною овладела – и мне показалось, будто внутреннее брожение прорвало вдруг все преграды в моей груди и будто чувство мое горячо переливается в кровь – бесконечная братская жалость к двум этим людям. Чего же они домогались от меня, они, несчастные, голодающие, оборванные парни, от меня, пресыщенного паразита? Несколько крон, несколько жалких крон. Они могли бы меня задушить, убить, – и не сделали этого, а только попытались, на неуклюжий, неискusstный лад, запугать меня, из-за этих маленьких серебряных монет, бесполезно лежавших у меня в кармане. Как же я смел, я, вор из прихоти, из наглости, совершивший преступление для щекотания нервов, как смел я еще мучить этих жалких людей? И в мое бесконечное страдание струился бесконечный стыд от мысли, что ради своего сладострастия я еще играл с их страхом, с их нетерпением. Я взял себя в руки: теперь, как раз теперь, когда меня уже защищал свет, струившийся с улицы, теперь я должен был пойти навстречу им, погасить разочарование в этих ожесточенных, голодных взглядах.

Круто повернувшись, я подошел к одному из них.

– Зачем вам доносить на меня? – сказал я и постарался сообщить голосу интонацию подавляемого страха. – Что вам от этого за польза? Может быть, меня арестуют, а может быть, и нет. Но вам ведь это ни к чему. Зачем вам портить мне жизнь?

Оба в смущении тарасили на меня глаза. Они всего ожидали, окрика, угрозы, от которой бы попятились, как ворчливые собаки, только не этой податливости. Наконец один сказал, но совсем не угрожающе, а как бы извиняясь:

– Нужно поступать по закону. Мы только исполняем свой долг.

Это была, по-видимому, заученная фраза для подобных случаев. И все же она прозвучала как-то фальшиво. Ни тот ни другой не решались на меня взглянуть. Они ждали. И я знал, чего они ждали: что я буду молить о пощаде и что предложу им денег.

Я еще помню каждое из этих мгновений. Знаю каждый нерв, напрягавшийся во мне, каждую мысль, проскакивавшую за висками. И я знаю, чего прежде всего хотела моя злая воля: принудить их ждать, продолжать их мучить, упиться сладострастием сознания, что я их заставляю томиться. Но я быстро поборол себя, я стал клянчить, потому что знал, что должен их наконец освободить от страха. Я принялся разыгрывать комедию боязни, просил их сжалиться надо мною, молчать, не делать меня несчастным. Я видел, в какое они пришли смущение, эти бедные дилетанты вымогательства.

И тогда я произнес наконец слова, которых они жаждали так долго:

– Я... я дам вам... сто крон.

Все трое отшатнулись и выпучили друг на друга глаза. Так много они не ждали, теперь, когда все было потеряно для них. Наконец один пришел в себя, тот, у кого лицо было в оспинках и взгляд беспокойно шмыгал. Два раза начинал он говорить. Слова у него застревали в гортань. Потом он произнес, и я чувствовал, как ему стыдно:

– Двести крон.

– Да перестаньте вы! – вмешалась теперь внезапно женщина. – Радуйтесь, если он вообще вам что-нибудь даст. Он ведь ничего не сделал, только притронулся ко мне. Это вы, право, через край хватили.

С подлинным ожесточением крикнула она эти слова. И у меня зазвенело в сердце. Кто-то меня пожалел, кто-то выступил моим защитником, доброта выглянула из низости, какое-то темное стремление к справедливости – из вымогательства. Какой это было усладой, как вторило это тому, что поднималось во мне! Нет, я не смею больше играть с этими людьми, не смею продолжать их мучить этим страхом, этим стыдом: довольно! довольно!

– Ладно, значит, двести крон!

Они молчали, все трое. Я достал бумажник. Очень медленно, широко раскрыл я его. В один миг могли они вырвать его у меня из рук и спастись бегством в темноте. Но они отвели застенчиво глаза. Между ними и мною была какая-то тайная общность, не было борьбы и

игры, и возникло состояние правомерное, состояние взаимного доверия, человеческая связь. Я извлек два кредитных билета из украденной пачки и подал их одному из них.

– Покорно благодарю, – произнес он невольно, уже отвернувшись. Очевидно, он чувствовал сам, что смешно благодарить за добытые вымогательством деньги. Он стыдился, и этот стыд, – о, я ведь все постигал в эту ночь, каждое движение открывалось мне! – подавил меня. Я не хотел, чтобы этот человек стыдился передо мною, равным ему, таким же вором, как он, слабым, трусливым и безвольным, как он. Его унижение мучило его, и мне захотелось освободить его от этого чувства. Я отклонил его благодарность.

– Мне приходится вас благодарить, – сказал я и сам удивился тому, сколько подлинной задушевности было в моем голосе. – Если бы вы донесли на меня, я был бы погибшим человеком. Мне пришлось бы застрелиться, а вам бы это пользы не принесло. Так лучше. Я пойду теперь вправо, а вы свернете в другую сторону. Спокойной ночи!

Они опять приумолкли на мгновение. Потом один сказал:

– Спокойной ночи!

За ним второй и наконец проститутка, которая пряталась в тени. Как тепло, как сердечно это прозвучало, словно искреннее пожелание! По их голосам я чувствовал, что где-то глубоко, в тайниках души, они любили меня и что этого необычайного мгновения никогда не забудут. В тюрьме или в больнице оно, быть может, припомнится им опять: нечто от меня продолжало в них жить, нечто свое я им отдал. И радость этого дара наполняла меня, как еще ни одно чувство в жизни.

Я пошел один, сквозь мглу, к выходу из Пратера. Все, чем я был угнетен, покинуло меня; я чувствовал, как изливаюсь в неведомой полноте, я, безвестный, – в бесконечную Вселенную. Все воспринимал я так, точно оно живет только для меня, и ощущал себя снова связанным со всем, что течет. Черными тенями обступали меня деревья, приветствовали меня своим шелестом, и я их любил. Звезды сияли мне с неба, и я вдыхал их белый привет. Поющие голоса откуда-то доносились, и мне чудилось, что они поют для меня. Все стало вдруг принадлежать мне, с тех пор как я разбил кору, покрывавшую мою грудь, и радость, с какой я отдавал, рсточал себя, влекла меня ко всему. О, как легко – чувствовал я – доставлять радость и самому возрадоваться этой радости: нужно только открыться, и уже струится от человека к человеку живой поток, низвергается от высокого к низкому, пенясь, вновь поднимается из глубины в бесконечность.

У выхода из Пратера, подле стоянки фиакров, я увидел торговку, устало склонившуюся над своей корзиной. Запыленные сухари лежали в корзине и дешевые фрукты. Должно быть, с самого утра сидела она тут, сгорбившись над своими несколькими грошами, и утомление согнуло ее. «Отчего бы и тебе не радоваться, – подумал я, – если радуюсь я?» Я взял небольшой сухарь и положил в корзину кредитный билет. Она торопливо хотела дать сдачи, но я пошел уже дальше и успел только заметить, как ее испугало счастье, как сгорбленная фигура выпрямилась вдруг и заплетавшийся от изумления язык залепетал слова благодарности. С сухарем в руке я подошел к лошади, понурившей усталую голову между оглоблями. Она повернула ко мне морду и приветливо фыркнула. В ее тусклом взгляде я тоже читал благодарность за то, что погладил ее розовые ноздри и подал ей сухарь. И едва лишь я сделал это, мне захотелось большего: доставлять еще больше радости, еще сильнее ощущать, как можно при помощи серебряных кружочков, нескольких пестрых бумажек уничтожить страх, убивать заботу, зажигать веселье. Отчего не было нищих тут? Отчего не было детей? Они, наверное, позарились бы на эти воздушные шары, которые, ковыляя, нес домой хмурый старик, в виде густых гроздьев на множестве нитей, разочарованный плохой выручкой этого долгого знойного дня. Я подошел к нему.

– Отдайте мне шары.

– Десять геллеров за штуку, – сказал он недоверчиво, потому что не мог понять, к чему нужны этому щеголеватому бездельнику теперь, в полночь, пестрые шары.

– Дайте мне все, – сказал я и дал ему десять крон. Он зашатался, посмотрел на меня как ослепленный, потом подал мне веревку, на которой держались все шары. Они оттягивали мне пальцы, хотели вырваться, быть свободными, подняться вверх, в небо. Так ступайте же, летите, куда вас влечет, будьте свободны! Я выпустил веревочки, и шары взвились вверх, как множество пестрых лун. Со всех сторон сбегались люди и смеялись, из мрака выплывали влюбленные пары, кучера щелкали бичами и, крича, показывали друг другу пальцами, как неслись теперь над деревьями освобожденные шары к домам и крышам. Все созерцал я радостно и забавлялся своим блаженным безумием.

Отчего я никогда в жизни не знал, как это легко и как хорошо – дарить радость. Кредитки вдруг опять начали гореть у меня в бумажнике, оттягивали мне пальцы, как только что перед этим воздушные шары: они тоже хотели упорхнуть от меня в неведомое. И я взял их, украденные у Лайоса и свои, – ибо нисколько уже не различал их и никакой не чувствовал вины за собою, – взял их в руки, готовый бросить их всякому, кто захочет. Я подошел к человеку, сердито подметавшему пустынную мостовую. Он думал, что я хочу спросить его о какой-нибудь улице, и угрюмо взглянул на меня; я улыбнулся ему и протянул кредитку в двадцать крон. Он вытаращил в недоумении глаза, потом взял ее наконец и стал ждать, чего я потребую от него. Я же только улыбался ему, сказав: «Купи себе на эти деньги чего-нибудь хорошего», – и пошел дальше. Все время смотрел я по сторонам, не нужно ли кому чего-нибудь от меня, и так как никто не подходил, то сам предлагал: одну бумажку подарил проститутке, заговорившей со мною, две – фонарщику, одну бросил в открытое окно пекарни, находившейся в подвале, и так шел все дальше и дальше, оставляя за собою борозды изумления, благодарности и радости. Наконец я принялся их разбрасывать порознь, смятыми комочками по улице, по ступеням одной церкви и радовался при мысли о том, как завтра, идя к заутрени, какая-нибудь старушка из богадельни найдет эти сто крон и возблагодарит Господа, как поражены и осчастливлены будут какой-нибудь бедный студент, швея, рабочий, – как и я сам был в эту ночь поражен и осчастливлен, найдя самого себя.

Я уже не помню теперь, куда и как их все разбросал, бумажные, а потом и серебряные мои деньги. Какое-то головокружение чувствовал я, и когда последние бумажки упорхнули, я ощутил легкость, как если бы мог летать, свободу, какой еще никогда не испытывал. Улица, небо, дома – все в мозгу сливалось у меня в какое-то совсем новое чувство обладания, сопричастности; никогда, даже в самые пылкие мгновения моей жизни, не признавал я так сильно, что все эти вещи действительно существуют, что они живут, и что я живу, и что их жизнь и моя жизнь совершенно тождественны, что это одна и та же великая, могучая жизнь, которой я никогда не умел радоваться, как надлежало, которую постигает только любовь, объемлет только тот, кто отдается.

Потом я пережил еще один, последний, темный миг, когда, в блаженном состоянии дойдя до своей квартиры, вставил ключ в замочную скважину и передо мной открылся черный ход в мои комнаты. Тут вдруг меня охватил страх: не вернусь ли я теперь в свою старую, прежнюю жизнь, если войду в жилище того, кем я был до этого времени, если лягу в его постель, если снова соприкоснусь со всем тем, от чего меня эта ночь так дивно освободила? О нет, только бы не стать снова тем человеком, которым я был, этим вчерашним, прежним джентльменом, корректным, бесчувственным, отчужденным от мира! Лучше низвергнуться во все пучины преступлений и омерзения, только бы – в настоящую жизнь! Я был утомлен, невыразимо утомлен и все же боялся, что сон снизойдет на меня и снова покроет своей черной тиной то горячее, пылкое, живое, что зажгла во мне эта ночь. Боялся, что все это переживание окажется беглым и бессвязным, как фантастический сон.

Но наутро следующего дня я проснулся бодрый, и мое благодарно струившееся чувство не обмелело ничуть. С тех пор прошло четыре месяца, и бывшая черствость не возвращалась ко мне, я все еще переживаю теплое цветение. Волшебное опьянение того дня, когда я вдруг потерял под ногами почву своего мира, низвергся в неведомое и, при этом низвержении в собственную бездну, ощущал головокружение от скорости падения одновременно с глубиной всей жизни, – этот стремительный пыл, правда, исчез, но я с того времени чувствую при каждом дыхании свою собственную горячую кровь и чувствую это с возобновляющейся каждый день жизнерадостностью. Я знаю, что сделался другим человеком, с иными ощущениями, другим восприятием и более ясным сознанием. Разумеется, я не смею сказать, что стал лучше: знаю только, что стал счастливее, ибо нашел какой-то смысл в моей совершенно остывшей жизни, смысл, для которого не нахожу другого слова, кроме слова: самая жизнь. С тех пор я ничего не запрещаю себе, ибо ощущаю бессодержательность норм и форм моей среды, не стыжусь ни других, ни самого себя. Такие слова, как «честь», «преступление», «порок», приобрели вдруг металлический, холодный оттенок, я без отвращения не могу их даже произносить. Я живу тем, что даю себя оживлять той силе, которую впервые тогда так дивно ощутил. Куда она толкает меня, я не спрашиваю; быть может, по направлению к новой бездне, к тому, что другие называют пороком, или к чему-нибудь необыкновенно возвышенному. Я этого не знаю и знать не хочу. Ибо я полагаю, что подлинно живет лишь тот, кто судьбу свою воспринимает как тайну.

Но никогда – и в этом я уверен – не любил я жизнь более пылко, и теперь я знаю, что тот совершает преступление (единственное мыслимое преступление!), кто равнодушно относится к какому-либо из обликов своих или форм. С тех пор как я начал понимать самого себя, я понимаю также многое другое: вид жадно глядящего на витрину человека может меня потрясти, прыжок собаки – привести в экстаз. Я начал вдруг на все обращать внимание, ничто не безразлично мне. Я ежедневно читаю в газете (в которой прежде меня интересовали только театральная хроника и аукционы) про множество вещей, волнующих меня; книги, казавшиеся мне скучными, внезапно открылись моему сознанию. И вот что удивительнее всего: я вдруг научился говорить с людьми вне рамок того, что называется беседой. Слуга, живущий семь лет в моем доме, интересуется меня, я часто с ним разговариваю; швейцар, мимо которого я обычно проходил безучастно, как мимо движущегося столба, недавно рассказал мне про смерть своей дочурки, и это потрясло меня сильнее трагедий Шекспира. И это преобразование – хотя, чтобы не выдавать себя, я внешне продолжаю жить в кругу культурной скуки – как будто становится постепенно явным. Многие люди вдруг начали сердечно относиться ко мне, в третий раз на этой неделе ко мне подбегали чужие собаки. И друзья говорят мне, как будто я перенес тяжелую болезнь, с каким-то удовольствием, что находят меня помолодевшим.

Помолодевшим? Я ведь один знаю, что только теперь начинаю действительно жить. Впрочем, таково ведь общераспространенное заблуждение; каждый думает, что все прошлое было только ошибкой и подготовкой, и я отдаю себе отчет в той дерзости, какую совершаю, когда, взяв холодное перо в теплую, живую руку, пишу себе самому на белой бумаге: я подлинно живу. Но пусть это безумие, – оно первое из всех сделало меня счастливым, согрело мою кровь и разбудило мою душу. И если я описываю здесь чудо своего пробуждения, то ведь я делаю это только для себя, знающего все это глубже, чем способны мне сказать мои собственные слова. Я не говорил об этом ни с одним из друзей; они не догадывались, каким я уже был мертвецом, они никогда не догадаются, как я теперь цвету. И если бы смерти суждено было вторгнуться в эту мою живую жизнь и эти страницы оказались бы в руках другого человека, то меня такая возможность ничуть не страшит и не мучит. Ибо, кто ни разу не изведал волшебства подобного мгновения, так же не поймет, как не понял бы я сам еще полгода тому назад, что несколько таких беглых и с виду почти не связанных друг с другом эпизодов за один вечер способны были так чудесно воспламенить уже угасшую жизнь. Перед таким человеком я не стыжусь,

потому что он не понимает меня. А кто постигает эту связь, тот не судит и чужд гордости, перед ним я не стыжусь, потому что он понимает меня. Кто однажды обрел самого себя, тот больше ничего на этом свете утратить не может. И кто однажды постиг в себе человека, тот понимает всех людей.

Двадцать четыре часа из жизни женщины

В маленьком пансионе на Ривьере, где я жил лет за десять до войны, как-то за столом завязался жаркий спор, грозивший перейти в яростное препирательство и чуть ли не во взаимные оскорбления и обиды. У людей большей частью косное воображение. То, что непосредственно их не касается, что не проникает в самую глубину их души, вряд ли может их тронуть. Но порою, если на их глазах произойдет что-нибудь самое ничтожное, но касающееся непосредственно их, страсти вдруг неудержимо разгораются. Свое обычное безучастие они в известной степени вознаграждают в таких случаях безудержной и излишней горячностью.

Так случилось и на этот раз в нашем вполне буржуазном застольном обществе, которое обыкновенно мирно болтало, обменивалось невинными шутками, редко глядело друг другу в глаза и сразу же после обеда разбредалось кто куда: немецкая чета – гулять и фотографировать, мирный датчанин – к своим скучным удочкам, важная английская дама – к своим книгам, итальянец с женой – в легкомысленное Монте-Карло, а я – бездельничать в садовом кресле или работать. На этот раз, однако, благодаря ожесточенным прениям, все сцепились друг с другом, и если один из нас стремительно вскакивал, то вовсе не для того, чтобы приветливо распрощаться, а просто в порыве спора, который, как я уже сказал, принял под конец прямо-таки неистовые формы.

Что же касается случая, который так взбудоражил наш маленький кружок, то он, без всякого сомнения, был достаточно поразителен. Пансион, в котором мы все семеро жили, занимал отдельную виллу (ах, какой чудесный вид открывался из окон на изрезанный скалами берег!), но в то же время являлся, собственно говоря, только частью большого «Палас-Отеля», с которым соединялся садом, так что мы, хоть и жили особняком, все же находились в постоянном общении с гостями отеля и принимали участие в его жизни и празднествах. Как раз накануне в этом отеле разыгрался классический скандал, который дал бы репортеру парижской газеты богатую канву для романтической истории с броским заголовком. С поездом в 12 часов 20 минут дня (время необходимо указать точно, ибо оно важно и для этого эпизода, и как тема нашего разговора) прибыл молодой француз и занял комнату с видом на море, что уже само по себе свидетельствовало об известной состоятельности. Не только своей безупречной элегантностью обратил он на себя наше внимание, но прежде всего исключительно привлекательной внешностью: светлые шелковистые усы оттеняли, посреди тонкого женственного лица, чувственные, горячие губы, на белый лоб спускались волнистые каштановые волосы, мягко глядели глаза – все в нем было мягкое, нежное, приятное, и притом без всякого притворства и искусственности. Если на первый взгляд он издали и напоминал немного те накрашенные, самодовольно подтянутые восковые фигуры, которые с франтовской палкой в руке изображают в витринах ателье мод идеал мужской красоты, то при ближайшем рассмотрении это впечатление фатоватости исчезало, потому что его постоянные улыбки, его приветливость были врожденными. Проходя, он скромно и в то же время сердечно приветствовал каждого, и было приятно видеть, как при всяком случае невольно проявлялись его изящество и воспитанность. Даме, которая подходила к вешалке, он спешил подать пальто; для ребенка у него всегда был ласковый взгляд или шутка; он был обходителен и вместе с тем сдержан, словом, он казался одним из тех счастливых людей, которые, чувствуя, что другим приятно их милое лицо, их молодое обаяние, и сами невольно становятся веселыми и уверенными и своей беззаботной радостью вселяют бодрость и в окружающих. На стареющих и хворых большей частью гостей отеля его присутствие действовало благотворно, и своей юношески победной походкой, своей свежестью и жизнерадостностью он сразу завоевал всеобщее расположение. Уже через два часа после приезда он играл в теннис с двумя дочерьми толстого, солидного лионского фабриканта, двенадцатилетней Аннет и тринадцатилетней Бланш, а их мать, красивая, изящная и сдержан-

ная мадам Анриет, улыбаясь, смотрела, как ее неоперившиеся и бессознательно кокетливые дочурки флиртуют с молодым незнакомцем. Вечером он сидел у нас за шахматным столиком, скромно рассказал два-три милых анекдота, долго расхаживал потом с мадам Анриет взад и вперед по террасе, между тем как ее муж играл, как всегда, в домино с одним из своих приятелей, а поздно вечером я видел, как он довольно непринужденно беседовал в тени бюро секретаршей отеля. На другой день он сопровождал моего датчанина на рыбную ловлю, причем обнаружил в этом деле поразительные познания, потом долго беседовал с лионским фабрикантом о политике, показав себя при этом хорошим собеседником, потому что сквозь шум прибоя слышался раскатистый смех толстого господина. После обеда (с точностью отмечаю его времяпрепровождение, так как это необходимо, чтобы хорошо уяснить себе ситуацию) он около часу сидел с мадам Анриет в саду за черным кофе, потом играл в теннис с ее дочерьми, беседовал в зале с немецкой четой. В шесть часов, когда я шел отправить письмо, я увидел его на вокзале. Он подошел ко мне, все с той же подкупающей непринужденностью, словно мы были знакомы годами, хоть и показался мне не таким спокойным, как накануне, и сказал с каким-то подчеркивающим ударением, что сейчас он должен уехать, но дня через два снова вернется. И действительно, за ужином его не оказалось – не оказалось лишь его особы, ибо за всеми столами говорили только о нем, превознося его милое, веселое обращение. Ночью – было, вероятно, около 11 часов – я сидел у себя в комнате, дочитывая книгу, как вдруг из сада донеслись взволнованные крики, а напротив в отеле началось какое-то движение. Скорее обеспокоенный, чем из любопытства, я тотчас же спустился вниз и подошел к возбужденным гостям и слугам. В то время как фабрикант, со своей обычной пунктуальностью, играл в домино с одним приятелем из Намюра, мадам Анриет, как всегда, пошла погулять вдоль береговой террасы и не вернулась. Боялись, не случилось ли с ней несчастья. Как бык, бегал по берегу этот всегда солидный, неуклюжий человек, и, когда он не своим от волнения голосом кричал во тьме: «Анриет, Анриет!», в этом крике было что-то страшное и первобытное, напоминавшее вой раненного насмерть чудовища. Кельнеры и мальчишки-посыльные сломя голову носились вверх и вниз по лестнице и по дороге вплоть до самого моря; будили постояльцев и спрашивали их, не видели ли они пропавшую, телефонировали в полицию. А толстый человек, с расстегнутым жилетом, бегал, спотыкался и, совершенно обезумев, всхлипывая, кричал в темноте: «Анриет, Анриет!» Меж тем проснулись и дети и в своих ночных рубашках звали из раскрытых окон мать. Тогда отец поспешил к ним наверх, чтобы успокоить их.

И вот случилось что-то страшное, с трудом поддающееся рассказу, потому что в минуты непомерного напряжения образ человека становится так трагичен, что невозможно с той же молниеносной силой передать его кистью или пером. Внезапно показался этот грузный человек и спустился по скрипучим ступеням, с изменившимся, совершенно усталым и все же яростным лицом. В руке он держал письмо. «Отошлите всех! – еле внятным голосом обратился он к управляющему. – Отошлите людей, ничего не нужно. Моя жена покинула меня».

В нем была выдержка, в этом сраженном насмерть человеке – нечеловеческая выдержка перед всеми этими столпившимися вокруг людьми, которые сначала с любопытством смотрели на него, а потом вдруг испуганно, сконфуженно и растерянно отвернулись. У него еще хватило сил пройти мимо нас, не взглянув ни на кого, и потушить свет в читальной. Потом мы услышали, как его большое, грузное тело упало в кресло, а затем – какое-то дикое, звериное всхлипывание. Так плакать мог только человек, который никогда не плакал. И эта простая боль заставляла молчать всех, даже самых пошлых. Никто из лакеев, никто из гостей, которых привело сюда любопытство, не посмел улыбнуться, проронить слово соболезнования. Безмолвно, один за другим проскользнули мы в свои комнаты. И только в темном зале медленно гасящего свет, тихо переговаривающегося, шушукающегося, шепчущего дома одиноко корчилося в рыданиях это сраженное человеческое тело.

Теперь будет понятно, что этого потрясающего и случившегося на наших глазах события было достаточно, чтобы привести в возбуждение привыкших к скучной и беззаботной жизни людей. Но для бурного спора, который разразился за нашим столом и едва не привел к столкновениям, этот удивительный случай послужил лишь исходным пунктом; тут было и принципиальное расхождение, гневное противопоставление различных пониманий жизни. Благодаря нескромности горничной, которая прочла письмо, скомканное потрясенным мужем и брошенное им в бессильной злобе на пол, все сразу узнали, что мадам Анриет ушла не одна, а с молодым французом (теперь у большинства из нас стало быстро исчезать то расположение, которым он пользовался).

Правда, на первый взгляд было вполне понятно, что еще красивая, изящная женщина бросила своего грузного провинциала-мужа ради молодого, элегантного красавца. Но что свыше всякой меры раздражало весь дом, так это утверждение, будто бы ни фабрикант, ни его дочери, ни сама мадам Анриет никогда раньше этого ловеласа не видели, так что, следовательно, достаточно было двухчасового разговора на террасе и часа за черным кофе в саду, чтобы заставить тридцатитрехлетнюю порядочную женщину бросить к вечеру своего мужа и детей и очертя голову уйти за чужим молодым щеголем. Почти никто из членов нашего застольного кружка не хотел допустить, что это было так, видя в этом лишь хитрое вероломство и ловкий маневр любовников. Считалось само собой разумеющимся, что мадам Анриет уже давно была в близких отношениях с молодым человеком и теперь он приехал сюда, чтобы окончательно подготовить бегство, потому что – так рассуждал наш кружок – было немислимо, чтобы достойная дама, всю свою жизнь пользовавшаяся безупречной репутацией, после двухчасового знакомства убежала по первому свистку, как собака на улице, когда чужой поманит ее за собой. Я, забавы ради и именно ввиду единодушия обеих супружеских пар, высказал противоположную точку зрения, энергично отстаивая возможность и даже вероятность такого внезапного решения у женщины, которая, разочаровавшись в долголетнем, скучном замужестве, внутренне готова к тому, чтобы уступить первому же серьезному натиску. Этот неожиданный аргумент сразу же сделал спор общим и тем более страстным, что обе супружеские пары – как немецкая, так и итальянская – с прямо-таки оскорбительной презрительностью отрицали существование «coup de foudre»¹⁰ как глупость и безвкусную романтическую выдумку.

Едва ли нужно передавать завязавшийся спор во всех его подробностях: за табльдотом остроумны только профессионалы этого дела, и доводы, за которые хватаются в пылу случайного застольного спора, большей частью банальны и найдены наспех. Мне трудно будет вспомнить, почему этот спор так скоро перешел в ссору и взаимные оскорбления; я думаю, началось с того, что оба мужа невольно пожелали исключить в отношении своих жен возможность такого легкомыслия и непостоянства. К сожалению, они не нашли для этого ничего лучшего, как возразить мне, что рассуждать, как я, может только тот, кто судит о женщине по своим сомнительным и случайным победам холостяка; это одно уже взбесило меня, а когда еще и немка стала поучать меня, что существуют «настоящие женщины» и женщины «с блудливой натурой», к которым, по ее мнению, принадлежит и мадам Анриет, то у меня окончательно лопнуло терпение, и я, в свою очередь, стал дерзким. За этим отрицанием очевидной истины, что в жизни женщины бывают часы, когда она предоставлена таинственным силам по ту сторону воли и сознания, кроется, говорил я, только страх перед собственным инстинктом, перед демонизмом нашей природы, и многим людям доставляет удовольствие считать себя более стойкими, нравственными и чистыми, чем те, кто «легко поддается искушению». Я лично считал более честным, если женщина свободно и страстно отдается своему инстинкту, вместо того чтобы с закрытыми глазами обманывать своего мужа в его же объятиях, как это сплошь да рядом бывает. Я сказал это случайно, и, чем больше остальные нападали на мадам Анриет в

¹⁰ (Удар молнии» – безудержный порыв страсти (фр.).

этом обострившемся разговоре, тем горячее я защищал ее. По правде говоря, мое внутреннее убеждение так далеко не шло. Мое воодушевление было, так сказать, боевой трубой для обеих супружеских пар, а они, нестройным квартетом, так ожесточенно нападали на меня, что старый датчанин, сидевший с веселым лицом и словно с секундомером в руке, как судья на футбольном матче, вынужден был постукивать по столу согнутым пальцем: «Джентльмены, прошу вас!» Однако это помогало лишь на мгновение, да и то не каждый раз. Наши нервы были до того напряжены, мы были до того раздражены друг другом, что нас не так легко было успокоить. Не менее трех раз уже вскакивал один господин из-за стола, весь красный, и с большим трудом поддавался уговорам своей жены; словом, еще немного – и наши прения окончились бы открытой ссорой и оскорблениями действием, если бы не вмешательство миссис К., которое, словно масло, пригладило пенящиеся волны спора.

Миссис К., седая, представительная англичанка, была всеми безмолвно признана почетной председательницей нашего стола. Всегда сидя очень прямо на своем месте, всегда с одинаковой приветливостью обращаясь к каждому, молчаливая и все же вежливо заинтересованная тем, что говорилось вокруг, она уже чисто внешне представляла приятное зрелище: удивительным самообладанием и спокойствием веяло от ее аристократической, сдержанной натуры. Она держалась в некотором отдалении от всех, но умела с замечательным тактом высказать каждому дружеское расположение. Большею частью она сидела в саду с книгой, иногда играла на рояле, и лишь изредка ее видели в обществе или участницей оживленного разговора. Ее почти не замечали, и все же ее присутствие оказывало на нас изумительное действие. И вот теперь, когда она, задав вопрос, впервые приняла участие в разговоре, всех нас охватило тягостное чувство стыда за то, что мы так шумно, несдержанно и по-плебейски вели себя. И едва она заговорила, наш разговор принял спокойную, уравновешенную форму.

Миссис К. воспользовалась гневной паузой, когда наш немец резко вскочил из-за стола и затем, усмирившись, снова тихо сел на свое место. Она невозмутимо подняла свои ясные серые глаза, нерешительно посмотрела на меня и затем, с почти осязаемой отчетливостью, осветила по-своему тему спора.

– Значит, вы полагаете, если я вас правильно поняла, что мадам Анриет, как и всякая другая женщина, может как бы бессознательно и – так сказать, – не неся на себе вины, быть втянута в случайное похождение; что бывают поступки, которые такая женщина за час до того сама считала невозможными и за которые она даже едва ли может быть ответственной?

– Да, я в этом уверен, сударыня, – ответил я, совершенно успокоенный этим деловым тоном.

– Тогда каждый приговор морали совершенно бессмыслен, каждый безнравственный поступок оправдываем. Если вы действительно полагаете, что «преступление по страсти», как это называют французы, вовсе не преступление, то государственное правосудие вообще излишне. В таком случае не потребуются особых стараний – а у вас этого старания удивительно много, – прибавила она с легкой улыбкой, – чтобы в каждом преступлении найти страсть и оправдать его этой самой страстью.

Ясный и вместе с тем веселый тон ее слов подействовал на меня замечательно успокаивающе, и, невольно подражая ее деловой манере, я ответил полушутя-полусерьезно:

– Государственное правосудие смотрит на это, несомненно, строже, чем я: ведь на нем лежит обязанность охранять нравственность и общественные приличия, и это заставляет его осуждать, вместо того чтобы оправдывать. Я же, как частное лицо, не вижу для себя необходимости добровольно брать на себя роль прокурора; я предпочел бы профессию защитника. Мне лично приятнее понимать людей, чем осуждать их.

Миссис К. смотрела на меня своими ясными серыми глазами и молчала. Я уже подумал, что она недостаточно хорошо меня поняла, и готовился по-английски повторить ей сказан-

ное, но тут она с чрезвычайной серьезностью, словно на экзамене, начала снова задавать мне вопросы:

– Ну а каково же все-таки ваше личное мнение? Разве вы не находите постыдным, даже ужасным, если женщина покидает мужа и двух детей, чтобы пойти за каким-то человеком, о котором она даже не может знать, достоин ли он ее любви? Неужели вы в самом деле можете оправдать такую беспечность и легкомыслие женщины, которая все-таки не так уж молода и должна была бы быть осмотрительной, хотя бы ради своих детей?

– Я повторяю вам, сударыня, – отвечал я, – что в этом случае я отказываюсь обвинять или осуждать. Вам я могу спокойно признаться, что раньше я немного хватил через край: эта бедная мадам Анриет, конечно, совсем не героиня, вовсе не натура, склонная к приключениям, и уж меньше всего «носительница великой страсти». Насколько я ее знаю, она мне кажется обыкновенной, слабой женщиной, которую я отчасти уважаю, ибо она имела мужество отдаться своим желаниям, но еще больше жалею, потому что завтра, если не сегодня, она, наверно, будет очень несчастлива. Может быть, то, что она сделала, было глупо, слишком поспешно, но ни в коем случае нельзя сказать, что она поступила пошло или низко, в этом отношении я держусь своего мнения, что никто не имеет права презирать эту бедную, несчастную женщину.

– Значит, вы ее так же уважаете и так же почтительно к ней относитесь, как и раньше? И не проводите никакой разницы между той почтенной женщиной, в обществе которой вы были третьего дня, и той, которая вчера бежала с незнакомым ей человеком?

– Никакой. Ни малейшей разницы.

– Is that so?¹¹ – невольно спросила она по-английски: разговор, как видно, чрезвычайно занимал ее. И, поразмыслив мгновение, она снова взглянула на меня вопрошающим, ясным взглядом. – А если вы завтра встретите мадам Анриет – скажем, в Ницце – идущей под руку с этим молодым человеком, вы ей поклонитесь?

– Разумеется.

– И заговорите с ней?

– Разумеется.

– Ну, а если бы вы... если бы вы были женаты, вы бы представили такую женщину вашей жене, как будто бы ничего не случилось?

– Разумеется.

– Would you really?¹² – снова сказала она по-английски с недоверчивым удивлением.

– Surely I would¹³, – невольно ответил я тоже по-английски.

Миссис К. замолчала. Она, казалось, напряженно думала; вдруг, глядя на меня так, словно была удивлена собственным мужеством, она сказала:

– I don't know, if I would. Perhaps I might do it also¹⁴.

И с той невыразимой уверенностью, с которой только англичане умеют внезапно закончить разговор, она встала и дружески протянула мне руку. Благодаря ее присутствию спокойствие снова воцарилось за столом, и мы все чувствовали себя обязанными ей тем, что недавние враги раскланялись друг с другом со сносной учтивостью и нескольких легких шуток оказалось достаточно, чтобы разрядить опасно сгустившуюся атмосферу.

Несмотря на то что спор как будто бы закончился в конце концов по-рыцарски, все же после тогдашнего раздражения осталось какое-то легкое отчуждение между моими противниками и мной. Немецкая чета держалась замкнуто, итальянской же доставляло удовольствие

¹¹ Так ли это? (англ.)

¹² В самом деле? (англ.)

¹³ Конечно, да (англ.).

¹⁴ Я не знаю, поступила ли бы я так. Очень может быть (англ.).

язвительно осведомляться у меня в последующие дни, не слышал ли я чего-нибудь нового о *carra signora Henrietta*¹⁵.

При сохранении всей внешней учтивости непринужденность и сердечность нашего застольного общения окончательно исчезли.

Холодную насмешливость моих недавних противников особенно оттеняла для меня совершенно исключительная любезность, с которой, после этого спора, стала ко мне относиться миссис К. Всегда чрезвычайно сдержанная, едва достаивавшая разговором во внеобеденное время своих соседей по столу, она теперь не раз находила случай заговаривать со мной в саду, и я бы даже сказал – оказывать мне особое внимание, разрешая мне сопровождать ее, потому что, при ее чопорной сдержанности, уже и беседа с ней казалась как бы милостью. Говоря откровенно, она прямо-таки искала встречи со мной и пользовалась любым поводом, чтобы начать со мной разговор; это было так ясно, что я пришел бы к смелым и странным догадкам, если бы она не была старой, седой дамой. О чем бы мы ни говорили, наша беседа неизбежно возвращалась к ее исходному пункту – мадам Анриет. Ей доставляло какое-то непонятное удовольствие обвинять нарушительницу долга в душевной нестойкости и нравственной ненадежности. Но в то же время она, казалось, радовалась тому, что мои симпатии непоколебимо остаются на стороне этой красивой, изящной женщины и что меня никак нельзя убедить, хотя бы на мгновение, отказаться от этого сочувствия. Она постоянно направляла в эту сторону наш разговор, и я уже не знал, что мне и думать об этом поразительном, почти навязчивом упорстве. Но вместе с настойчивостью у этой старой представительной дамы было такое благородство речи, такая образцовая сдержанность в чувствах, что каждый раз она снова очаровывала меня, и я получал от бесед с нею редкое удовольствие.

Так прошло пять-шесть дней, причем она ни словом не обмолвилась, почему эта тема наших бесед имеет для нее значение. В том же, что это так, я убедился, сообщив ей как-то во время прогулки, что мое пребывание здесь подходит к концу и что через день я думаю уехать. Ее всегда спокойное лицо стало вдруг каким-то странно напряженным, и словно тень тучи пробежала по ее серым ясным глазам.

– Как жаль! Мне бы хотелось еще о многом поговорить с вами.

Она впала в какую-то беспокойную рассеянность, и я чувствовал, что, говоря со мной, она думает о чем-то другом, поглощающем ее мысли. В конце концов она сама это заметила, потому что, когда наш разговор, по ее вине, оборвался, она неожиданно протянула мне руку и порывисто сказала:

– Я вижу, что сейчас не могу ясно выразить вам то, что хотела. Я лучше напишу вам. – И, торопливее, чем обычно, она направилась к дому.

Действительно, вечером, перед самым обедом, я нашел у себя в комнате письмо, написанное ее энергичным, четким почерком. К сожалению, я довольно легкомысленно обошелся с бумагами моей юности и давно уже где-то затерял это письмо, так что теперь не в состоянии привести его дословно и могу лишь приблизительно передать его смысл и содержание. Она писала, что вполне сознает необычность своего поступка, но ей хотелось бы знать, может ли она рассказать мне кое-что из своей жизни. Это такой давний эпизод, что, собственно, он едва ли имеет отношение к ее теперешней жизни, а так как я послезавтра уезжаю, то ей будет легче говорить о том, что вот уже двадцать с лишним лет ее мучает и волнует. И так как в другом случае, где проступок был гораздо более очевидным, я выказал удивительную, на ее взгляд, свободу и снисходительность, ей бы хотелось в беседе со мной разрешить свое собственное сомнение. Если я не считаю такой разговор навязчивым, она просила бы меня уделить ей час времени.

¹⁵ Дорогой синьоре Анриетте (*ит.*).

Письмо, из которого я привожу здесь по памяти лишь самое существенное, несказанно поразило меня: английский язык сам по себе уже придавал ему чрезвычайную ясность и решительность, но в самом слоге была такая уверенность и душевная сила, что я счел это неожиданное предложение поистине за особую честь. Ответ все же дался мне не так легко, и я разорвал три черновика, прежде чем написал:

«Для меня большая честь в том, что Вы дарите меня таким доверием, и я обещаю Вам быть честным в своем суждении, если Вы его от меня требуете. Только я просил бы Вас говорить со мной вполне открыто; все недосказанное создает неясность, сбивает. Конечно, я не смею просить Вас говорить мне больше того, что Вы сами внутренне желаете. Но то, что Вы расскажете, расскажите совершенно правдиво и себе, и мне. Я могу чувствовать ясно только там, где нет недоверия. Прошу Вас, поймите, что Ваше доверие я принимаю как особую честь».

Вечером записка была в ее комнате, а на следующее утро я нашел у себя ответ:

«Вы совершенно правы: полуправда ничего не стоит, ценна лишь вся правда. Я соберу все силы, чтобы ни о чем не умолчать, ни перед собой, ни перед Вами. Итак, приходите после обеда в мою комнату – в мои шестьдесят семь лет я не боюсь, что это ложно истолкуют. Я не могу говорить об этом в саду или вблизи людей. Вы должны мне поверить, что мне совсем не легко вообще на это решиться».

В обед мы снова увиделись за столом и чинно беседовали о безразличных вещах. Но когда я случайно встретился с ней в саду, она в легком замешательстве посторонила меня, и было трогательно видеть, как румянец залил щеки этой старой, седой дамы и она робко и смущенно свернула в аллею пиний.

Вечером, в назначенный час, я постучался. Мне тотчас же открыли. В комнате был мягкий полусвет. На столе горела маленькая лампа для чтения, бросая в сумеречное пространство желтый конус света. Миссис К. непринужденно встала мне навстречу, указала мне на кресло и сама села напротив. Я чувствовал бессознательно, что каждое из этих движений приготовлено заранее и что она сейчас начнет рассказывать. Однако последовала пауза (явно против ее желания), пауза тяжкого колебания, которая длилась и длилась, но я не осмеливался нарушить ее хотя бы единым словом, чувствуя, что в эту минуту сильная воля отчаянно борется с таким же сильным сопротивлением. Снизу, из салона, доносились урывками мягкие звуки вальса, и я прислушивался к ним, чтобы хоть немного облегчить тягостный гнет молчания. Для нее, видимо, также было мучительным это неестественное напряженное молчание, потому что вдруг она как-то сжалась, словно готовясь прыгнуть с высоты, внимательно посмотрела на меня и начала:

– Трудно произнести только первое слово. Вот уже два дня как я приготовилась быть искренней и правдивой. Вероятно, это мне удастся. Может быть, вы этого еще не понимаете и считаете навязчивостью, причудой то, что я вам все это рассказываю, но не проходит дня и даже часа, чтобы я не думала об этом случае, и вы можете поверить мне, как старой женщине, что невыносимо всю жизнь оставаться у одной точки, у одного дня своей жизни. Ибо все, о чем я вам хочу рассказать, замыкается в пределах одних только суток на протяжении шестидесятисемилетней жизни, и я тысячу раз говорила себе, что это ничто на протяжении стольких тысяч дней, даже если один миг человек поступил безрассудно и безумно. Но нет возможности отделаться от того, что так неопределенно называется совестью, и, когда я услышала, как вы спокойно и свободно говорите о случае с Анриет, я подумала, что, быть может, настанет конец этим безумным думам о прошлом, этим нескончаемым самообвинениям, если я решусь поведать кому-нибудь об этом дне моей жизни.

Я знаю, что все это очень странно, но вы, не колеблясь, приняли мое предложение, и за это я заранее благодарю вас.

Я уже вам сказала, что хочу рассказать лишь об одном-единственном дне моей жизни. Все остальное кажется теперь мне самой совсем малозначительным, а всякому другому пока-

залось бы просто скучным. Все, что случилось со мной до моих сорока двух лет, можно рассказать в двух словах. Мои родители были богатые помещики, у нас были фабрики и имения в Шотландии, и мы жили, как живут старые дворянские фамилии, большую часть года в наших имениях, а зимний сезон в Лондоне. В восемнадцать лет я познакомилась в одном обществе с моим мужем, который был вторым сыном в известной семье Р. и десять лет прослужил в индийской армии. Скоро мы женились и повели беззаботную жизнь – три месяца в Лондоне, три месяца в имениях, остальное время в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ничто не омрачало нашей семейной жизни. Два наших сына теперь уже давно выросли и женились, один – морской офицер, другой – дипломат, и я провожу лето попеременно то у одного, то у другого. Когда мне было сорок лет, внезапно умер мой муж. Жизнь в тропиках наделила его болезнью печени, которая мало-помалу приняла тяжелые формы, и я потеряла его после двух ужасных недель. Мой старший сын был тогда уже во флоте, младший в колледже, и вот в одну ночь я стала совсем одинокой на свете. Это одиночество для меня, привыкшей к сердечному общению, было невыносимой мукой. Мне казалось невозможным оставаться хотя бы еще день в опустевшем доме, где каждая вещь напоминала мне о смерти любимого мужа, и поэтому я решила ближайшие годы, пока не вырастут и не женятся мои сыновья, провести в путешествиях.

В сущности, с этого мгновения я считала свою жизнь совершенно бессмысленной и ненужной. Мой муж, с которым я двадцать два года делила все чувства и помыслы, умер, детям я была не нужна и, вероятно, даже мешала их юности моей печалью, моей тоской; для себя самой я уже ничего не требовала, ничего не хотела. Я переселилась в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям, но ни город, ни его достопримечательности ничего мне не говорили, людей я избегала, потому что не могла видеть, как они с учтивым соболезнованием смотрят на мое траурное платье. О том, как прошли эти месяцы тоски после смерти мужа, я ничего больше не могла бы рассказать. Я знаю только, что мне постоянно хотелось умереть и что у меня не было сил сделать это самой. В моей памяти от того времени осталось только одно это ощущение – все остальное ускользает и кажется мрачным, мучительным и бессмысленно проведенным временем.

На второй год траура, то есть когда мне пошел сорок второй год, я, убегая от этого ставшего слишком тягостным времени, очутилась в конце марта в Монте-Карло. Я не стыжусь сказать, что это случилось от скуки, от мучительного, давящего, как позыв к тошноте, чувства внутренней пустоты, которую можно утолить внешними, раздражающими средствами. Чем меньше чувствовала я себя удовлетворенной, тем сильнее меня тянуло туда, где жизнь бьет ключом, где колесо жизни вертится с головокружительной быстротой, где можно не так остро ощущать холод и смертельную неподвижность. Для тех, у кого нет своих переживаний, мучительные волнения других представляют последнюю возможность новых переживаний, как театр и музыка.

Поэтому я часто бывала в казино. Мне нравилось смотреть, как по лицам других людей взволнованно скользит счастье и отчаяние, меж тем как во мне был все тот же ужасный покой. К тому же мой муж, хоть и не был легкомысленным человеком, не прочь был иногда зайти в игорный зал, а я с какой-то невольной регулярностью жила теперь его привычками. И вот здесь-то и начались эти сутки, волнующие сильнее, чем всякая игра, и на годы исковеркавшие и изменившие мою судьбу.

Днем я обедала с герцогиней фон М., которая была в родстве с моей семьей, а после ужина я почувствовала, что еще не настолько устала, чтобы идти спать. Поэтому я отправилась в игорный зал, бродила, сама не играя, между столами и рассматривала публику по-своему. Я говорю «по-своему», а именно так, как научил меня мой покойный муж, когда, устав смотреть, я как-то пожаловалась, что мне скучно глядеть все на те же лица, на старых, сморщенных женщин, которые часами сидят в своих креслах, прежде чем осмелятся поставить фишку, на всю

эту сомнительную, пеструю толпу, которая здесь кажется куда менее живописной и романтической, чем в скверных романах, где ее описывают как «цвет эlegantного общества» и аристократию Европы. Вот тогда-то мой муж, увлекавшийся хиромантией, показал мне совсем особую манеру разглядывания, которая была гораздо интереснее и острее, чем скучное стояние, и заключалась в том, чтобы глядеть только на квадрат стола и на руки людей, но не на самих игроков. Я не знаю, глядели ли вы когда-нибудь на один из этих зеленых столов, где посередине, как пьяный, шатается шарик от одной цифры к другой, и на расчерченные поля, куда, словно семена, кружась, падают ассигнации, серебряные и золотые монеты, пока лопаточка крупье, словно коса, единым махом не скосит их, не сгребет их, как сноп, в одно маленькое местечко. Для нас, выросших в деревне, эта зеленая поверхность с расчерченными полями напоминала природу, и в этом душном от испарений и пота зале эти зеленые квадраты не раз казались мне отъезжим полем, полным препятствий и опасности. Но самое замечательное в этом зрелище – это руки, множество светлых, движущихся, ждущих рук вокруг зеленого стола; руки, выползающие из берлог-рукавов, каждая как хищный зверь, готовый к прыжку, каждая другого цвета и формы, одни голые, другие окованные колодами и звенящими браслетами, одни покрытые волосами, как дикие звери, другие вялые, как тело в ванне, но все напряженные, трепещущие от страшного нетерпения. Я всякий раз невольно думала о беговой площадке, где у старта с трудом сдерживают возбужденных лошадей, чтобы они не вырвались раньше, чем надо. Все можно узнать по этим рукам, по тому, как они ждут, хватают и отдают. Жадный – скрючив пальцы, мот – свободным жестом, расчетливый – спокойно, отчаявшийся – с дрожью в суставах. Сотни характеров моментально выдают себя тем, как люди берут деньги: то согнутыми руками, то нервно сведенными, то утомленными, когда усталые ладони во время игры безучастно лежат на столе. Часто говорят, что человек выдает себя в игре. Я скажу, что еще больше выдает его в игре его собственная рука, потому что все или почти все игроки умеют владеть своим лицом. Они стоняют морщины у рта, сжимают зубы, чтобы скрыть волнение, не позволяют глазам выдавать тревогу, укрощают дрожащие мускулы лица и придают ему фальшивое выражение якобы благородного равнодушия. Но именно потому, что их внимание всегда сосредоточено на том, чтобы подчинить себе лицо, они забывают о руках, забывают о том, что есть люди, которые наблюдают за этими руками и по ним отгадывают все – жадность, упрямство, нервность, равнодушие, усталость. Ибо неминуемо приходит минута, которая выводит эти напряженные или, казалось бы, сонные пальцы из их деланного спокойствия. В тот короткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и называют число, в эту секунду эта сотня или даже сотни рук невольно производят свое особое, совсем индивидуальное, глубоко инстинктивное движение. И на меня, которая, благодаря этому пристрастию моего мужа, научилась совсем по-особому наблюдать эту арену рук, это скопление самых разнородных темпераментов действует более возбуждающе, чем музыка или театр. Вы себе представить не можете, каких только не бывает рук: дикие звери с волосатыми, скрюченными пальцами, которые по-паучьи сгребают деньги, и нервные, дрожащие пальцы с бледными ногтями, которые едва осмеливаются эти деньги взять, благородные и низкие, грубые и застенчивые, хитрые и как бы запинаящиеся, но каждая в своем роде, каждая пара рук рассказывает о своей особой жизни, за исключением четырех-пяти пар рук крупье. Эти – только машины, они работают, как шелкающие, стальные рычаги счетчика, потому что они одни действуют деловым образом. Но именно эти безучастные руки производят поразительное впечатление, как противоположность их алчным и страстным собратьям. Они словно носят другую одежду, как полицейские, которые стоят среди бурной, возбужденной толпы. Особое удовольствие состоит еще в том, что уже через несколько дней близко узнаешь привычки и тревоги отдельных рук; у меня через самое короткое время всегда заводились среди них знакомые, и я делила их, как людей, которых я встречаю, на симпатичных и враждебных мне. Многие были так противны мне своей грубостью и жадностью, что я всегда должна была отводить взгляд, чтобы не повстречаться с ними. Каждая

новая рука на столе была для меня источником новых переживаний и возбуждала мое любопытство. Часто я забывала даже посмотреть на лицо – эту холодную, светскую маску, втиснутую где-то высоко над предательскими пальцами в воротник и неподвижно укрепленную над крахмальной сорочкой смокинга или над сверкающей грудью.

Когда я вошла в тот вечер в зал и, равнодушно поглядев сначала на первый и второй столы, приготовила затем несколько золотых монет у третьего стола и взглянула на игорное поле, я вдруг услышала рядом, среди этого напряженного, не нарушаемого ни единым звуком молчания, которое всегда воцаряется у столов, когда шарик, смертельно устав, качается уже у последней цифры, я услышала какой-то странный шум, хрустение и треск, словно звук ломающихся суставов. Невольно я взглянула туда. И я увидела – мне поистине стало страшно – две руки, подобных которым я еще никогда не встречала: правая и левая, как разъяренные звери, судорожно сцепились друг с другом и так неистово тискали и сжимали одна другую, что суставы пальцев издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. Это были исключительно изысканно красивые руки, с необыкновенно длинными, необыкновенно узкими пальцами, с туго напряженными мускулами, очень белые, с бледными, нежно округленными перламутровыми ногтями. Я смотрела на них целый вечер, поражаясь этим необыкновенным, единственным рукам, но что меня так страшно поразило в ту минуту, так это их страстность, их взволнованное выражение, та судорожность, с которой они сжимали друг друга. Я тотчас же почувствовала, что здесь доведенный до отчаяния человек передает кончиками пальцев свое страдание, чтобы оно не сразило его самого. И вот... в ту секунду, когда шарик с сухим, коротким стуком упал в углубление и крупье выкрикнул номер... в эту секунду обе руки вдруг упали порознь, словно два зверя, которых сразила одна и та же пуля. Они упали, поистине мертвые, а не только усталые, упали в таком пластическом образе бессилия, разочарования, сраженности, что я не могу передать этого словами. Ибо никогда в жизни, ни до того, ни после, я не видела больше таких говорящих рук, где каждый мускул был усталым, а каждый жест – выразителем чувства. Один миг плоско и безжизненно лежали они на зеленой гладкой поверхности стола, обессиленные, еле дышащие борцы. Потом с трудом начала подниматься на кончиках пальцев правая рука, дрогнула, отодвинулась, нервно схватила фишку, покатала ее, как колесико, между большим и указательным пальцами, наконец вобрала внутрь и зажала. Потом вдруг изогнулась по-кошачьи и бросила, прямо-таки выплюнула стофранковую фишку на середину черного поля. Тотчас же напряглась и взволновалась и оставшаяся позади левая рука. Она приподнялась, поползла, подкралась к дрожащей, словно усталой от броска сестре, и теперь обе они лежали, вздрагивая, и чуть-чуть постукивали суставами по столу, с легким треском, как при ознобе стучат зубы. Нет, никогда я не видела таких невероятно выразительных рук, такой судорожной формы волнения и напряжения. Все остальное в этом сводчатом зале – глухой говор посетителей, рыночные выкрики крупье, слоняющиеся люди и, наконец, сам шарик, который, брошенный с высоты, опять как одержимый запрыгал в своей круглой лакированной клетке, – все это шумное, яркое, резкое множество мелькающих впечатлений показалось мне вдруг мертвенным и тусклым рядом с этими дрожащими, дышащими, трепещущими, ждущими, зябнущими, содрогающимися, рядом с этими невиданными руками, от которых я как зачарованная не могла отвести взгляда.

Но наконец я не могла больше удержаться, я должна была взглянуть на лицо, взглянуть на человека, которому принадлежали эти волшебные руки, и боязливо – да, боязливо, ибо я страшилась этих рук, – мой взгляд начал медленно подниматься по рукаву, по узким плечам к тому, чужому лицу. И снова я ужаснулась, ибо это лицо говорило так же сказочно напряженно, как и руки, у него было такое же страшное, страдальческое выражение и такая же нежная, почти женская красота. Никогда я не видела такого лица, такого хлынувшего наружу, такого ушедшего, оторвавшегося от самого себя лица, и мне была предоставлена полная возможность спокойно разглядывать его, как маску, как картину, ибо его глаза не глядели, не замечали окружающего,

ни шума, ни людей, ни предметов. Завороженные, пылая таким безумным возбуждением, что никаких слов не хватило бы это описать, они оцепенело следили только за черным шариком, который, резко стуча и чуть ли не вызываяще, как играющее животное, быстро прыгал в своей круглой клетке. Никогда, я должна это повторить, не видела я такого напряженного, такого поразительного лица. Оно принадлежало молодому человеку лет двадцати четырех. Это было узкое, нежное, продолговатое и потому такое выразительное лицо. Так же как и его руки, оно казалось совсем не мужским. Это было скорее лицо страстно играющего мальчика. Но все это я заметила только потом, потому что в тот момент на этом лице отражались только жадность и бешенство. Томящийся жаждой, приоткрытый маленький рот наполовину обнажал зубы; на расстоянии десяти шагов можно было видеть, как лихорадочно они стучат, а губы оставались неподвижно раскрытыми, как бы для готового вырваться крика. Ко лбу прилипли мокрые, светлые, нежные волосы, спутавшись, словно у падающего человека, а у ноздрей что-то трепетало непрерывно, как будто под кожей пробегали невидимые волны. Эта склоненная голова все время бессознательно устремлялась вперед, и вам невольно казалось, что вот-вот она сорвется с места и начнет кружиться вместе с шариком; и тут я поняла это судорожное сжимание рук: только это сопротивление, только эта судорога и удерживали в равновесии порывающееся вперед тело.

Я никогда не видела – повторяю это еще раз – такого лица, на котором так открыто и неприкрашенно отражалась бы страсть, и я так же пристально, так же зачарованно глядела на это лицо, была с такой же силой прикована к этому безумному лику, как оно само глядело на прыжки кружасьего шарика. С этого мгновения я уже ничего не замечала в зале, все казалось мне тусклым, неясным, расплывчатым, темным в сравнении с этим пылающим лицом, и, забыв обо всех остальных, я, может быть, целый час глядела на одного этого человека, наблюдала каждый его жест. Я видела, как в его глазах вспыхнуло яркое пламя, как, словно от взрыва, разорвался судорожный узел рук, раскидывая дрожащие пальцы, когда крупье пододвинул к ним звенящей лопаткой двадцать золотых монет. В это мгновение лицо стало вдруг ясным и совсем молодым, морщины мягко разгладились, радостно засветились глаза, и согнутое тело светло и легко выпрямилось; он сидел статно, как всадник, охваченный победным ликованием, а пальцы шаловливо и влюбленно сгребали круглые монеты, стучали ими одна о другую, играя и позванивая. Потом он снова беспокойно повернул голову, окинул глазами зеленое поле, как молодая охотничья собака, которая, обнюхивая, ищет след, и вдруг порывистым движением бросил всю золотую стопку на один из углов. И тогда снова началось это выжидание, это напряжение. Снова побежали от губ к носу эти дрожащие волны, снова судорожно сжались руки, и мальчишеское лицо исчезло в алчном пылании ждущих глаз, пока вдруг опять это порывистое напряжение не распалось в разочаровании: юношески возбужденные черты поблекли, стали вялыми и старыми, глаза безжизненными и тусклыми, и все это произошло в течение одной секунды, когда шарик упал не на то число. Он проиграл. Секунды две смотрел он тупо, словно не понимая, затем, под подбадривающими, подстегивающими возгласами крупье, его пальцы снова тяжело приподнялись, протащили вперед, как тяжелое бремя, несколько золотых монет. Но уверенность была уже потеряна. Сначала он подвинул золото на одно поле, потом, передумав, на другое, и, когда шарик был уже в движении, он бросил дрожащей рукой, следуя внезапному наитию, в узкий четырехугольник еще две скомканные ассигнации.

Эта порывистая смена проигрышей и удач длилась около часа, и в течение всего этого часа я ни на миг не отводила замороженного взгляда от этого беспрестанно меняющегося лица, по которому, приливая и отливая, струились страсти, я не спускала глаз с этих волшебных рук, которые каждым мускулом пластически отражали взлет и падение чувств. Никогда в театре я не всматривалась с таким напряжением в лицо актера, как в это лицо, где, словно бегущие по земле свет и тени, безостановочно сменялись все краски и ощущения. Никогда в игре мое напряжение не достигало такой силы, как созерцание этого чужого волнения. Если бы кто-

нибудь наблюдал за мной в это время, то мой пристальный, стальной взгляд показался бы ему гипнотическим, впрочем, мое полное оцепенение и было чем-то в этом роде: я не могла отвести взгляда от этого лица, и все остальное в этом зале – свет, смех, люди, взгляды едва ощущались мною, как какой-то желтый дым, среди которого было это лицо – огонь среди огней. Я ничего не слышала, ничего не чувствовала, я не видела, как рядом со мной проталкивались люди, как, словно щупальца, протягивались упругие руки, бросали или брали деньги, я не видела шарика и не слышала голоса крупье, и в то же время видела все происходящее, как во сне, по этим рукам и по этому лицу, совершенно отчетливо и словно увеличенно, будто в вогнутом зеркале, благодаря их возбуждению и безудержности, потому что, падал ли шарик на красное или на черное, катился или останавливался, оказывался ли выигрыш или проигрыш, – все отражалось на этом лице с невиданной страстностью и живостью, и вместе с тем с изумительной отчетливостью.

И вот настал страшный миг – миг, которого я все время смутно боялась, который нависал над моими напряженными нервами, словно гроза, и вдруг по ним ударил. Снова шарик с коротким стуком упал в свое углубление, снова минула короткая секунда, когда замирают двести человек, пока наконец голос крупье не возвестил: «Ноль!» и его услужливая правая рука не начала сгребать со всех сторон звенящие монеты и хрустящие ассигнации. В это мгновение обе скрученные руки сделали какое-то особое, странное движение, они как бы подскочили, хватая что-то, чего не было, и потом, словно рухнувший камень, смертельно утомленные, упали на стол. Затем они снова лихорадочно ожили, сбегали со стола к телу, вскарабкались по туловищу, как дикие кошки, забежали вверх, вниз, вправо, влево, нервно шаря по всем карманам, не спрятались ли там где-нибудь забытая золотая монета. Но они всякий раз возвращались и снова, все возбужденнее, принимались за эти безумные, бесполезные поиски, а рулетка уже опять вертелась, игра продолжалась, звенели монеты, отодвигались стулья, и сотни разных шумов наполняли зал. Я дрожала от ужаса: я так остро ощущала происходящее, словно это мои собственные руки отчаянно ищут хотя бы один золотой в карманах и складках измятого платья. И вдруг быстро человек, там, напротив, разом встал, как встают, когда чувствуют себя плохо и вскидывают голову, чтобы не задохнуться; позади него с грохотом упало кресло. Не обращая на это внимания, не видя людей, которые боязливо и удивленно расступились перед этой шатающейся фигурой, он тяжело отошел от стола. Его лицо мертвенно поблекло, ко лбу прилипли влажные, спутанные волосы, а руки безжизненно болтались, как у марионетки, при каждом его слепом, шатающемся шаге.

Я словно окаменела в этот миг. Я тотчас же поняла, куда идет этот человек: он идет на смерть. Кто так встает, как он, тот не идет обратно в гостиницу, в ресторан, к женщине, к поезду, он не идет туда, где жизнь, он падает в пропасть, и даже самый черствый в этом адском зале человек должен был знать, что у того, кто ушел, нигде уже не было опоры – ни дома, ни в банке, ни у родных, что он сидел тут со всеми своими деньгами, со всей своей жизнью и теперь побрел куда-то прочь от жизни. Я все время боялась и, как только взглянула на это лицо, почувствовала, что в этой игре есть что-то большее, чем проигрыш и выигрыш, и всей силой своего напряжения я ощущала, что эта человеческая страстность уничтожит самое себя. И вдруг словно черная молния обрушилась на меня, когда я увидела, как жизнь ушла из его глаз и смерть вяло мазнула по этому еще за миг до того слишком живому лицу. Его выразительные жесты настолько заморозили меня, что я невольно судорожно сжала руки, когда этот человек оторвался от своего места и побрел прочь, потому что эту неверную походку я чувствовала своим собственным телом, так же как раньше каждым своим нервом, каждой жилой ощущала его напряжение. И вдруг что-то толкнуло меня, я должна была пойти за ним, я должна была видеть, что с ним случится. Я не сознавала, что я делаю. Не глядя ни на кого, не чувствуя самое себя, я шла, я бежала по коридору к выходу. Он стоял в гардеробной, служитель подавал ему пальто. Но руки его уже не слушались, и служитель старательно помогал ему, как больному,

всунуть руки в рукава. Я видела, как он машинально полез в жилетный карман, чтобы дать ему на чай, но пальцы снова ничего не извлекли оттуда. Тогда он как будто опять вспомнил все, что-то смущенно пробормотал служителю, рванулся, как перед тем, вперед и тяжело, словно пьяный, начал спускаться по ступеням казино, а служитель с презрительной было, а потом с понимающей усмешкой посмотрел ему вслед.

Его движения были так потрясающи, что мне стало стыдно смотреть. Я невольно отвернулась, смущенная тем, что случайно увидела, словно на сцене, чужое страдание; но потом снова этот непонятный страх толкнул меня. Я быстро оделась и, не думая ни о чем, механически сбежала со ступеней, спеша во тьму за этим чужим человеком.

Миссис К. прервала на минуту рассказ. Она сидела неподвижно против меня и со своим особым спокойствием и деловитостью говорила почти без пауз, как говорит тот, кто внутренне приготовился и расположил по порядку все эпизоды. Тут она в первый раз запнулась, помедлила, потом обратилась прямо ко мне.

– Я обещала вам и себе самой, – начала она немного взволнованно, – рассказать все с полной откровенностью. Однако я должна теперь же потребовать от вас, чтобы вы отнеслись к моей откровенности с полным доверием и не приписывали мне никаких скрытых мотивов, которых я могла бы теперь и не стыдиться, но которых в данном случае совершенно не было. Итак, я должна подчеркнуть, что, когда я поспешила за этим несчастным игроком на улицу, я вовсе не была влюблена в этого молодого человека. Я вовсе не думала о нем как о мужчине. После смерти моего мужа я, уже сорокалетняя женщина, не обращала внимания на взгляды мужчин. Для меня это было безвозвратное прошлое. Я говорю вам это и должна это вам сказать, потому что иначе вам не будет понятен весь ужас того, что случилось потом. Впрочем, мне все-таки трудно было точно назвать то чувство, которое тогда с такой силой влекло меня к этому несчастному: здесь было любопытство и прежде всего ужасный страх или, лучше сказать, страх перед чем-то ужасным, что я с первой же секунды невидимо почувствовала вокруг этого молодого человека, словно облако. Но такие ощущения нельзя отделять одно от другого, нельзя расчленять уже потому, что они слишком сильно, слишком быстро, слишком самопроизвольно следуют друг за другом и лежат по ту сторону спокойного размышления; наверное, это было всего лишь инстинктивное движение, которым на улице оттаскивают назад бросившегося под автомобиль ребенка. Разве можно объяснить, почему человек, который сам не умеет плавать, бросается с моста на помощь утопающему? Просто тайная сила толкает его вперед, и у него нет времени подумать, как безумно, как опасно для него самого его намерение; совершенно так же, не думая, не отдавая себе отчета, я пошла за несчастным из игорного зала к двери и от двери на террасу.

Я уверена, что ни вы, ни другой человек с открытыми на все глаза не мог бы отделаться от этого жуткого любопытства, потому что нельзя было вообразить себе более ужасного зрелища, чем то, когда этот, самое большее двадцатичетырехлетний, молодой человек медленно, как старик, шатаясь как пьяный, не повинующимся ему разбитым телом тащился по ступеням к террасе. Там он, как мешок, упал на скамью. Я снова, содрогаясь, почувствовала: этому человеку пришел конец. Так падает только мертвый или тот, у кого для жизни уже нет сил и ни один мускул уже не действует. Голова как-то боком откинулась на спинку; безжизненно болтаясь, повисли руки; в тусклом свете фонарей прохожий принял бы его за застрелившегося. И вот, – я не могу объяснить, как это видение возникло вдруг передо мною, но оно встало во всей своей яркости, осязаемое, страшное, чудовищное, – в эту минуту я увидела его застрелившимся, и непоколебимой была моя уверенность, что в кармане у него револьвер и что завтра это тело найдут скорчившимся на этой или на другой скамейке, безжизненное, окровавленное, ибо он упал так, как камень падает в воду и уже не может остановиться, пока не достигнет дна. Я никогда не видела, чтобы одно движение говорило о такой усталости и отчаянии.

А теперь подумайте обо мне, я стояла в двадцатитридцати шагах позади скамьи, где сидел неподвижный, сраженный человек; стояла, дрожа, не зная, что делать, побуждаемая желанием помочь и сдерживаемая воспитанной во мне, врожденной боязнью заговорить на улице с чужим человеком. Газовые фонари тускло горели под затянутым тучами небом; лишь изредка проходил мимо человек; было около полуночи, я стояла почти совсем одна в парке, на берегу, рядом с этим комком отчаяния, который с презрением и безнадежностью вышвырнул сам себя из жизни. Пять, десять раз я порывалась подойти к нему, и каждый раз меня удерживал стыд или, быть может, какой-то более глубокий инстинкт, подсказывавший мне, что падающий, в отчаянной схватке, нередко увлекает за собой спасителя, – и среди всех этих моих колебаний я отчетливо почувствовала, как глупо и смешно мое положение, но не могла ни уйти, ни заговорить, ни сделать что-нибудь, ни покинуть его. Я надеюсь, вы мне поверите, если я скажу, что целый час, целый бесконечный час, пока тысячи всплесков невидимого прибое разрывали время, я ходила взад и вперед по этой террасе, настолько потрясло и приковало меня зрелище этой полной гибели человека.

И все же у меня не хватало мужества что-нибудь сказать, что-нибудь сделать, и я, может быть, прождала бы так добрую половину ночи, до утра, или, может быть, побежденная холодным рассудком и эгоизмом, пошла бы домой; мне даже кажется, что я уже решилась бросить на произвол судьбы этот беспомощный, отчаявшийся комок, но тут случилось нечто более могущественное, чем мое решение: пошел дождь. Целый вечер наносило ветром с моря тяжелые, дымящиеся весенние тучи; сердце и грудь ощущали, что небо опустилось совсем низко; и вот упала первая капля, а затем дробно застучали гонимые ветром тяжелые, мокрые пряди сплошного ливня. Невольно я побежала под навес киоска, но хоть я и раскрыла зонтик, прыгающая влага брызгала мне на платье, руки и лицо и обдавала холодной пылью разбивающихся о землю капель.

Но – и это была такая ужасная картина, что даже теперь, после двух десятилетий, у меня сжимается горло, когда я вспоминаю, – под этим дождевым обвалом несчастный безжизненно сидел на скамье и не двигался. Из всех желобов текла и бурливо струилась вода. Из города доносился грохот мчащихся экипажей, справа и слева бегом бежали люди, и было видно в темноте, как они спешат, подняв воротники пальто. Все живое боязливо ежилось, бежало, пряталось, искало убежища. Чувствовалось, как люди и животные боятся низвергающейся стихии, – и только этот черный человеческий обломок на скамье не двигался и не шевелился. Я уже сказала вам, что у этого человека был волшебный дар – каждое свое чувство невольно выражать пластически движением или жестом, но ничто, ничто на земле не могло так потрясающе отразить это отчаяние, этот отказ от самого себя, эту смерть заживо, как эта неподвижность, это бесчувственное, мертвое сидение под хлещущим дождем, эта чрезмерная усталость, не позволявшая ему подняться и пройти несколько шагов к кровле, эта последняя степень безразличия к самому себе. Ни один ваятель, ни один поэт, ни Микеланджело, ни Данте не изображали с таким душераздирающим чувством последнее отчаяние, последнюю земную горечь, как этот живой человек, отдавшийся стихии, слишком усталый, чтобы сделать хоть какое-нибудь движение. Я не выдержала, я не могла больше. В один миг я пробежала сквозь дождевую завесу, встряхнула этот мокрый человеческий ком. «Идемте!» – я схватила его за руку, что-то с трудом двинулось вперед. Он хотел сделать какое-то движение, но ничего не понимал. «Идемте!» – я еще раз потянула за мокрый рукав, теперь уже с силой и почти сердито. Тогда он встал, безвольно шатаясь. «Что вам надо?» – спросил он, и я не нашла ответа, потому что сама не знала, куда я с ним пойду; только бы подальше от этой сырости, от этой безумной, самоубийственной оцепенелости и невыразимого отчаяния. Я не отпустила его руку и потащила этого лишнего воли человека вперед, к киоску, где узкий навес хоть немного защищал от гонимых ветром потоков неистового ливня. Больше я ничего не могла сделать, ничего не хотела, только отвести под крышу, в сухое место этого человека; больше я пока ни о чем не думала.

И так стояли мы теперь рядом в узкой сухой полосе у стены закрытого киоска, под маленьким навесом, а порывистый, хлещущий время от времени дождь обдавал нашу одежду и наши лица холодной водой. Положение было невыносимое. Я не могла стоять дольше рядом с этим промокшим чужим человеком. Но, вытащив его сюда, я не могла допустить, чтобы он безмолвно тут стоял. Что-то должно было случиться. Мало-помалу я заставила себя размышлять здраво. Лучше всего было бы отвезти его домой в экипаже, а потом и самой отправиться домой. Завтра он уже сам сумеет себе помочь. И вот я спросила его, неподвижно стоявшего рядом со мной и тупо смотревшего в бурную ночь: «Где вы живете?» – «Я нигде не живу... Я только вечером приехал из Ниццы... Ко мне нельзя пойти».

Последние слова я поняла не сразу. Только немного погодя мне стало ясно, что этот человек принимает меня за... кокотку, за одну из тех женщин, которые вечером толпами кружат около казино, чтобы обобрать счастливого игрока или пьяного. В конце концов, мог ли он думать иначе? Только теперь, когда я это вам рассказываю, я чувствую всю невероятность и фантастичность моего положения – мог ли он думать иначе? Ведь по тому, как я стащила его со скамьи и повела за собой, он действительно не мог меня принять за даму из общества. Но обо всем этом я догадалась не сразу; я только позже, может быть даже слишком поздно, начала понимать то ужасное, ложное положение, в котором я очутилась. Иначе я никогда бы не произнесла тех слов, которые могли только укрепить его в этом заблуждении. Я сказала: «Тогда надо взять комнату в отеле. Здесь вы не должны оставаться, вы должны куда-нибудь пойти».

Но теперь я уже заметила ошибку, потому что он даже не повернулся ко мне и сказал с какой-то насмешкой в голосе: «Нет, мне не нужна больше комната, мне ничего больше не надо. Не трудись напрасно, из меня ты ничего не вытянешь. Ты не к тому обратилась, у меня нет денег».

Это было так страшно сказано, с таким потрясающим безразличием! И то, как он стоял, вяло прислонясь к стене, этот промокший, вконец измотавшийся человек, так взволновало меня, что я даже не подумала обидеться. Я снова почувствовала то, что ощутила в первое мгновение, когда он побрел из казино, и то, что я ощущала в продолжение всего этого невероятного часа: что здесь человек, молодой, живой, дышащий человек стоит вплотную к смерти и что я должна спасти его. Я подошла к нему ближе: «Не беспокойтесь о деньгах и еде. Вы не должны здесь оставаться. Я дам вам приют. Пусть это вас не беспокоит, и идите сейчас».

Он повернул ко мне голову, и, в то время как вокруг барабанил дождь и водосточные трубы струили к нашим ногам хлюпающую воду, я почувствовала, что он в первый раз старается в темноте разглядеть мое лицо. Его тело будто медленно начинало выходить из своей летаргии.

«Ну, как хочешь, – сказал он наконец. – Мне все равно. В самом деле, почему бы и нет? Идем!»

Я раскрыла зонтик, он подошел ко мне и взял меня под руку. Эта внезапная интимность была мне неприятна, больше того, я пришла в ужас, и страх пронизал меня до глубины души. Но у меня не хватало мужества запретить ему что-нибудь. Если бы я оттолкнула его, он упал бы в бездну, и тогда все, что я уже успела сделать, оказалось бы бесполезным. Мы пошли назад в сторону казино, и тогда только у меня мелькнула мысль, что я не знаю, что же мне с ним делать. Я быстро сообразила, что лучше всего было бы отвезти его в отель, у подъезда сунуть ему в руки деньги, чтобы он там переночевал и утром уехал домой. О дальнейшем я не думала. Мимо казино торопливо проезжали экипажи, я остановила один. Мы сели, и, когда кучер спросил, куда везти нас, я сначала не знала, что ответить. Но тут я вспомнила, что человек в промокшей одежде, с которой стекает вода, не может найти хорошего приема в дорогом отеле, и, как совсем неопытная женщина, не подумав об этой двусмысленности, я крикнула кучеру: «В какую-нибудь гостиницу попроще!»

Мы сели. Равнодушный, промокший кучер погнал лошадей. Мой сосед молчал, колеса стучали, а дождь шумно барабанил о стекла. В этом темном, гробоподобном ящике у меня было такое ощущение, словно я еду с трупом. Я старалась собраться с мыслями, найти какие-то слова, чтобы нарушить это странное, страшное молчание, но ничего не могла придумать. Через несколько минут экипаж остановился. Я вышла первая и расплатилась с кучером, пока мой спутник, словно пьяный, вылезал из экипажа. Мы стояли у дверей маленькой незнакомой гостиницы. Под стеклянным навесом было небольшое защищенное место, а вокруг, в непроливаемой ночной тьме, с отвратительной монотонностью шумел дождь.

Незнакомец, побежденный тяжестью собственного тела, невольно прислонился к стене. С его промокшей шляпы и измятого платья текла вода. Он стоял, как вытасненный из реки и еще не совсем пришедший в себя тонувший человек, и в том месте, к которому он прислонился, стекал вниз ручеек. Но он не сделал даже легкого движения, чтобы отряхнуться, снять шляпу, с которой капли, как слезы, стекали на его лицо. Он только стоял безжизненно, и я не могу передать вам, как меня волновала эта сломленность.

Но надо было что-нибудь делать. Я опустила руку в карман. «Вот вам сто франков, – сказала я. – Снимите себе на них комнату и утром поезжайте обратно в Ниццу».

Он удивленно взглянул на меня.

«Я видела вас в игорном зале, – торопливо продолжала я, заметив, что он колеблется. – Я знаю, что вы все проиграли, и боюсь, что вы на пути к тому, чтобы сделать глупость. Нет стыда в том, чтобы позволить помочь себе: вот, возьмите».

Но он оттолкнул мою руку с силой, которой я от него не ожидала. «Ты славная женщина, – сказал он, – но оставь свои деньги себе, мне ничем уже не помочь. Буду ли я еще спать эту ночь или не буду – это не имеет никакого значения. Завтра все равно конец. Мне уже не помочь».

«Нет, вы должны взять, – настаивала я. – Завтра вы будете думать иначе. А пока зайдите сюда и усните. Днем все кажется совсем другим».

Но он почти запальчиво оттолкнул мою руку, когда я протянула ему деньги. «Оставь, – глухо повторил он. – В этом нет смысла. Лучше я это сделаю на улице, чем пачкать здесь кровью людей комнату. Мне не помогут ни сто франков, ни даже тысячи. Завтра я снова с последними пятью франками пошел бы в казино и играл бы до тех пор, пока ничего бы не осталось. К чему начинать снова? С меня довольно».

Вы не можете себе представить, как терзал мою душу этот глухой голос; но подумайте, в двух дюймах от вас стоит молодой, светлый, живой, дышащий человек, и вы знаете, что, если не напряжете всех сил, эта мыслящая, говорящая, дышащая юность через каких-нибудь два часа будет трупом. И тут во мне поднялось неистовое, бешеное желание победить это безумное сопротивление. Я схватила его за руку: «Бросьте эти глупости. Вы сейчас же войдете и снимете комнату, завтра придете ко мне, и я отвезу вас на вокзал. Вам нужно прочь отсюда. Завтра же вы должны уехать домой, и я не успокоюсь, пока не увижу вас в поезде с билетом. В молодости не выбрасывают жизнь только потому, что проиграли несколько сот или тысяч франков. Это трусость, это глупый припадок злости и раздражения. Завтра вы сами скажете, что я права».

«Завтра, – мрачно и насмешливо повторил он. – Если бы ты знала, где я завтра буду. Да, и если бы я сам это знал. Мне самому любопытно. Нет, ступай домой, дитя мое, не трудись и не швыряй деньгами».

Но я не уступала. Это превратилось во мне в какую-то манию, в какое-то неистовство. Я с силой схватила его руку и всунула туда ассигнацию. «Вы возьмете деньги и сейчас же войдете сюда, – с этими словами я решительно подошла к звонку и позвонила, – вот, я позвонила, выйдет сейчас портье. Завтра в десять часов я буду ждать вас здесь, около этого дома, и отвезу вас прямо на вокзал. Не заботьтесь больше ни о чем, я все устрою, все сделаю, чтобы вы были дома. А сейчас лягте, усните и не думайте больше об этом».

В эту минуту изнутри в двери шелкнул ключ, портье отворил.

«Ну, идем», – сказал он вдруг каким-то жестким, властным, мрачным голосом, и я почувствовала, как его пальцы, словно сталь, сжали мою руку. Меня охватил страх... такой пронизывающий страх... я так растерялась от неожиданности, что ничего не соображала. Я хотела сопротивляться... вырваться... но моя воля была сломлена... и потом... вы поймете... мне было стыдно бороться с чужим человеком перед портье, который стоял и нетерпеливо ждал. И вот я очутилась в гостинице; я хотела заговорить, что-нибудь сказать, но горло судорожно сжалось... на моей руке тяжело и властно лежала его рука... я смутно сознавала, что она ведет меня по лестнице... звякнул ключ...

И вот я очутилась одна с этим незнакомцем в какой-то чужой комнате, в гостинице, названия которой я не знаю и теперь.

Миссис К. снова умолкла и вдруг встала. Ее голос словно отказывался ей повиноваться. Она подошла к окну и несколько минут молча смотрела в него, а может быть, просто прильнула лбом к холодному стеклу; я не решался взглянуть на нее, потому что мне было тяжело видеть волнение этой старой дамы. Я сидел совсем тихо, ничего не спрашивая, и ждал, пока она спокойной походкой не вернулась на свое место и не села снова против меня.

– Теперь уже сказано самое тяжелое. И я надеюсь, что вы мне поверите, если я скажу и поклянусь вам всем, что для меня свято, моей совестью, моими детьми, что до той минуты мне и в голову не приходила мысль... о связи с этим незнакомым человеком, что я совсем безвольно, бессознательно, словно провалившись в западню на ровной дороге моей жизни, очутилась в этом положении. Я дала себе клятву в каждом слове быть правдивой перед вами и собой, и я снова повторяю, что только бешеное желание помочь и ничто другое, не личное чувство, не что-либо похожее на это, завлекло меня в это трагическое приключение.

Вы меня избавите от необходимости рассказывать о том, что случилось в этой комнате в ту ночь. Сама я не забыла и не хочу забывать ни одного мгновения этой ночи. В эту ночь я боролась с человеком за его жизнь, я чувствовала, что он со всей жадностью и страстностью молодости еще цепляется за нее. Он ухватился за меня, как тот, кто уже видит у себя под ногами бездну. Я же забыла о себе, чтобы спасти его, спасти всем, что у меня было. Такие часы человек переживает только раз в жизни, переживает один из миллионов людей, и без этого ужасного случая я никогда бы не почувствовала, как страстно, с каким отчаянием, с какой необузданной жадностью приникает потерянный, сраженный человек к каждой капле жизни, я, двадцать лет огражденная от демонических сил бытия, никогда бы не постигла, как грандиозно и фантастически иной раз сплетается природа зной и холод, жизнь и смерть, ликование и отчаяние в одном коротком мгновении. Эта ночь была так полна борьбы и слов, страсти, гнева и ненависти, слез мольбы и опьянения, что она казалась мне тысячелетием. И мы, два человека, низвергнутые в нее, один – жаждавший смерти, неистовый, другой – ничего не сознающий, вышли из нее преображенными, с новыми мыслями, с новыми чувствами. Но я не хочу об этом говорить. Я не могу этого передать и не буду. Но о той ужасной минуте, когда я проснулась утром, я должна вам рассказать. Я очнулась от свинцового сна, я вышла из такой глубины мрака, какой я до тех пор не знала. Я долго не могла открыть глаза, и первое, что я увидела, был незнакомый мне потолок, потом различила всю незнакомую, отвратительную комнату и не могла понять, как я в ней очутилась. Сначала я успокаивала себя, что это только сон, какой-то более светлый, более прозрачный сон, и что я наконец выбираюсь из того совсем глухого, удушливого сна, но в окно уже светило ясное, утреннее солнце, а снизу доносился шум улицы, я слышала стук колес, звон трамваев и голоса людей, и тогда я поняла, что я не сплю, что это наяву. Невольно я поднялась, чтобы прийти в себя, и вот, посмотрев в сторону... я увидела – никогда я не сумела бы передать вам моего ужаса – увидела человека, спящего рядом со мной на широкой кровати... совсем чужого, чужого, чужого, полуголого, незнакомого человека.

Я бы никогда не сумела передать вам этого мгновения. Ужас с такой силой охватил меня, что я бессильно откинулась назад. Но это был не обморок, не потеря сознания, напротив, с быстротой молнии все для меня стало ясно и вместе с тем необъяснимо, и теперь мне хотелось только одного – умереть от отвращения и стыда за то, что я очутилась с каким-то чужим человеком в кровати какого-то подозрительного притона. Я хорошо помню, сердце у меня не билось, я задерживала дыхание, словно этим могла прекратить жизнь и загасить сознание, это ясное, до ужаса ясное сознание, которое все видело и ничего не понимало. Не знаю, как долго я лежала так, похолодевшая с ног до головы, как лежат покойники в гробу. Я закрыла глаза и взывала к Богу, взывала к небесным силам, чтобы все это оказалось неправдой, наваждением. Но мои обострившиеся чувства уже не мирились с обманом, в соседней комнате я слышала плеск воды и голоса, из коридора доносилось шарканье шагов, все это говорило мне о том, что это правда, и я чувствовала себя все более и более униженной.

Как долго длилось это отвратительное состояние, я не могла бы сказать: у таких мгновений совсем другой ход, чем у жизни. И вдруг меня охватил страх, невероятный, животный страх, что этот человек, имени которого я даже не знаю, сейчас проснется, заговорит со мной. Я поняла, что мне остается только одно – одеться и бежать, пока он не проснулся. Чтобы он никогда меня больше не видел, никогда не говорил со мной. Спасти, пока не поздно, прочь, прочь, прочь отсюда. Назад к своей жизни, какой бы то ни было, в свой отель, и с первым же поездом прочь из этого проклятого места, из этой страны, никогда больше не встречать его, в глаза его не видеть, чтобы не было свидетелей, чтобы никто не знал и не мог обвинить.

Эта мысль вернула мне силы. Осторожно, без шума, крадущимися, воровскими движениями медленно сползла я с кровати и взяла свое платье. Я осторожно оделась, все время дрожа от страха, что он проснется. Наконец я была совсем готова, это мне удалось, только шляпа моя лежала по ту сторону у ножки кровати, и вот, когда я на цыпочках подошла к ней, надела ее и была уже в безопасности – в эту минуту я не могла не посмотреть, я должна была еще раз взглянуть на этого чужого человека, который, как камень на голову, упал в мою жизнь. Я хотела бросить только один, беглый взгляд, но... это было поразительно... тот чужой молодой человек, который дремал там, был теперь действительно совсем чужим для меня человеком: сначала я даже не узнала вчерашнего лица. Так теперь разгладились обуреваемые страстью, напряженные, искаженные, судорожно натянутые черты смертельно возбужденного лица: это было совсем другое, детское лицо, лицо мальчика, прямо-таки сиявшее весельем и чистотой. Закушенные вчера губы разжались, сонно приоткрытые, припухлые, готовые к улыбке; нежно вились светлые волосы вокруг гладкого лба, и ровное дыхание легкими волнами пробегало от груди по всему успокоившемуся, блаженно облегченному телу.

Вы, может быть, вспомните, – я вам уже говорила, что никогда, ни у одного человека я не видела такого сильного, преступно сильного выражения жадности и страсти, как у этого незнакомца за игорным столом. А теперь я скажу, даже у детей, которые во сне иной раз излучают ангельское сияние чистоты, не видела я такой ясной безмятежности, такой поистине блаженной дремоты. На этом лице так же ясно, как и тогда, отражались все чувства, но теперь райски освобожденные от внутренней тяжести, раскованные, спасенные. При этом неожиданном зрелище, словно тяжелый, черный плащ, спал с меня всякий страх, всякий ужас. Я уже ничего не стыдилась и была почти счастлива. Все жуткое, все непостижимое получило для меня особый смысл, я радовалась, я гордилась мыслью, что, не принеся я себя в жертву этому молодому, нежному, красивому человеку, который ясно и тихо, как цветок, лежал здесь, он был бы найден где-нибудь на скале с окровавленным, разбитым, раздробленным лицом, уже остывший, с безобразно вылезшими глазами. Я его спасла. Он был спасен. И я не могу назвать это иначе – я смотрела материнским взором на спящего, которому я вновь, с большей мукой, чем собственным детям, дала жизнь. И в этой потрепанной, грязной комнате, в этой мерзкой, случайной гостинице меня охватило такое чувство – может быть, это звучит смешно, – будто

я стою в церкви, чудесное чувство блаженства и святости. И из самого страшного мгновения целой жизни возникло другое, самое удивительное и покоряющее.

Шумно ли я пошевелилась? Сказала ли что-нибудь невольно? Я не знаю. Но вдруг спящий открыл глаза. Меня охватил страх. Я отшатнулась. Он удивленно посмотрел вокруг – совершенно также, как и я. Казалось, он медленно выбирался из какой-то глубины и потерянности. Его взгляд вопрошающе скользил по чужой, незнакомой комнате, потом удивленно остановился на мне. Но прежде чем он заговорил, прежде чем он пришел в себя, я уже овладела собой. Я не должна была допустить ни одного слова, ни одного вопроса, никакой близости; о том, что случилось вчера, нельзя было ни вспоминать, ни говорить. «Я должна идти, – быстро сказала я. – Оставайтесь здесь и оденьтесь. В двенадцать часов вы встретите меня у входа в казино, там я позабочусь обо всем остальном».

И, прежде чем он успел мне возразить, я выбежала вон, чтобы только не видеть этой комнаты, я бежала не оборачиваясь из дома, названия которого я не знала, так же как и имени того человека, с которым я там провела ночь.

На одно мгновение миссис К. прервала свою повесть. Но в ее голосе не было уже ни муки, ни напряжения. Как с трудом взобравшаяся на гору повозка легко и быстро катится по склону с высоты, так теперь, не задерживаясь, совсем в другом темпе продолжался ее рассказ.

– Итак, я бежала к себе в отель по ярким утренним улицам. Все темное, что заслоняло небо, было сметено бурей, как и мое мучительное чувство. Ибо не забывайте то, что я сказала вам раньше: после смерти мужа я отказалась от личной жизни. Детям я была не нужна, сама себе тоже, потому что всякая жизнь – заблуждение, если она не ведет к определенной цели. И вот в первый раз на мою долю выпала неожиданная задача: я спасла человека, вырвала его из небытия с помощью всех своих сил. Оставалось преодолеть еще немного, и эта задача должна была быть выполнена до конца.

Итак, я побежала к своему отелю. Удивленный взгляд портье, которому показалось чрезвычайно странным, что я возвращаюсь домой в девять часов утра, скользнул мимо меня: уже не стыд и не досада на случившееся, а внезапное пробуждение моей воли к жизни владело мной; неожиданное, новое чувство, что моя жизнь нужна, – горячо струилось по моим жилам. Я быстро переоделась у себя в комнате, бессознательно (я это заметила только позднее) сняла траурное платье, чтобы заменить его более светлым, пошла в банк записаться деньгами, потом на вокзал справиться об отходе поезда; с удивившей меня самой твердостью я заставила себя позаботиться и о некоторых других делах. Теперь уже больше ничего не оставалось делать, как добиться отъезда и спасения брошенного судьбой на мое попечение человека.

Конечно, требовалось еще последнее усилие, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Ибо все, что произошло вчера, случилось в темноте, в каком-то вихре. Мы были словно два столкнувшихся, низвергнутых водопадом камня. Мы едва знали друг друга в лицо, я не была даже уверена, узнает ли меня этот незнакомец. Вчера была случайность, опьянение, безумие двух потерявших голову людей. Но сегодня он уже должен был окончательно составить мнение о той, которая вчера отдалась ему, ведь сегодня я должна была встретить его с открытым лицом, как живой человек. Дело надо было довести до конца, и я собрала все свои силы, успокоив себя внутренне тем, что эта встреча при дневном свете будет нашей последней встречей, так как и на эту мою исповедь я решилась, уверившись в том, что завтра я вас больше не увижу.

Но все оказалось легче, чем я думала. Едва только в назначенный час я подошла к казино, какой-то молодой человек вскочил со скамьи и поспешил мне навстречу. В его растерянности было столько же искреннего, детского, непосредственного, счастливого, сколько и во всех его красноречивых движениях. Он шел ко мне с сияющими благодарной и почтительной радостью глазами, которые, однако, смиренно опустили, едва заметили, что я его узнала. Благодарность редко чувствуется у людей, и как раз наиболее благодарные не находят средств ее выра-

зять, они смущенно молчат, стыдятся и скрывают свое чувство. Но в этом человеке, в котором как бы некий таинственный ваятель точно, рельефно и красиво отражал каждое движение чувств, светилась и благодарность, излучавшаяся, словно страсть, из самых глубин его тела. Он нагнулся над моей рукой и, нежно склонив свою юношескую голову, с минуту оставался в смущенной неподвижности. Не сразу вышел он из этого состояния благоговейной робости, спросил меня о здоровье, трогательно посмотрел на меня, и столько почтительности было в каждом его слове, что уже через несколько минут у меня исчезли последние опасения и происшедшее уплыло назад, как облако.

А окружавший нас волшебный вид словно отражал это просветление чувства. На море, которое гневно вздымалось вчера, был такой неподвижный, безмятежный штиль, что белым блеском отсвечивал каждый камень под легким прибоем; казино – эта адская яма – блестело своим белым мавританским фасадом в безоблачном, шелковом небе, а тот киоск, под крышу которого нас вчера загнал ливень, был полон цветов: яркими грудками лежали там пышные букеты цветов и растений – белые, красные, зеленые, пестрые, которые продавала молодая девушка в яркой кофте.

Я пригласила его позавтракать со мной в маленьком ресторане, и там молодой незнакомец рассказал мне свою трагическую историю. Она вполне подтверждала мои первые догадки, когда я увидела на зеленом столе его дрожащие, возбужденные руки. Он происходил из старого аристократического рода австрийской Польши, готовился к дипломатической карьере и месяц тому назад блестяще сдал свой первый экзамен. Чтобы отпраздновать этот день, его дядя – один из высших чинов генерального штаба, – у которого он жил, повез его на Пратер, и они вместе пошли на скачки. Его дяде повезло. Он трижды подряд выиграл. С толстой пачкой банкнот вернулись они домой и поужинали в шикарном ресторане. На следующий день начинающий дипломат получил от своего отца в награду за успешно выдержанный экзамен денежную сумму в размере его месячного содержания. Дня за два до того эта сумма показалась бы ему еще большей, но теперь, после того легкого выигрыша, он отнесся к ней равнодушно и небрежно. Сразу же после обеда он поехал на скачки, играл с безумным азартом, полагаясь только на случайность, и его счастье или, вернее, несчастье было таково, что после последнего заезда он покинул Пратер с утроенной суммой в кармане.

И вот его охватила страсть к игре – на скачках, в кафе, в клубах, завладела его временем, оторвала от занятий, расшатала нервы и прежде всего поглощала деньги. Он ни о чем не мог больше думать, не мог успокоиться и хоть сколько-нибудь овладеть собой. Как-то ночью, вернувшись домой из клуба, где он все проиграл, он нашел, раздеваясь, в жилете скомканную, забытую ассигнацию. Он не мог удержаться, оделся, блуждал по улицам, пока не нашел в каком-то кафе за домино двух игроков, с которыми и просидел до утра.

Один раз его выручила замужняя сестра, заплатив долг ростовщикам, проявившим величайшую готовность услужить наследнику громкой аристократической фамилии. Однажды ему снова повезло в игре, но затем он неудержимо покатился вниз, и чем больше он проигрывал, тем более страстно хотелось ему выиграть. Он уже давно заложил свои часы и платье, и наконец случилось ужасное: он выкрал из шкафа у старой тетки две жемчужные булавки, которые она редко носила. Одну он заложил за большую сумму, которую игра учетверила в тот же вечер. Но вместо того чтобы выпутаться из этого дела, он рискнул всем и проиграл. Ко времени его отъезда кража еще не была обнаружена, и вот он заложил вторую булавку и, следуя внезапному стремлению, уехал в Монте-Карло, чтобы там добыть вожаемое богатство. Он продал здесь свой чемодан, платье, зонтик. У него не осталось ничего, кроме револьвера с четырьмя патронами и маленького, усыпанного бриллиантами крестика его крестной матери, княгини Х., с которым он не хотел расстаться, потому что мать заклинала его никогда не снимать этого креста. Но и этот крест он продал днем за 50 франков, чтобы вечером в последний раз снова испытать мучительную радость игры на жизнь и на смерть. Все это он рассказал с

чарующей грацией, с присущей ему творческой живостью. Я слушала, взволнованная, потрясенная, растроганная, и ни на одно мгновение мне не приходила в голову мысль возмутиться тем, что ведь этот человек, который сидит со мною, – вор. Если бы кто-нибудь сказал мне вчера, мне, женщине с безупречно проведенной жизнью, требовавшей в своем присутствии строжайшего соблюдения приличий, что я буду дружески сидеть рядом с совершенно незнакомым мне молодым человеком, чуть постарше моего сына, человеком, который украл жемчужные булавки, я сочла бы его сумасшедшим. Но за все время его рассказа я не чувствовала ничего, что было бы похоже на ужас. Он рассказал все это так естественно, с такой страстностью, что его история казалась мне скорее рассказом о каком-то бреде, о болезни, и я не находила причин возмущаться. А потом, кому, как не мне, пришлось минувшей ночью пережить такую бурную неожиданность, что слово «невозможно» потеряло для меня всякий смысл: за эти десять часов я узнала неизмеримо больше жизненной правды, чем до того за сорок лет мирно прожитой жизни.

Но нечто другое все же испугало меня в этой исповеди: это был лихорадочный блеск его глаз, который словно электричеством заряжал нервы его лица, когда он рассказывал о своей страсти к игре. Даже рассказ об этом волновал его, с ужасающей яркостью отражая на его лице напряжение этих часов подъема и муки. Невольно его руки, эти поразительные, узкие, нервные руки, снова стали, как тогда за столом, хищными, стремительными существами. Когда он говорил, я видела, как его пальцы дрожат, с силой сжимают друг друга, потом разжимаются и снова сцепляются, а когда он признавался в краже булавок, они (я невольно поддалась назад), подпрыгнув, сделали быстрое воровское движение: я прямо-таки видела, как пальцы яростно схватили драгоценность и торопливо зажали ее в кулаке. С неопишуемым ужасом я поняла, что этот человек до последней капли крови отравлен своей страстью.

Только это одно потрясло и взволновало меня в его рассказе – эта гибельная привязанность к преступной страсти молодого, светлого, беззаботного по натуре человека. Моей первой обязанностью было дружески сказать моему неожиданному питомцу, что он должен уехать из Монте-Карло, где он подвергается опаснейшим искушениям, что он сегодня же должен вернуться к своей семье, пока не заметили пропажу булавок и его будущее не погибло навсегда. Я обещала дать ему денег на дорогу и на выкуп драгоценностей, но с условием, что он сегодня же уедет и поклянется честью никогда больше не брать в руки карты и вообще не играть в азартные игры.

Я никогда не забуду, с какой смиренной, а потом светлой и страстной благодарностью слушал меня этот чужой, павший человек, как он впитывал мои слова, когда я обещала ему помочь, и вдруг он протянул обе руки через стол и схватил мои руки незабываемым движением, в котором слились и преклонение передо мной, и обет. В его светлых, обыкновенно чуть-чуть беспокойных глазах стояли слезы, все его тело слегка дрожало от счастливого волнения. Я уже пыталась передать вам исключительную выразительность его движений, но это движение я не могла бы передать: в нем было столько экстаза, такая неземная одухотворенность, которую вряд ли можно увидеть на человеческом лице.

К чему умалчивать: я не выдержала этого взгляда. Благодарность делает вас счастливым потому, что редко приходится испытывать ее. Нежность благотворна, и для меня, сдержанного, холодного человека, этот ее избыток был источником нового ощущения счастья. А кругом, вместе с этим сраженным и растоптанным человеком, волшебным оживала природа после вчерашнего дождя. Когда мы вышли из ресторана, нам навстречу пышно засверкало успокоившееся море, синее, как небо, с белыми пятнами-чайками в другой, горной синеве. Вы ведь знаете ландшафт Ривьеры. Он всегда прекрасен, но всегда один и тот же, как открытка с видом: постоянно пышные краски, спящая, неподвижная красота, по которой равнодушно скользит взгляд, почти восточная в своей извечной истоме. Но иногда, очень редко, случаются дни, когда эта красота просыпается, когда она словно кричит веселыми, сверкающими красками

и яркими цветами, когда она победно бросает вам навстречу свои пестрые цветы, когда она горит, пылает своей чувственностью. И в такой вот одухотворенный день вылился этот хаос бурной ночи. Улицы казались омытыми, небо бирюзовым, повсюду в ожившей зелени многоцветными факелами пламенели цветы. Горы словно вдруг приблизились в ясном, напоенном солнцем воздухе. Одним взором можно было почувствовать бодрящий зов этой природы, и невольно она завладевала сердцем. «Возьмем экипаж, – сказала я, – и проедемся вдоль берега».

Он радостно кивнул. Казалось, впервые со времени своего приезда этот юноша вообще замечал окружающее. До этого времени он ничего не знал, кроме душного зала казино с тяжелым запахом пота, скопления отвратительных людей и неприветливого, серого, слезящегося моря. Теперь перед нами лежал сказочный веер залитого солнцем берега, и взгляд счастливо блуждал по ясным далям. Мы медленно ехали в коляске (тогда еще не было автомобилей) по восхитительной дороге, мимо вилл и дач, и возле каждого дома, возле каждой спрятанной в яркой зелени виллы, в душе шевелилось затаенное желание: здесь можно было бы жить, тихо, радостно, вдали от мира!

Была ли я когда-нибудь более счастлива, чем в тот час? Не знаю. Рядом со мной в экипаже сидел этот молодой человек, которого еще вчера я видела в цепких объятиях смерти. Он светился счастьем. Казалось, годы покинули его. Он стал совсем мальчиком, красивым, веселым ребенком с резвыми и в то же время благоговейными глазами. Но больше всего трогала меня его чуткость: как только на подъеме коляска останавливалась и лошадям становилось трудно, он быстро соскакивал и подталкивал сзади экипаж. Едва я называла какой-нибудь цветок или показывала его на дороге, он спешил сорвать его для меня. Маленькую черепаху, которая, соблазненная вчерашним дождем, тяжело ползла по дороге, он заботливо перенес в зеленую траву, чтобы колеса проезжающих экипажей ее не раздавили. Весело и живо он рассказывал мне смешные, милые истории. Мне казалось, что этот смех выручал его, иначе он начал бы петь и прыгать или безумствовать – так счастлив, так взбудоражен был он своей внезапной переменной настроенности.

Наверху, когда, свернув направо, мы медленно проезжали через маленькую деревушку, он вдруг почтительно снял шляпу. Я удивилась – кого приветствовал он здесь, этот чужой среди чужих? Когда я спросила, он слегка покраснел и сказал, словно извиняясь, что мы проехали мимо церкви, а у них в Польше, как и во всех строго католических странах, с детства приучаются снимать шляпу перед каждым храмом. Я тотчас же вспомнила о том кресте, о котором он мне говорил, и у меня вдруг мелькнула мысль. «Стойте», – крикнула я кучеру и поспешно вылезла из экипажа. Он последовал за мной, удивленный: «Куда мы идем?» Я ответила только: «Идите за мной».

Я пошла с ним назад к церкви. Это была маленькая кирпичная деревенская церковь с белыми оштукатуренными стенами. Дверь была открыта, и желтый сноп света остро врезался в сияющую темноту, где у маленького алтаря стлались синие тени. Словно недремлющее око, горели в дышащем ладаном сумраке две свечи. Мы вошли. Он снял шляпу, погрузил руку в чашу со святой водой, перекрестился и преклонил колени. Как только он встал, я сразу потянула его за собой. «Пойдемте туда, – сказала я, – к алтарю или к святой для вас иконе, и дайте обет, слова я вам подскажу». Он смотрел на меня, удивленный, но потом, поняв меня, подошел к нише, перекрестился и опустился на колени. «Повторяйте вслед за мной, – сказала я, сама дрожа от волнения. – Повторяйте за мной: я клянусь...» – «Я клянусь», – повторил он, и я продолжала: «... что никогда больше не приму участия в игре на деньги, какова бы она ни была, что никогда больше я не отдам этой страсти мою жизнь и мою честь».

Дрожа, он повторял эти слова; громко и четко звучали они в пустом, гулком пространстве. Потом стало тихо, так тихо, что можно было слышать, как шелестят деревья, по верхушкам которых шаловливо гуляет ветер. И вдруг он склонился, как кающийся, и заговорил сам в таком экстазе, какого я никогда не слышала. Это были быстрые, смятенные, подталкиваю-

щие одно другое польские слова, которых я не понимала. Но это должно было быть молитвой экстаза, молитвой благодарности и покаяния, ибо все снова и снова, как кающийся, смиренно склонял он голову к пюпитру, все с большей страстностью следовали друг за другом непонятные слова, и все громче, с невыразимой пламенностью, повторялось одно и то же слово. Никогда, ни до того, ни после, не слышала я в церкви такой молитвы. Его руки судорожно хватались за дерево пюпитра, все тело его сотрясалось от внутренней бури, которая то вздымала его, то снова низвергала. Он ничего не видел, ничего не чувствовал. Все в нем казалось из другого мира, словно он был в очистительном огне преображения. Потом он медленно встал, перекрестился и устало повернулся. Его колени дрожали, его лицо было бледно, как у вконец изнуренного человека. Но когда он меня увидел, его глаза просияли, ясная, поистине набожная улыбка озарила его неземное лицо. Он подошел ближе, низко, по-русски поклонился, взял меня за обе руки и почтительно поцеловал их: «Вас Бог послал мне. Я благодарил его за это». Я не знала, что сказать, но мне хотелось, чтобы вверху вдруг заиграл орган, ибо я чувствовала, что мне все удалось: этот человек был спасен навсегда.

Мы вышли из церкви к сияющему, брызжущему, словно майскому солнцу. Никогда мир не казался мне прекраснее. Два часа мы ехали по холмистой, переливающейся красками дороге. Мы больше не говорили. После того подъема чувств все слова казались нам ничтожными. Но каждый раз, когда мой взгляд встречался с его взглядом, он с такой светлой радостью, с такой пылкой благодарностью смотрел на меня, что я смущенно отводила взгляд.

Было пять часов, когда мы вернулись в Монте-Карло. Здесь я должна была зайти к моим родственникам, и от этого визита нельзя было уклониться. К тому же мне было даже необходимо побыть немного вдали от него. Счастья было слишком много. Мне нужно было отдохнуть от этого знойного, экстатического состояния, какого я никогда в жизни не испытывала. Поэтому я только на минуту попросила моего питомца зайти ко мне в отель и передала ему деньги на дорогу и на выкуп драгоценностей. Мы условились, что, пока я буду у родственников, он купит себе билет. Вечером, в семь часов, мы встретимся у входа на вокзал и побудем с полчаса вместе, пока генуэзский поезд не увезет его домой. Когда я протянула пять банкнот, его пальцы как-то замешкались и губы страшно побледнели. «Нет, не надо денег... прошу вас... не надо денег, – тихо, с трудом проговорил он сквозь зубы, беспомощно отдергивая дрожащие пальцы. – Не надо денег... не надо денег... Я не могу их видеть», – повторил он, словно охваченный невольным отвращением или страхом. Но я успокаивала его, сказав, что я ведь только даю ему в долг и что, если это стесняет его, он может дать мне расписку. «Да... да... расписку...» – пробормотал он, отворачивая взгляд. Он скомкал ассигнации, поспешно сунул в карман, не посмотрев даже на них, словно они прилипали к пальцам или обжигали руку, и размашистым, торопливым почерком набросал несколько слов на клочке бумаги. Когда он поднял голову, он был совсем бледен. Казалось, что-то душило его, что-то поднималось в нем, и, едва он протянул мне листок, какой-то порыв мощно охватил его всего, и вдруг – я невольно отшатнулась – он упал на колени и поцеловал край моего платья. Непередаваемо было это движение: я дрожала всем телом от невероятной силы этого смирения. Я с трудом овладела собой и помогла ему встать. Мне было страшно. В смятении я могла только прошептать: «Я очень признательна вам за то, что вы так благодарны. Но теперь, прошу вас, уйдите. Вечером в семь часов мы простимся на вокзале».

Он взглянул на меня. Его глаза светились растроганно, губы дрожали. Одно мгновение я подумала, что он хочет что-то сказать, одно мгновение казалось, что его словно тянет ко мне, но вдруг он еще раз низко-низко поклонился и вышел из комнаты.

Снова миссис К. прервала свой рассказ. Она встала и подошла к окну и долго, неподвижно смотрела в него. По темному очертанию ее спины я видел, что всю ее сотрясает мелкая дрожь. Потом она решительно повернулась. Словно разрывая что-то, она с силой развела руки,

остававшиеся до тех пор спокойными и безучастными. Потом она твердо, почти вызывающе посмотрела на меня и порывисто продолжала:

– Я обещала вам быть до конца откровенной. И теперь вижу, как необходимо для меня самой было это обещание. Ибо только теперь, когда я заставляю себя рассказывать в последовательном порядке о событиях этого дня и подыскивать слова для выражения чувств, которые были тогда совершенно спутанными и смутными, только теперь я вижу ясно многое такое, чего тогда не знала. Но я хочу сурово и решительно сказать правду и самой себе, и вам. В ту минуту, когда этот юноша вышел за дверь и я осталась одна, мне показалось, в опустевшей комнате сразу стало темно. Что-то смутное угнетало меня, что-то причиняло мне боль. До сегодняшнего дня я не сознавала или не хотела понять это чувство. Но сегодня, когда я заставляю себя беспощадно и ясно представить себе все, что было, и не могу перед вами ничего утаивать, не могу трусливо замалчивать посрамленного чувства, сегодня для меня ясно: эту боль мне причиняло разочарование... разочарование, что этот юноша ушел от меня так... не попытавшись удержать меня... остаться у меня... что он так почтительно и покорно подчинился моей первой просьбе уехать... вместо того чтобы привлечь меня к себе... что он благоговел передо мной, как перед святой, которая предстала ему на пути... и не чувствовал во мне женщины.

Это было разочарование для меня... разочарование, в котором я ни тогда, ни позже не сознавалась себе, но чувство женщины знает все, знает без слов и без сознания. В ту секунду, когда закрылась дверь, я почувствовала словно гнев, словно озлобление, и это чувство было тем болезненнее, чем с большей страстностью я рвалась к нему, потому что... теперь я это знаю, если бы этот молодой человек обнял меня тогда, если бы он приказал мне, я пошла бы за ним на край света, я втоптала бы в грязь мое имя, имя моих детей... я с таким же равнодушием к людской молве и голосу рассудка ушла бы с ним, как мадам Анриет с тем молодым французом, которого она накануне еще не знала... Яне стала бы спрашивать, куда и надолго ли, я не стала бы оглядываться на свою жизнь... я отдала бы этому человеку мои деньги, мое имя, мою честь, мои силы, я пошла бы просить милостыню, и нет на свете такой низости, к которой он не мог бы меня склонить. Все, что люди называют стыдом и осторожностью, я отбросила бы прочь, если бы он хоть одним шагом, одним словом приблизился ко мне, если бы он попытался привлечь меня к себе, удержать меня: я потеряла голову в это мгновение.

Но... я уже сказала вам... этот странный человек не видел больше ни меня, ни женщину, которая была во мне... и то, как я предалась ему, каким огнем он меня зажег, я почувствовала только тогда, когда осталась одна, когда та страсть, что еще недавно возвеличивала его просветленное, его ангельское лицо, мраком упала мне на душу и бушевала в пустоте осиротелой груди. С трудом я овладела собой: ведь мне предстояло еще выдержать этот томительный визит. На меня словно надели тяжелый железный шлем, и я шаталась под его тяжестью. Мои мысли не слушались меня, как и мои ноги, когда я устало шла в другой отель к моим родственникам. Там я тупо сидела среди нудной болтовни и всякий раз пугалась, когда, подняв глаза, видела эти неподвижные лица, которые в сравнении с тем оживлявшимся игрою света и тени лицом казались жалкими, замороженными масками. Я сидела словно среди мертвецов, до того жутко, безжизненно было их присутствие, и, в то время как я бросала в чашку сахар и рассеянно беседовала, во мне все время бушевала, клокотала кровь, мерещилось то, другое лицо, видеть которое было для меня огромной радостью и которое я – страшно подумать – должна была через два часа увидеть в последний раз. Вероятно, я тихо вздохнула или застонала, потому что вдруг ко мне наклонилась кузина моего мужа и озабоченным шепотом спросила, что со мной, не нездоровится ли мне, отчего у меня такое бледное, утомленное лицо. Этот неожиданный вопрос представил удобный повод тут же ответить, что мне действительно не по себе и что я прошу у нее разрешения незаметно уйти.

Так счастливо предоставленная самой себе, я тотчас же поспешила к себе в отель. И едва я очутилась там одна, как снова меня охватило это чувство пустоты, покинутости и вместе с

ним страстное влечение к этому юноше, с которым я сегодня должна была расстаться навсегда. Я металась по комнате, без нужды открывала ящики, переделалась и вдруг очутилась перед зеркалом, смотрясь в него и думая, что, может быть, такой вот нарядной мне еще удастся удержать его. И вдруг я поняла: я не хочу его отпускать. И в один бурный миг это желание стало решением. Я побежала к портье, сказала ему, что уезжаю сегодня с вечерним поездом. Надо было торопиться: я позвонила горничной, чтобы она помогла мне уложить вещи, – времени оставалось мало, – и пока мы с нею, словно наперегонки, запихивали в чемоданы платья и разные мелочи, я представляла себе, как все произойдет: как я пойду с ним к поезду, и в последнее, самое последнее мгновение, когда он протянет мне руку, чтобы проститься, войду к нему, удивленному, в купе, и буду с ним эту ночь, и следующую, буду с ним столько, сколько он хочет. Каким-то восхищенным, окрыленным возбуждением зажглась во мне кровь; иногда я громко смеялась, видя недоумение горничной, дивившейся тому, как я швыряю платья в чемоданы. Я почувствовала, что мысли у меня путаются, и когда слуга пришел за чемоданами, я удивленно взглянула на него: слишком трудно было думать обо всем сразу при этом обуревавшем меня волнении.

Надо было спешить, уже пробило семь часов, у меня оставалось в лучшем случае только двадцать минут до отхода поезда, хотя – утешала я себя – теперь прощание уже не важно, ибо никакого прощания не будет и я уеду с ним, я останусь с ним, пока он этого захочет. Слуга вынес вещи, а я пошла расплатиться в кассу отеля. Уже управляющий протягивал мне сдачу, уже я хотела идти дальше, как вдруг кто-то тихонько тронул меня за плечо. Я вздрогнула. Это была моя кузина. Обеспокоенная моим недомоганием, она пришла навестить меня. У меня потемнело в глазах. Я не могла с ней оставаться. Каждая секунда промедления могла оказаться роковой. Но делать было нечего, я должна была с ней хоть немного поговорить. «Ты должна лечь, – настаивала она, – у тебя, несомненно, лихорадка». Так, наверно, и было, в висках у меня стучало, а на глаза набегали синие тени обморока. Но я боролась с собой, старалась успокоить ее, быть вежливой, хотя каждое слово жгло меня, хотя эту неуместную заботу я охотнее всего отпихнула бы ногой. Но непрощеная гостья стояла, предлагала мне одеколон, не поленилась сама натереть мне виски. А я считала минуты, думала о нем и искала предлога освободиться от этого мучительного участия. И чем беспокойнее я становилась, тем это казалось ей подозрительнее. Она чуть ли не силой хотела отвести меня в мою комнату и уложить в постель. Но вдруг, пока она меня уговаривала, я увидела посреди зала часы: двадцать восемь минут восьмого, а поезд уходил в 7 часов 35 минут. Резко, стремительно, с грубым равнодушием отчаяния, протянула я кузине руку: «Прощай, мне надо ехать», – и, не обращая внимания на ее остолбеневший взгляд, не оглядываясь, я поспешила к двери мимо удивленных лакеев, выбежала на улицу и бросилась к вокзалу. По взволнованным жестам слуги, который ждал меня с багажом, я издали поняла, что я успела в последнюю минуту. Бешено устремилась я к проходу, но тут меня остановил контролер: я забыла купить билет. И пока я отчаянно уговаривала пропустить меня на перрон, поезд уже тронулся. Дрожа всем телом, я устремила вперед неподвижный взгляд, надеясь поймать в окне вагона хотя бы взгляд, поклон, привет, но в мелькании вагонов я не могла уже различить его лица. Вагоны ускоряли свой бег, и через минуту перед моими потемневшими глазами не осталось ничего, кроме облака черного дыма. По-видимому, я стояла, словно окаменев. Не знаю, сколько времени, потому что слуга несколько раз пытался заговорить со мной, пока наконец не отважился тронуть меня за руку. Только тогда я очнулась. Он спросил меня, надо ли отвезти обратно в отель мой багаж. Прошло несколько минут, пока я сообразила. Нет, это было невозможно, я не могла больше вернуться туда после моего сумбурного, смешного бегства, да я и не хотела туда возвращаться. Я велела ему сдать багаж на хранение. Мне хотелось поскорее остаться одной. И только тогда, среди безостановочно кипевшей толпы, которая шумно наполняла вокзал и снова редела, я попыталась из нестерпимого, мучительного удушья гнева, отчаяния и тоски, потому что – к чему скрывать – мысль о том, что я

по своей вине упустила последнюю встречу, безжалостно, словно раскаленным железом, жгла меня. Мне хотелось кричать, с такой болью в меня вонзалось, все немилосерднее, это раскаленное докрасна острие. Быть может, только совершенно бесстрастные люди в неповторимые минуты могут испытать такую страсть: прожитые годы, нетронутые силы с тяжелым грохотом обрушиваются на грудь. Никогда, ни до того, ни после, я не переживала ничего похожего на то мгновение, когда я, готовая на безумный поступок, готовая разом отречься от всей своей замкнутой, размеренной, сдержанной жизни, вдруг очутилась перед стеной нелепости, о которую бессильно разбилась моя страсть. То, что я делала, не могло не быть таким же нелепым. Это было безрассудно, даже глупо. Мне почти стыдно вам об этом рассказывать, но я обещала себе, обещала вам ни о чем не умалчивать. Так вот, я... я начала снова искать его... то есть я старалась вернуть мгновения, проведенные вместе. Меня неудержимо тянуло к тем местам, где мы были накануне, к садовой скамейке, от которой я оторвала его, к игорному залу, где я его впервые увидела, даже в ту трущобу, только бы еще раз, еще раз пережить прошедшее. А завтра поехать в экипаже вдоль берега, той же дорогой, чтобы восстановить каждое его слово, каждое движение; да, мое смятение было таким нелепым, таким ребяческим, что теперь, спустя двадцать лет, холодно оглядываясь назад, я сама его не понимаю. Но мне нужен был этот самообман, ибо я не могла оставаться одна в моей беспомощности, в моем неистовом отчаянии. Человек или поймет это, или не поймет вовсе. Быть может, нужно пламенное сердце, чтобы постичь это.

И вот я пошла в игорный зал искать тот стол, за которым он играл, и там, среди всех этих рук, вспоминать его руки. Я вошла. Я помнила, он сидел за левым столом во второй комнате. Я помнила еще каждое его движение. Я нашла бы его место, идя во сне с закрытыми глазами и протянутыми вперед руками. Итак, я вошла и пересекла зал. И тут... когда я у двери посмотрела на этих людей... со мной случилось что-то странное... там сидел он... он сам... он... он... такой же, каким я его сейчас видела, закрыв глаза... такой же, как вчера... застывший, устремивший глаза на шарик, нечеловечески бледный... Но это был он... несомненно он...

Я чуть не вскрикнула от испуга. Но я подавила свой страх перед этим бессмысленным видением и закрыла глаза. «Ты безумна... ты грезишь... у тебя лихорадка, – говорила я себе. – Это невозможно, у тебя галлюцинации... Уже полчаса как он уехал». Тогда я снова открыла глаза. Но, такой же, каким я видела его в первый раз, он сидел там... живой... несомненно он... Среди миллионов рук узнала бы я его руки... Я не грезила, это был действительно он. Он не уехал, как поклялся мне, он сидел здесь. Эти деньги, что я дала ему на дорогу, он принес сюда, к зеленому столу и, весь отдавшись своей страсти, играл, в то время как я с таким отчаянием рвалась к нему.

Что-то толкнуло меня вперед. Это была ярость, безумное, яростное желание задушить клятвopреступника, который так позорно предал мою веру, мое чувство, то, чем я пожертвовала для него. Но я пересилила себя. Тихо, совсем тихо я подошла к столу и стала как раз напротив него. Кто-то вежливо уступил мне место. Только два метра зеленого сукна разделяли нас, и я, словно из ложи театра, могла глядеть на его лицо, то самое лицо, которое два часа назад светилось благодатью, а теперь снова судорожно гибло в адском пламени страсти. Руки, те самые руки, которые еще днем неподвижно лежали во время святой клятвы на церковной скамье, теперь неистово сжимались и жадно, как вампиры, тянулись к золоту. Он выиграл, должно быть, очень много выиграл. Перед ним в беспорядке лежал большой ворох фишек, луидоров и ассигнаций, и его пальцы, дрожащие, нервные пальцы, с наслаждением окунались в них. Я видела, как они гладили и складывали отдельные банкноты, ласкали и катали золотые монеты, потом вдруг схватывали целую горсть их и бросали на какую-нибудь клетку; каждый окрик крупье отрывал от денег его жадно горевшие глаза и устремлял их к дробно стучавшему шариком, туловище наклонялось вперед, и только локти были словно гвоздями прибиты к зеленому столу. Еще страшнее, еще ужаснее, чем в прошлый вечер, казался этот одержимый, ибо

каждое его движение убивало во мне его прежний, словно на золотом поле сияющий образ, который я так легковерно носила в сердце.

На расстоянии двух метров друг от друга мы тяжело дышали оба. Я пристально смотрела на него, но он не замечал меня. Он не видел меня, он никого не видел, его взгляд скользил только по деньгам и загорался, когда шарик снова начинал вертеться. В этом гибельном зеленом поле были заключены и метались взад и вперед все его мысли, весь мир, все человечество собралось для него здесь, на этом сукольном четырехугольнике. И я знала, что могу часами здесь стоять, а он и не почувствует моего присутствия.

Но я не могла терпеть больше. Внезапно решившись, я обошла стол, подошла к нему сзади и крепко впила рукой ему в плечо. Он вяло поднял глаза, тупо посмотрел на меня стеклянными зрачками, как глядит пьяный, которого разбудили и чей взгляд еще мутен от окутавшего его тумана. Потом он будто узнал меня, его губы раскрылись, дрожа, он взглянул радостно и тихо прошептал, взволнованно и таинственно: «Идет хорошо... я так и знал, как только вошел сюда и увидел, что он тут... Я так и знал...»

Я не понимала. Я видела только, что он опьянен игрой, что этот безумец забыл обо всем, забыл свою клятву, забыл наш уговор, забыл меня и весь мир. Но даже и теперь, в этой одержимости, его экстаз так захватил меня, что я невольно не прерывала его и недоуменно спросила, о ком он говорит.

«Вон там, старый русский генерал, однорукий, – шептал он, вплотную придвигаясь ко мне, словно поверял какую-то волшебную тайну. – Там, с седыми бакенбардами... Позади него стоит слуга. Он всегда выигрывает, я это еще вчера заметил. У него, должно быть, какая-то система, и я ставлю на те же цифры, что и он... Он и вчера все время выигрывал... Вчера он выиграл тысяч двадцать... и сегодня выигрывает на каждой ставке... теперь я все время ставлю как он... Теперь...»

Вдруг он замолчал, так как раздался резкий возглас крупье: «Faites votre jeu!»¹⁶, и взгляд его скользнул прочь от меня. Он отвернулся и начал жадно смотреть туда, где важно и спокойно сидел седой русский, который задумчиво положил на четвертое поле золотую монету, а затем, нерешительно, еще одну. Тотчас лихорадочно сжались его пальцы и кинули горсть монет на то же самое место. Когда, через минуту, крупье провозгласил: «Ноль!» и лопатка мигом очистила весь стол, он остолбенело посмотрел вслед исчезавшим деньгам. Но он даже и не подумал обернуться ко мне, он забыл обо мне, я выпала, исчезла из его жизни, его внимание было приковано только к русскому генералу, который невозмутимо покачивал на ладони две золотые монеты, раздумывая, куда их поставить.

Я не могу передать вам мою горечь, мое отчаяние. Но поймите меня: я пожертвовала для этого человека всей моей жизнью, и он обошелся со мною как с какой-то назойливой мошкой, от которой небрежно отмахиваются рукой. Гнев охватил меня. Яростно, что было силы, я впила ему в руку, так что он вздрогнул.

«Вы сейчас же встанете, – сказала я ему тихо, но повелительно. – вспомните о той клятве, которую вы дали мне сегодня в церкви, клятвопреступник, жалкий человек!»

Он взглянул на меня и побледнел. В его глазах появилось жалкое выражение побитой собаки, его губы дрожали. Он как будто сразу вспомнил все случившееся, и словно ужас охватил его.

«Да... да... – пролепетал он, – Боже мой... Боже мой... я иду... простите...»

И его рука уже загребала деньги, сначала быстро, порывистым, неистовым движением, потом медленнее, слабее, замирая. Его взгляд снова упал на русского генерала, который как раз делал ставку.

¹⁶ Делайте ставку! (фр.)

«Еще одну минуту. – Он быстро бросил пять золотых монет на то же поле, что и генерал. – Только одну эту игру. Клянусь вам... я тотчас же уйду... только эту игру... только...»

И снова оборвался его голос. Шарик завертелся и увлек его за собой. Снова этот безумный ускользнул от меня, ускользнул от самого себя и низвергся в этот полированный лоток, где метался и подскакивал маленький шарик. Снова прокричал крупье, снова загребла лопатка его пять золотых монет. Он проиграл.

Он не обернулся. Он забыл обо мне. Забыл о клятве, забыл о слове, которое дал мне за минуту до того. Снова судорожно потянулась его рука к убывавшей стопке денег, а пьяный взгляд был прикован к магниту его воли, к сидевшему напротив чародею.

Мое терпение истощилось. Я снова схватила его, теперь уже с бешеной силой: «Вы сейчас же встанете. Сейчас же. Вы сказали, что только одну эту игру...»

Но тут случилось нечто неожиданное. Он быстро обернулся. Но теперь это уже не было лицо смущенного, униженного человека, это было искаженное бешенством лицо, с дрожащими от ярости губами и горящими глазами. «Оставьте меня в покое, – прошипел он. – Уйдите. Вы приносите мне несчастье. Каждый раз, когда вы здесь, я проигрываю. Вчера так было и сегодня тоже. Уйдите».

Я было растерялась. Но его безумие развязало и мой гнев.

«Я приношу вам несчастье?! – закричала я. – Вы лгун, вы вор! Вы поклялись мне...»

Но я не могла продолжать, потому что одержимый вскочил и оттолкнул меня, не слыша поднявшегося вокруг нас шума.

«Оставьте меня в покое! – закричал он во весь голос. – Яне на вашем попечении... вот... вот... ваши деньги. – И он бросил мне несколько стофранковых билетов. – А теперь оставьте меня в покое».

Он прокричал это громко, как сумасшедший, не обращая внимания на сотни стоявших кругом людей. Все они смотрели, шушукались, указывали на нас, смеялись, и даже из соседнего зала входили любопытные. Меня словно раздели, и я, обнаженная, стояла перед этой толпой.

«Тише, сударыня, прошу вас», – громко и властно сказал крупье и постучал лопаточкой по столу. И голосу этого ничтожного человека я повиновалась. Униженная, стгорая от стыда, стояла я перед этой шепчущейся толпой любопытных, стояла, как девка, которой швырнули деньги. Двести, триста наглых глаз смотрели мне прямо в лицо, и, когда я, согнувшись, стгорбившись от унижения и стыда, посмотрела в сторону, я увидела чьи-то застывшие от изумления глаза. Это была моя кузина. Почти лишаясь чувств, с широко раскрытым ртом, она смотрела на меня, подняв, словно от ужаса, руку. Это меня сразило. Не успела она пошевелиться, не успела опомниться от неожиданности, как я ринулась вон из зала. Я успела добежать до скамейки, на которую вчера свалился этот безумец. И так же бессильно, так же устало, так же разбито упала я на твердое, безжалостное дерево.

С тех пор прошло уже двадцать четыре года, и все же, когда я теперь вспоминаю, как я, отхлестанная его оскорблением, стояла перед тысячью чужих людей, кровь стынет у меня в жилах, и я с ужасом думаю, до чего же слабо, жалко и дрябло все то, что мы громко называем душой, духом, чувством, что мы называем страданием, если даже при высшем своем напряжении они бессильны разорвать на части измученную плоть, истерзанное тело, если можно, в полном здравии, с продолжающим биться сердцем, пережить такие минуты и не умереть, не упасть, как падает сраженное молнией дерево. Только на один миг эта боль победила меня, когда я, не дыша, ничего не сознавая, с каким-то сладостным чувством близящейся смерти, упала на скамью. Но – я уже сказала – всякое страдание трусливо; оно отшатывается перед властной потребностью жить, которая в нашем теле, в нашей крови сильнее, чем у наших нервов и нашей воли. Я снова встала, не зная, что делать. Вдруг я вспомнила, что мои чемоданы готовы, и тотчас же меня пронизала мысль: прочь, прочь отсюда, прочь из этого проклятого притона. Ни на кого не обращая внимания, я побежала к вокзалу, спросила, когда идет поезд

в Париж. «В 10 часов», – ответил мне портье, и я тотчас же сдала багаж. 10 часов... В 10 часов будут как раз сутки после той ужасной встречи, сутки, до того насыщенные неистовством противоречивейших чувств, что мой внутренний мир был навсегда уже опустошен. Но теперь я ничего уже не чувствовала, ничего не слышала, кроме одного слова, которое стучало, словно молоток: прочь, прочь, прочь. Кровь, словно клин, забивала мне в виски: прочь, прочь, прочь. Прочь от этого города, от меня самой! Домой, к моим близким, назад, к моему прошлому, к моей собственной жизни!

Утром я приехала в Париж, там – сразу же на другой вокзал, прямо в Булонь, из Булони – в Дувр, из Дувра – в Лондон, из Лондона – к моему сыну, все это безостановочно, стремительно, ни о чем не размышляя, не думая, двое суток без сна, не промолвив ни слова, не взяв в рот куска, двое суток, слыша, как колеса выстукивают только одно слово: прочь, прочь, прочь, прочь!

Когда я наконец неожиданно показалась в доме моего сына, все ужаснулись. Должно быть, что-то произошло. Должно быть, что-то в моем лице, в моем взгляде выдало меня. Мой сын хотел обнять меня, поцеловать. Я отшатнулась. Я не могла перенести мысли, что он прикоснется к губам, которые опозорили его. Я уклонилась от всяких расспросов, сказала только, чтобы мне приготовили ванну, потому что чувствовала необходимость смыть с себя дорожную грязь и то, что еще словно жгло мое тело после страсти этого одержимого, этого недостойного человека. Потом я добралась до своей комнаты и двенадцать, четырнадцать часов спала тяжелым, каменным сном, каким не спала никогда, ни до того, ни впоследствии, сном, после которого я знаю, что значит лежать в гробу и быть мертвым. Мои близкие ухаживали за мной, как за больной, но их заботливость причиняла мне только боль, мне было стыдно их почтительности, их уважения. Я должна была вечно остерегаться, чтобы вдруг не закричать, не признаться, как я всех их предала, забыла, покинула ради какой-то безумной, сумасбродной страсти.

Затем я без всякой цели переехала в маленький французский городок, где никого не знала, потому что меня вечно преследовал страх, что каждый с первого взгляда узнает о моем позоре, о том, кем я стала; я чувствовала, что я навсегда предана, осквернена до самой глубины души. Часто, просыпаясь утром, я безумно боялась открыть глаза. Снова мной овладевало воспоминание о той ночи, когда я вдруг проснулась рядом с чужим, полураздетым человеком, и каждый раз, как в ту ночь, мне хотелось только одного – сейчас же умереть.

Но в конце концов время обладает великой силой, а старость поразительно обесценивает все чувства. Чувствуешь, что подходит смерть, что черная тень ее ложится на дороге, все начинает казаться не таким ярким, не так уже действует на нас и теряет большую часть своей опасной силы. Мало-помалу я излечилась от этого потрясения, и когда я, десять лет тому назад, встретив в одном обществе некоего молодого поляка, атташе австрийского посольства, спросила его о той семье, и он мне рассказал, что десять лет тому назад сын этого его родственника застрелился в Монте-Карло, – я даже не вздрогнула. Мне даже почти не было больно. Быть может, – к чему отрицать собственный эгоизм? – я даже почувствовала какое-то облегчение, ибо исчез последний страх, что я когда-нибудь его встречу.

Я стала спокойнее, могла спокойнее думать и беззаботнее вспоминать. Состариться – это не что иное, как перестать бояться прошлого.

И теперь вы поймете, как я вдруг пришла к мысли рассказать вам о своей судьбе. Когда вы взяли под свою защиту мадам Анриет и горячо сказали, что сутки могут до конца определить судьбу женщины, мне показалось, словно речь идет обо мне. Я была вам благодарна потому, что впервые почувствовала себя как бы оправданной и прощенной. И тогда я подумала: если я хоть раз открою свою душу, может быть, это умрет навсегда; может быть, завтра я смогу спокойно пойти туда, спокойно войти в этот зал, где я с ним сидела; может быть, я наконец освобожусь от ненависти к самой себе. И тогда камень свалится с души, всей своей тяжестью

ляжет на прошлом, и оно никогда уже не воскреснет. Мне хорошо, что я рассказала вам это, мне теперь легче и почти радостно... Я благодарна вам за это...

С этими словами она встала. Я понял, что она кончила. Смущенно я искал каких-то слов. Должно быть, она почувствовала мое замешательство и быстро предупредила меня:

– Нет, прошу вас, ничего не говорите... Мне бы не хотелось, чтобы вы что-нибудь говорили или отвечали... Примите благодарность за то, что вы меня выслушали, и желаю вам счастливого пути.

Она протянула мне руку на прощание. Невольно я посмотрел ей в лицо, и было странно видеть эту старую женщину, которая, приветливо и в то же время немного стыдясь, стояла передо мной. Был ли это отсвет минувшей страсти, или смущение залило беспокойным румянцем ее лицо вплоть до седых волос, но она казалась молодой девушкой, смущенной воспоминаниями и стыдящейся своего признания.

Я был взволнован, мне хотелось найти слова, чтобы выразить ей свое уважение. Но горло судорожно сжалось. Я низко склонился и почтительно поцеловал ее поблекшую, слегка дрожащую, как осенняя листва, руку.

Летняя новелла

Август прошлого лета я провел в Каденаббии, одном из маленьких местечек на берегу озера Комо, которые так очаровательно скрываются между белыми виллами и темным лесом. Тихий даже в более оживленные весенние дни, когда на узком пляже толпятся туристы из Белладжио и Менаджио, в эти теплые недели городок представлял благоухающую пустыню, залитую солнцем. Гостиница была почти необитаема: несколько случайных гостей, возбуждавших друг в друге взаимное недоумение выбором такого глухого местечка для летнего отдыха, каждое утро сами удивлялись своей стойкости. Больше всего изумляла меня стойкость одного пожилого господина, очень представительной и элегантной наружности, который по внешнему виду представлял собою нечто среднее между корректным английским парламентарием и парижским фланером. Он не предавался ни одному из видов водного спорта и проводил целые дни, задумчиво следя за дымом своей папиросы или перелистывая книгу. Тягостное одиночество двух дождливых дней и его приветливость быстро сообщили нашему знакомству сердечность, которая почти совершенно стерла разницу в возрасте. Лифляндец по рождению, получивший воспитание во Франции, а затем в Англии, без профессии, без постоянного места жительства, он был человеком, лишенным родины, в благородном смысле этого слова, и принадлежал к числу викингов, пиратов красоты, которые разбойничьими налетами присваивают себе драгоценности всех городов. Как дилетант, он стоял близко ко всем искусствам, но сильнее любви к ним было аристократическое презрение, которое он проявлял в служении им: он был обязан им лучшими часами своей жизни, но не посвятил им ни одного часа творческих мук. Его жизнь была одной из тех, которые кажутся лишними, потому что не скованы цепями общественности: все их богатство, накопленное тысячами драгоценных переживаний, исчезает, не оставляя следа, с их последним вздохом.

Об этом я говорил ему однажды, когда мы сидели после обеда перед гостиницей и смотрели, как светлое озеро медленно покрывается тенью. Он улыбнулся:

– Может быть, вы и правы. Я не верю в воспоминания; пережитое умирает в то мгновение, когда оно покидает нас. А поэзия? Разве ее сокровища не погибают через двадцать, пятьдесят, сто лет? Но я расскажу вам нечто, что могло бы послужить прекрасным сюжетом для новеллы. Пройдемся! О таких вещах легче говорить на ходу.

Мы направились к пляжу по чудесной дороге, затененной вечными кипарисами и густыми каштанами, сквозь ветви которых беспокойно блесло озеро. На другом берегу, подобно белому облаку, лежало Белладжио, мягко озаренное быстро меняющимися красками закатного солнца, и высоко-высоко над темным холмом пылала в алмазах лучей каменная корона виллы Сербеллони. Воздух был слегка душный, но не тяжелый; как нежная рука женщины, он мягко спускался на тени и наполнял дыхание запахом невидимых цветов. Он начал:

– Прежде всего – одно признание. До сих пор я не говорил вам, что я уже был здесь, в Каденаббии, в прошлом году, в это же время года и в той же гостинице. Это должно вас удивить, тем более что, как я уже говорил вам, я избегаю в своей жизни всяких повторений. Но слушайте! Здесь было, конечно, так же пустынно, как и сейчас. Был тот же господин из Милана; он целый день ловил рыбу, чтобы вечером выпустить ее и снова поймать на следующее утро. Были две старые англичанки, тихое, растительное существование которых было малозаметно. Затем – красивый молодой человек с миленькой бледной девушкой; я до сих пор думаю, что она не была его женой: они казались слишком влюбленными друг в друга. И наконец, одна немецкая, северонемецкая семья самого строгого типа. Пожилая сухопарая белокурая дама, с угловатыми, некрасивыми движениями, с колючими стальными глазами и словно ножом вырезанным сварливым ртом. С ней была сестра – несомненно, сестра – с теми же чертами, только более расплывчатыми, смягченными. Всегда они были вместе, но никогда не разговаривали

между собой: сидели, молча склонившись над вышиванием, в которое, казалось, вплетали всю свою бездумность, – неумолимые парки мира скуки и ограниченности. И между ними молодая, шестнадцатилетняя девушка, дочь одной из них, не знаю, которой, так как резкость ее незаконченных линий уже уступала легкой женственной округленности. Она была, в сущности, некрасива – слишком тонка, незрела и, конечно, безвкусно одета, но было что-то трогательное в ее беспомощном томлении. Ее большие глаза сияли темным блеском, но все время смущенно убегали, раздробляя его в мигающих вспысках. Она тоже приходила всегда с работой, но руки ее часто замедлялись, пальцы засыпали, и она тихо сидела, устремив мечтательный, неподвижный взор на другой берег озера. Я не знаю, почему меня так трогало это зрелище. Может быть, это была банальная и все же неизбежная мысль, на которую наводит вид увядшей матери рядом с цветущей дочерью, – вид тени за живым человеком; мысль, что в каждой черте уже кроется морщина, в каждой улыбке – усталость, в каждой мечте – разочарование? Или это было бурное, только что вспыхнувшее, бесцельное томление, неповторимая, чудесная минута в жизни девушки, когда она жадно простирает взор ко всему, потому что не владеет еще тем одним, к чему она впоследствии прилепится, будет цепляться в ленивом гниении, как водоросль к плавучему лесу? Мне казалось чрезвычайно заманчивым наблюдать за ней – за ее мечтательным, влажным взором, за бурными ласками, которые она расточала каждой собаке, каждой кошке, за беспокойством, с которым она все начинала и ничего не доводила до конца. И потом – эта пылкая поспешность, с которой она по вечерам глотала несколько жалких книжонок из библиотеки отеля или перелистывала два привезенных с собою зачитанных томика стихотворений Гете и Баумбаха... Но почему вы улыбаетесь?

Я должен был извиниться:

– Это странное сочетание – Гете и Баумбах.

– Ах, вот что! Конечно, это забавно. Но поверьте, молодым девушкам в этом возрасте все равно, что читать – хорошие или скверные стихи, подлинную или фальшивую поэзию. Стихи для них – только кубок, из которого они утоляют жажду, они не обращают внимания на вино; хмель бродит в них и без вина. Эта девушка была до краев полна томления; оно блесело в ее глазах, заставляло дрожать кончики ее пальцев за столом и придавало ее походке неловкость и в то же время окрыленность – нечто среднее между полетом и страхом. Видно было, что она жаждала поговорить с кем-нибудь, отдать что-нибудь от своего избытка, но никого не было вокруг: только шелест иголок справа и слева и холодные, осторожные взгляды обеих дам. Бесконечное сострадание охватило меня. И все же я не мог приблизиться к ней. Во-первых, что может дать пожилой человек девушке в такую минуту? И потом, мое отвращение к семейным знакомствам и особенно к знакомству с пожилыми дамами убивало всякую возможность сближения. Тогда мне пришла в голову замечательная мысль. Я подумал: «Молодая девушка наивна, в первый раз попала в Италию, страну, которая, благодаря англичанину Шекспиру, никогда там не бывавшему, слывет краем романтической любви, пылких Ромео, тайных приключений, падающих вееров, сверкающих кинжалов, масок, дуэний и любовных писем. Она, конечно, мечтает о приключениях, и – кто не знает девичьих грез, этих белых, пролетающих облаков, которые бесцельно плывут по лазури и по вечерам разгораются сначала розовым, потом ярким алым светом! Для нее нет невероятного, невозможного». И я решил найти ей таинственного возлюбленного.

В тот же вечер я написал длинное письмо, нежное, скромное и почтительное, полное таинственных намеков, и без подписи – письмо, ничего не требующее, ничего не обещающее, страстное и в то же время сдержанное – словом, романтическое любовное письмо, точно взятое из поэмы. Зная, что, гонимая своим беспокойством, она каждый день первая является к завтраку, я вложил письмо в ее салфетку. Настало утро. Я наблюдал за ней – из сада, видел ее недоверчивое изумление, ее внезапный испуг и яркую краску, покрывшую бледные щеки и шею; видел ее беспомощные взгляды, ее вздрагивание, воровское движение, которым она

спрятала письмо; видел, как нервно она сидела за завтраком, почти не прикасаясь к еде, как убежала куда-то – наверное, в тихую, тенистую аллею расшифровывать таинственное послание... Вы хотите что-то сказать?

Я невольно сделал движение, которое должен был объяснить:

– Я нахожу это очень смелым. Разве вы не подумали, что она могла дознаться или что, проще всего, спросить кельнера, как письмо попало в салфетку? Или показать его матери?

– Конечно, я подумал об этом. Но если бы вы видели девушку, у вас не было бы на этот счет никаких сомнений. Это боязливое, запуганное милое создание со страхом оглядывалось всякий раз, как ей случалось повысить голос. Есть девушки, застенчивость которых так велика, что вы можете позволить себе что угодно: они совершенно беспомощны и готовы все перенести, лишь бы не доверить кому-нибудь свою тайну. Улыбаясь, я смотрел ей вслед и радовался, что моя игра удалась. Вот она возвращается, и я почувствовал, как кровь ударила мне в голову: это была другая девушка, другая походка. Она приближалась, беспокойная и рассеянная, алая волна разлилась по лицу, и сладостное смущение делало ее неловкой. И так целый день. Она бросала взор в каждое окно, как бы ища разгадку тайны; ее глаза встречали каждого проходящего, раз ее взгляд упал и на меня, но я осторожно отвернулся, чтобы не выдать себя; но в эту короткую секунду я почувствовал жгучий вопрос, который почти испугал меня; и впервые после многих лет я почувствовал, что нет наслаждения более опасного, заманчивого и гибельного, чем зажечь первую искру в глазах девушки. Я видел ее потом сидящей с вялыми пальцами между обеими дамами и видел, как время от времени она поспешно дотрагивалась до платья, до того места, где, я был уверен, она спрятала письмо. Игра показалась мне увлекательной. В тот же вечер я написал ей второе письмо, и так в течение нескольких дней: я нашел особую, волнующую прелесть в том, чтобы воплощать в своих письмах переживания влюбленного молодого человека, рисовать возрастающую страсть, которая была целиком выдумана. Это стало для меня заманчивым спортом, которому, вероятно, предаются охотники, когда они расставляют силки или заманивают дичь. И так неописуем, почти страшен был для меня мой собственный успех, что я уже хотел прервать начатую игру, но жгучий соблазн приковал меня к ней. Какая-то легкость, какая-то бурная пляска появилась в походке девушки; своеобразная, лихорадочная красота изменила ее черты; ее сон был, вероятно, полон тревоги и ожидания нового письма; ее глаза по утрам были объаты тенью и горели беспокойным огнем. Она стала следить за своей наружностью, носила в волосах цветы, какая-то нежность ко всем вещам появилась в ее пальцах; в ее взоре был постоянный вопрос: из тысячи мелочей, на которые я намекал в письмах, она должна была заключить, что их автор где-то близко, как Ариэль, наполняющий воздух музыкой, витающий вблизи, тайно следящий за каждым ее шагом и, по собственной воле, незримый. Она настолько оживилась, что эта перемена не ускользнула от тупых дам: по временам они устремляли благосклонно-любопытный взор на ее торопливые движения, на ее расцветшие щеки и улыбались, переглядываясь украдкой. Ее голос стал звучнее, громче, смелее, в нем появилось дрожание, как будто она собирается запеть, вот-вот польются радостные трели, как будто... Но вы опять улыбаетесь!

– Нет, нет, продолжайте. Я только подумал, что вы очень хорошо рассказываете. У вас – простите меня – настоящий талант, вы могли бы рассказать это, наверное, не хуже любого новеллиста.

– Этим вы, вероятно, хотите вежливо и осторожно намекнуть мне, что я рассказываю, как ваши немецкие новеллисты, с их напыщенной лирикой, растянутостью, сентиментальностью и скукой. Хорошо, я буду краток.

Марионетка плясала, и я обдуманно управлял нитями. Чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, – я иногда чувствовал, что ее испытующий взор был обращен на меня, – я дал ей повод думать, что пишущий живет не здесь, а в одном из близких курортов и каждый день переправляется сюда на лодке или на пароходе. И теперь, как только раздавался звонок при-

стающего парохода, она под каким-нибудь предлогом ускользала от бдительного материнского надзора, бежала к берегу и из какого-нибудь уголка, затаив дыхание, следила за приезжающими.

И вот, однажды – это было в пасмурный день, после обеда, когда я не мог придумать ничего лучшего, как наблюдать за ней, – случилось нечто из ряда вон выходящее. Среди пассажиров был красивый молодой человек, одетый с преувеличенной элегантностью итальянской молодежи. Оглядываясь вокруг, он поймал отчаянно-испытующий, вопрошающий, пронизывающий взор молодой девушки. И тут же краска стыда, заливая тихую улыбку, покрыла ее лицо. Молодой человек изумился, насторожился, – что понятно для всякого, кто встретит столь горячий взор, полный тысячи недосказанных вещей, – улыбнулся и попытался следовать за нею. Она убежала, остановилась в уверенности, что это был именно он, кого она так долго искала, побежала дальше, но опять оглянулась, – это была вечная игра между желанием и страхом, между желанием и стыдом, игра, в которой пленительная слабость всегда оказывается более сильной. Он, очевидно, обнадеженный, хотя изумленный, поспешил за ней и был уже совсем близко, – я со страхом предчувствовал, как все должно было запутаться в диком хаосе, – как вдруг на дороге показались обе дамы. Девушка бросилась им навстречу, как испуганная птичка. Молодой человек осторожно удалился, но она оглянулась, и еще раз встретились их взоры и лихорадочно впились друг в друга. Этот случай показал мне, что пора прекратить игру, но соблазн был слишком велик, и я решил использовать эту неожиданно подвернувшуюся ситуацию. Я написал ей в этот вечер необычайно длинное письмо, которое должно было подтвердить ее предположение. Меня увлекла теперь игра с двумя действующими лицами.

На другое утро меня испугало смятение, дрожавшее в ее чертах. Очаровательное беспокойство уступило место непонятной мне нервности; ее глаза были влажны и красны, как будто от слез; какое-то горе, по-видимому, охватило все ее существо. Казалось, обычная ее молчаливость вот-вот прорвется и выльется в диком крике; лоб ее был омрачен; во взорах можно было прочесть мрачное, горькое отчаяние, – а я ожидал, что именно на этот раз увижу ее ясной и радостной. Мне стало страшно. В первый раз в мою игру вторглось что-то чуждое: марионетка перестала слушаться и танцевала не так, как я хотел. Я взвешивал все возможности и не мог остановиться ни на одной. Я испугался своей игры и не возвращался домой до вечера, чтобы не прочесть укора в ее глазах. Когда я вернулся, все стало ясно: стол не был накрыт, семья уехала. Она должна была уехать, не сказав ему ни слова, и не могла поведать своим близким, как жаждало ее сердце еще хоть одного дня, хоть одного часа. Ее вырвали из сладостного сна и увезли в какой-то жалкий городишко. Я уже забыл куда. И теперь я еще чувствую, словно обвинение, этот последний взгляд, эту ужасную силу гнева, муки, отчаяния и горькой боли, которую я – кто знает, на сколько времени – бросил в ее жизнь.

Он умолк. Надвинулась ночь, и от луны, затуманенной тучами, исходил странный мерцающий свет. Меж деревьями как будто висели и искры, и звезды, и бледная поверхность озера. Мы шли молча. Наконец мой спутник прервал молчание.

– Вот и вся история. Разве она не годится для новеллы?

– Я не знаю. Во всяком случае, это – сюжет, который я сохранию вместе с другими и за который я вам должен быть признателен. Но как новелла?.. Хорошее вступление, которое, пожалуй, могло бы меня соблазнить. Эти фигуры только намечены, они не выявлены, это – намеки на судьбу, но не судьба. Все это надо развить до конца.

– Я понимаю вашу мысль. Жизнь молодой девушки, возвращение в маленький город, ужасный трагизм повседневности...

– Нет, не в этом суть. Молодая девушка меня больше не интересует. Молодые девушки всегда малоинтересны, какими бы замечательными они ни казались: все их переживания только отрицательны и поэтому слишком одинаковы. В данном случае девушка в свое время

выйдет замуж за честного бургера, и вся эта история останется цветущим лепестком в ее воспоминаниях. Девушка меня больше не интересует.

– Это странно. Я не могу понять, что вы находите интересного в молодом человеке. Такие взгляды, такие мимолетные вспышки бывают в молодости у всякого. Большинство их не замечает, другие забывают быстро. Нужно состариться, чтобы узнать, что это, может быть, самые благородные, самые глубокие впечатления, самое святое преимущество юности.

– Молодой человек меня не интересует...

– Кто же?

– Я бы занялся пожилым господином, который писал письма. Его я бы довел до конца. Я полагаю, что нет возраста, когда можно безнаказанно писать пламенные письма и размениваться на переживания любви. Я бы попробовал рассказать, как игра превращается в действительность, как он, думая, что он владеет игрой, сам оказывается в ее власти. Пробуждающаяся красота девушки, на которую он смотрит, как ему кажется, глазами наблюдателя, влечет и захватывает его глубоко. И тот миг, когда все ускользает от него, внушает ему бурное желание овладеть игрой и игрушкой. Меня заинтересовала бы эта ирония любви, когда страсть старого человека становится похожа на страсть мальчика: оба они чувствуют себя неполноценными. Я бы вложил в его переживания робость и ожидание. Я заставил бы его почувствовать беспокойство, последовать за ней, чтобы видеть ее, и в последнюю минуту не осмелиться приблизиться к ней. Я заставил бы его вернуться в то же самое место в надежде встретить ее, испытать случай, который всегда бывает жестоким... Вот по такой линии я мог бы представить себе развитие новеллы, и тогда она была бы...

– Лживой, фальшивой, невозможной!

Я испугался. Его голос стал резким, хриплым и дрожащим. Почти угрозой он прозвучал в ответ моим словам. Никогда я не видел своего спутника в таком возбуждении. Мгновенно я угадал, что неосторожной рукой задел больное место. И когда он вдруг остановился, я с мучительным чувством увидел, как светились его седые волосы.

Я хотел быстро перевести разговор на другую тему. Но он заговорил первым; уже тепло и мягко звучал его спокойный глубокий голос, с оттенком меланхолии:

– Может быть, вы и правы. Это много интереснее. *L'amour cobite cher aux vieillards*¹⁷.

Он протянул мне руку. Теперь его голос звучал опять размеренно и холодно.

– Спокойной ночи! Я вижу, что опасно рассказывать истории молодым людям в летнюю ночь. Это наводит на ненужные мысли и вредные сны. Спокойной ночи!

Он ушел в темноту своей эластичной, но отяжеленной годами походкой. Было уже поздно. Но усталость, обычно рано овладевавшая мною в теплоте этих мягких ночей, сегодня была рассеяна возбуждением, которое охватывает человека, когда с ним случается что-нибудь необычайное или когда чужое на миг становится его собственным. По тихой темной дороге я дошел до виллы Карлотта, мраморная лестница которой спускается к озеру, и сел на холодные ступени. Была чудесная ночь. Огни Белладжио, которые прежде сквозь листья деревьев блистали близко, как светлячки, казались теперь бесконечно далеко над водой и медленно утопали один за другим в тяжелом мраке. Молчаливо покоилось озеро, сияющее, как черный бриллиант, в оправе причудливых огней. И, словно бледные руки по белым клавишам, набегали и отступали, с легким всплеском, волны по каменным ступеням. Бесконечно высоким казался небесный свод, на котором искрились тысячи звезд. Они сверкали в спокойном молчании;

¹⁷ В старости любовь дается дорогой ценой (*фр.*) – так, кажется, назвал Бальзак один из самых трогательных своих рассказов, и много рассказов можно было бы написать под этим заглавием. Но пожилые люди, которые знают всю тайну этих переживаний, любят рассказывать лишь о своих успехах, умалчивая о своих неудачах. Они боятся стать смешными в вещах, которые в каком-то смысле служат маятником вечности. Вы верите, что действительно «потеряны» те главы в мемуарах Казановы, где он становится старым, из донжуана превращается в рога носца, из обманщика в обманутого? Может быть, просто рука его отяжелела и сердце сжалось? — *Примеч. авт.*

иногда только вырвется одна из них из алмазного хора и внезапно упадет в летнюю ночь, упадет во мглу, в долины, в ущелья, в горы или в далекие воды, брошенная слепой силой на землю, как жизнь в стремнины неведомой судьбы.

Страх

Спускаясь по лестнице от своего возлюбленного, фрау Ирена почувствовала вдруг опять тот же бессмысленный страх. Перед глазами зажужжал черный круг, похолодевшие колени мучительно свело, и она должна была ухватиться за перила, чтобы не упасть. Она уже не в первый раз отваживалась на опасное посещение; это чувство внезапного ужаса было ей знакомо; каждый раз, когда она возвращалась домой, ею овладевал, как она ни сопротивлялась, такой же вот безотчетный приступ бессмысленного и нелепого страха. Идти на свидание было, несомненно, легче. Она останавливала извозчика на углу, быстро, не поднимая головы, добегала до ворот, торопливо взбиралась по лестнице, и этот первый страх, в котором пылало также и нетерпение, растворялся в горячих приветственных объятиях. Но потом, когда нужно было уходить, в ней ознобом поднималась непонятная жуть, смутно смешанная с ужасным сознанием вины и безумной боязнью, что каждый прохожий на улице прочтет на ее лице, откуда она идет, и ответит на ее смущение наглой усмешкой. Последние минуты их близости были уже отравлены растущей тревогой этого предчувствия; ей хотелось уйти, руки дрожали от нервной спешки, она рассеянно прислушивалась к его словам и торопливо уклонялась от запоздалых проявлений его страсти; прочь, ей хотелось только прочь, из его квартиры, из его дома, из этой обстановки, назад, в спокойный буржуазный мир. Затем – последние, тщетно успокаивающие слова, которые она от волнения почти не слышала, и секунда ожидания за прикрытием двери, не идет ли кто вверх или вниз по лестнице. Но за дверью уже подстерегал страх, торопясь в нее вцепиться, и так властно останавливал ей сердце, что она всякий раз, еле дыша, преодолевала эти несколько ступеней.

Так она простояла минуту с закрытыми глазами и жадно вдыхала сумеречную прохладу лестницы. Вдруг где-то наверху хлопнула дверь; она испуганно встрепенулась и бросилась вниз, причем ее руки безотчетно натягивали еще плотнее густую вуаль. Теперь ей угрожал только последний, самый страшный миг: ужас выйти из чужих ворот на улицу. Она нагнула голову, словно собиралась прыгнуть с разбега, и с внезапной решимостью кинулась к полукрытым воротам. Там она столкнулась лицом к лицу с какой-то женщиной, которая, по-видимому, намеревалась как раз войти.

– Pardon¹⁸, – сказала она смущенно, стараясь пройти поскорее мимо.

Но женщина продолжала стоять в воротах и смотрела на нее злобно и в то же время с нескрываемой насмешкой.

– Наконец-то я вас поймала! – бесцеремонно крикнула она грубым голосом. – Ну, разумеется, приличная дама, так называемая! Ей мало одного мужа, и денег, и всего, ей надо еще отбивать у бедной девушки любимого человека...

– Ради Бога... что с вами?.. Вы ошиблись... – пролепетала фрау Ирена и сделала неловкую попытку пройти мимо, но женщина занимала всю дверь своей полной фигурой и кричала ей в лицо пронзительным голосом:

– Нет, я не ошиблась... я вас знаю... Вы идете от Эдуарда, моего друга... Наконец-то я вас поймала, теперь я понимаю, почему ему последнее время не до меня... Из-за вас, значит... Подлая!..

– Ради Бога, – прервала фрау Ирена угасшим голосом, – не кричите так, – и невольно отступила.

Женщина насмешливо посмотрела на нее. Этот трепетный испуг, эта явная беспомощность были ей, видимо, приятны, потому что теперь она разглядывала свою жертву с надмен-

¹⁸ Простите (*фр.*).

ной и иронически удовлетворенной улыбкой. Пошлое самодовольство делало ее голос звучным и почти веселым.

– Вот какой у них вид, у этих замужних дам, у благородных аристократок, когда они воруют мужчин. Под вуалью, разумеется, под вуалью, чтобы можно было потом разыгрывать повсюду приличную женщину...

– Что... что вам нужно от меня? Я ведь вас совсем не знаю... Я должна идти...

– Идти... да, конечно... к господину супругу... в теплую квартиру, притворяться благородной дамой, и чтобы раздевали горничные... А каково нам, когда мы умираем с голоду, этим благородные дамы не интересуются... У таких, как мы, эти приличные женщины крадут последнее...

Ирена собралась с силами и, следуя смутному наитию, открыла портмоне и схватила сколько попало в руку ассигнаций.

– Вот... вот, возьмите... но теперь пустите меня... Я никогда больше не приду... клянусь вам.

Женщина взяла деньги, бросив на нее злобный взгляд. При этом она пробормотала:

– Стерва...

Фрау Ирена вздрогнула от этого слова, но, видя, что та посторонилась, ринулась на улицу, без памяти, не дыша, как самоубийца, бросающийся с башни. Лица прохожих скользили ей навстречу, как кривые рожи, пока она бежала вперед, мучительно спеша, с уже померкшим взором, к стоявшему на углу автомобилю. Она опустилась на сиденье, как безжизненная масса, все в ней оцепенело и замерло, и когда шофер с удивлением спросил странного седока: «Куда же ехать?» – она взглянула на него, ничего не понимая, пока наконец помутившийся разум не воспринял его слов.

– На Южный вокзал, – произнесла она торопливо, вдруг подумав, что эта особа может за ней погнаться. – Скорее, скорее, поезжайте быстро!

Только сидя в автомобиле, Ирена почувствовала, до какой степени ее взволновала эта встреча. Она ощупала свои свисавшие вдоль тела холодные и неподвижные, точно омертвевшие руки и вдруг начала так дрожать, что ее всю трясло. К горлу подступало что-то горькое, она ощущала тошноту и вместе с тем глухую бессмысленную ярость, судорожно переворачивавшую у нее все в груди. Ей хотелось кричать или стучать кулаками, чтобы отделаться от ужаса воспоминания, засевшего в мозгу, как рыболовный крючок; это тупое лицо с язвительной усмешкой, это дыхание пошлости, дурно пахнущий беззубый рот, который злобно извергал ей в лицо гнусные слова, и поднятый красный кулак, которым та ей грозила. Ее мучило все сильнее, все выше подступало к горлу; к тому же быстро бегущий автомобиль бросал ее из стороны в сторону, и она уже хотела сказать шоферу, чтобы он ехал медленнее, как вдруг вспомнила, что у нее, быть может, не хватит денег, чтобы с ним расплатиться, потому что она ведь отдала все ассигнации этой вымогательнице. Она тотчас же велела остановиться и, к новому изумлению шофера, вышла из автомобиля. Оставшихся денег, к счастью, хватило. Но она очутилась в незнакомом квартале, в толпе суетящихся людей, которые каждым словом, каждым своим взглядом причиняли ей физическую боль. Притом от страха у нее ослабели ноги, и она едва двигалась; но ей нужно было домой, и, собрав всю свою энергию, она с нечеловеческим усилием потащила из улицы в улицу, точно шла по болотам или по колено в снегу. Наконец она добралась до дому и с нервной торопливостью бросилась вверх по лестнице, но тотчас же умерила шаг, чтобы не выдавать своей тревоги.

Только когда горничная сняла с нее пальто, когда она услышала в соседней комнате голос сына, игравшего с младшей сестрой, когда окинула взглядом привычную обстановку, собственные вещи и домашний уют, к ней вернулся внешний покой, хотя подземная волна возбуждения все еще мучительно бушевала в напряженной груди. Она сняла вуаль, провела руками по

лицу, силясь казаться спокойной, и вошла в столовую, где ее муж у накрытого к обеду стола читал газету.

– Поздно, поздно, милая Ирена, – приветствовал он ее нежным укором, встал и поцеловал ее в щеку. Это прикосновение невольно пробудило в ней тяжелое чувство стыда. Они сели за стол; и он спросил равнодушным голосом, почти не отрываясь от газеты: – Где ты была так долго?

– Я была... у... у Амели... ей нужно было кое-что купить... и я пошла с нею, – прибавила она и тут же рассердилась на себя за то, что солгала так неудачно. Обыкновенно она заранее готовила тщательно придуманную ложь, такую, которая могла выдержать любую проверку, а сегодня от страха она забыла, и ей пришлось прибегнуть к такой неловкой импровизации. «А что, если муж, – мелькнуло у нее в голове, – как в той пьесе, что мы видели на днях в театре, позвонит по телефону и справится...»

– Что с тобой?.. Ты в таком нервном возбуждении... и почему ты не снимаешь шляпы? – спросил ее муж.

Она вздрогнула, почувствовала, что ее снова выдало ее замешательство, быстро встала, прошла к себе в комнату снять шляпу и до тех пор смотрела в зеркало на свои беспокойные глаза, пока ей не показалось, что взгляд ее снова стал уверенным и твердым. Тогда она вернулась в столовую.

Горничная подала обед, и наступил вечер, похожий на все другие вечера, быть может, немного молчаливее и не такой оживленный, как всегда, со скудной, усталой, часто обрывающейся беседой. Мысли постоянно возвращались назад. И всякий раз она в ужасе содрогалась, вспоминая о встрече с этой страшной вымогательницей; тогда, чтобы почувствовать себя в безопасности, она поднимала голову и окидывала нежным взглядом все родное кругом, все эти вещи, наполнявшие квартиру воспоминаниями и значительностью, и к ней опять возвращалось легкое успокоение. А стенные часы, мирно ступая в тишине своими стальными шагами, незаметно вливали ей в душу какую-то уверенную, беззаботную размеренность.

На следующий день, когда муж ушел в канцелярию, а дети отправились гулять, и она осталась наконец наедине с собой, эта ужасная встреча, воскрешенная при ясном утреннем свете, стала казаться ей далеко не такой страшной. Прежде всего фрау Ирена вспомнила, что на ней была очень густая вуаль, так что эта особа не могла ясно разглядеть ее лица и не узнает ее при встрече. Она принялась спокойно обдумывать меры предосторожности. Она ни за что больше не пойдет к своему возлюбленному на квартиру, этим устраняется возможность подобного нападения. Остается лишь опасность случайной встречи с этой женщиной, но и это невероятно, потому что выследить ее, когда она ехала на автомобиле, та не могла. Имени и адреса она не знает, узнать ее как-нибудь иначе она тоже не может, потому что слишком смутно видела ее лицо. Но фрау Ирена и на этот крайний случай вооружена. Уже свободная от тисков страха, она – таково ее решение – попросту будет держать себя совершенно спокойно, будет все отрицать, заявит холодно, что это какая-то ошибка, и, так как вряд ли можно будет доказать, иначе, чем на месте, что она действительно там была, она в случае необходимости обвинит эту особу в вымогательстве. Недаром фрау Ирена – жена одного из известнейших адвокатов столицы; из разговоров мужа с коллегами она знает, что всякое вымогательство нужно пресекать в самом начале и с полнейшим хладнокровием, ибо малейшая нерешительность, малейший намек на беспокойство со стороны преследуемого только усиливают противника.

Первой мерой защиты было краткое письмо возлюбленному, где она сообщала, что завтра в условленный час не может прийти и в ближайшие дни тоже не придет. Ее гордость была уязвлена тягостным открытием, что в жизни своего возлюбленного она сменила такую низкую и недостойную предшественницу, и, неприязненно взвешивая слова, она злобно радовалась тому, с какой холодностью она свое увлечение как бы возвышает до степени прихоти.

С этим молодым человеком, пианистом, она случайно познакомилась на одном вечере и вскоре вслед за тем, собственно, даже не желая того и почти не сознавая этого, стала его любовницей. Это не было влечение крови, ничто чувственное и едва ли что-нибудь духовное связывало ее с ним: она ему отдалась, не нуждаясь в нем и не стремясь к нему, по какой-то неспособности оказать сопротивление его воле и из чувства какого-то беспокойного любопытства. Ни ее вполне удовлетворенная супружеским счастьем жизнь, ни столь частое у женщин ощущение, что гаснут ее духовные интересы, ничто не толкало ее завести любовника, она была вполне счастлива рядом с состоятельным, духовно превосходящим ее мужем и двумя детьми, лениво и довольно ведя спокойное, буржуазное, безоблачное существование. Но бывает такая вялость атмосферы, которая пробуждает чувственность совершенно так же, как зной или гроза, бывает такой счастливый покой, который волнует больше, чем несчастье. Сытость возбуждает так же, как и голод: безопасность, благополучие ее жизни пробудили в ней жажду приключений.

И вот, когда в эти минуты удовлетворенности, которую сама она не в силах была обострить, этот молодой человек вошел в ее буржуазный мир, где мужчины обыкновенно почтиительно превозносили в ней «красивую даму», с невинными шутками и безобидным кокетством, никогда не вождедая в ней женщины, она впервые с девичьих лет снова почувствовала глубокое волнение. В его облике ее привлекла, быть может, лишь тень печали, лежавшая на его чуть-чуть слишком интересно придуманном лице. Ей, окруженной сытыми, буржуазно настроенными людьми, в этой печали почудился какой-то высший мир, и она невольно перегнулась за ограду своих повседневных чувств, чтобы заглянуть в него. Compliment минутного восхищения, сказанный, быть может, с большим огнем, чем это принято, заставил его поднять голову от рояля, и уже этот первый взгляд стремился к ней. Она испугалась и в то же время ощутила всю отраду страха. Разговор, весь словно озаренный и согретый подземным пламенем, разжег пробудившееся в ней любопытство так сильно, что она не могла отказаться от новой встречи на публичном концерте. Затем они начали видаться часто и уже не случайно. Под влиянием самолюбивой мысли, что он, настоящий художник, ценит ее понимание и ее советы, как он неоднократно ее уверял, она спустя несколько недель легкомысленно поверила ему, будто он хочет сыграть ей, ей одной, свое последнее произведение у себя дома, – обещание, быть может, вначале наполовину искреннее, но кончившееся поцелуями и тем, что, неожиданно для себя, она отдалась ему. И первым ощущением был испуг перед этим внезапным переходом к чувственности; таинственный трепет, окружавший их отношения, был вдруг развеян, и сознание неумышленной вины перед мужем было только отчасти заглушено тщеславным чувством, что она впервые и, как ей казалось, по собственному желанию отвергла тот буржуазный мир, в котором жила. Сознание падения, мучившее ее в первые дни, превратилось под влиянием тщеславия в гордость. Но и эти полные таинственности волнения сохраняли свою напряженность лишь первое время. В глубине души она инстинктивно отворачивалась от этого человека и, главным образом, от того нового, от того необычного, что, в сущности, и увлекло ее любопытство. Страсть, опьянявшая ее, когда он играл, в минуты телесной близости тревожила ее; ей были не по душе эти неожиданные и властные объятия, своенравную необузданность которых она невольно сравнивала с робкой и после долгих лет все еще благоговейной страстью своего мужа. Но, раз изменив, она продолжала приходить к возлюбленному, не испытывая ни счастья, ни разочарования, из какого-то чувства обязанности и по косности привычки. Спустя несколько недель она отвела этому молодому человеку, своему возлюбленному, определенное место в жизни, уделила ему точно так же, как родителям мужа, один день в неделю, но ради этих новых отношений она не отказалась от старого уклада, а только прибавила нечто к своей жизни. Возлюбленный ничего не изменил в удобном механизме ее существования, он превратился в какой-то придаток размеренного счастья, подобно третьему ребенку или автомобилю, и вскоре любовная связь приобрела в ее глазах банальность дозволенного наслаждения.

И вот, когда ей пришлось в первый раз оплатить эту связь истинной ценой, ценой опасности, она стала мелочно взвешивать, чего она, собственно, стоит. Фрау Ирена была избалована судьбой, изнежена родителями, а благоприятные материальные условия лишили ее почти всяких желаний, и первая же помеха оказалась ей не по силам. Она не склонна была отказываться от душевной беззаботности и готова была, не размышляя, пожертвовать возлюбленным ради комфорта.

Ответ возлюбленного, испуганное, нервное, бессвязное письмо, принесенное посыльным в середине дня, письмо, в котором он растерянно молил, жаловался и обвинял, поколебало ее решение покончить с этой связью, потому что его страсть льстила ее самолюбию, а иступленное отчаяние приводило ее в восторг. Он в самых настойчивых выражениях просил ее хотя бы о кратком свидании, чтобы он мог, по крайней мере, выяснить, в чем его вина, если он чем-нибудь невольно оскорбил ее, и она увлеклась новой игрой: продолжать на него сердиться и, беспричинно избегая его, стать ему еще дороже. Она пригласила его прийти в одну кондитерскую, вдруг вспомнив, что однажды, будучи молодой девушкой, она назначила там свидание одному актеру, свидание, казавшееся ей теперь ребяческим своей почтительностью и беспечностью. «Странно, – улыбалась она внутренне, – романтика, исчезнувшая из моей жизни за годы замужества, снова расцветает». И она была почти рада вчерашней встрече с этой грубой особой, когда она опять, после стольких лет, пережила такое сильное, подстегивающее чувство, что ее всегда легко успокаивающиеся нервы все еще продолжали трепетать.

На этот раз она надела темное, не бросающееся в глаза платье и другую шляпу, чтобы при возможной встрече с той женщиной ввести ее в заблуждение. Она собиралась уже повязать вуаль, чтобы труднее было ее узнать, но вдруг заупрямилась и отложила вуаль в сторону. Неужели она, всеми уважаемая, почтенная дама, не решается выйти на улицу из страха перед какой-то особой, которой она совершенно не знает?

Мимолетный страх она ощутила только в первую секунду, выходя на улицу, нервный трепет, струящийся и холодный, как бывает, когда опускаешь ногу в воду, прежде чем броситься в волны. Но эта дрожь охватила ее лишь на секунду, вслед за этим в ней закипела вдруг удивительная радость, ей было приятно, что она ступает так легко, сильно и упруго, напряженной, стремительной походкой, какой она сама за собой не знала. Она почти жалела, что кондитерская так близко, какая-то сила неумолимо влекла ее дальше, в притягивающую как магнит неизвестность. Но у нее было мало времени для свидания, а приятная уверенность в крови подсказывала ей, что возлюбленный уже ждет. Когда она вошла, он сидел в углу. Он вскочил взволнованно, и это было ей и приятно, и вместе с тем тягостно. Ей пришлось просить его говорить тише, таким горячим водоворотом вопросов и упреков встретил он ее в своем смятении. Не объясняя ему, почему она не хочет больше приходить, она играла намеками, которые еще больше разжигали его своей неопределенностью. Она оставалась недосягаемой для его желаний и не решалась даже обещать, чувствуя, как она его возбуждает таинственной и неожиданной уклончивостью и недоступностью... И когда, после получаса горячей беседы, она покинула его, не выказав и даже не посулив ни малейшей нежности, у нее внутри горело странное чувство, которое она испытывала только девушкой. Точно в ней где-то глубоко теплится маленький щекочущий огонек и только ждал ветра, чтобы вспыхнуть пламенем, которое охватило бы ее с головы до ног; на ходу она жадно ловила каждый взгляд, брошенный ей улицей, и неожиданный успех, который она читала в мужских глазах, пробудил в ней такое желание увидеть свое лицо, что она вдруг остановилась перед зеркалом цветочной витрины, чтобы в раме красных роз и блестящих от росы фиалок взглянуть на свою красоту. С девичьих лет она не ощущала такой легкости, такой одушевленности всех чувств; даже первые дни замужества, даже объятия возлюбленного не зажигали таких искр в ее теле; и ей показалась нестерпимой мысль, что сейчас ей придется разменять на размеренные часы всю эту удивительную легкость,

эту сладостную одержимость в крови. Она устало пошла дальше. Перед домом она снова остановилась, чтобы еще раз вдохнуть полной грудью этот огненный воздух, головокружение этого часа, чтобы до самой глубины сердца ощутить эту последнюю, уходящую волну свободы.

Вдруг кто-то тронул ее за плечо. Она обернулась.

– Что... что вам нужно опять от меня? – пролепетала она в смертельном испуге, увидев ненавистное лицо, и испугалась еще больше, услышав свои собственные роковые слова. Она ведь решила не узнавать эту женщину при встрече, отрицать все, встретить вымогательницу лицом к лицу... Теперь уже было поздно...

– Я уже полчаса поджидаю вас здесь, фрау Вагнер.

Ирена содрогнулась, услышав свое имя. Эта женщина знает, где она живет. Теперь все погибло, она в ее власти, и спасения нет.

– Я жду уже полчаса, фрау Вагнер. – Она повторила свои слова угрожающим тоном, как упрек.

– Чего вы хотите?.. Что вам нужно от меня?..

– Вы же знаете, фрау Вагнер. – Ирена снова вздрогнула, услышав свое имя. – Вы знаете отлично, почему я пришла.

– Я его больше ни разу не видела... оставьте меня теперь в покое... Я его никогда больше не увижу... никогда...

Женщина спокойно ждала, пока Ирена не умолкла от волнения. Затем сказала грубо, точно разговаривала со своей подчиненной:

– Не лгите! Я ведь шла за вами до кондитерской, – и, видя, как Ирена отшатнулась, прибавила с усмешкой: – У меня ведь нет занятий. Из заведения меня уволили, потому что работы мало, как они говорят, и времена плохие. Что же, этим пользуешься и идешь прогуляться... совсем как приличная дама.

Она говорила это с холодной злобой, кольнувшей Ирену в самое сердце. Перед неприкрытой грубостью этой пошлой женщины она чувствовала себя беззащитной, и все с большей силой овладевала ею страшная мысль, что она может снова раскричаться, или мимо может пройти муж, и тогда все погибло. Она порылась в муфте, вытащила серебряную сумочку и вынула из нее все, что могла захватить.

Но на этот раз, почуяв деньги, наглая рука не опустилась смиренно, как тогда, а замерла в воздухе, разжатая, как когти.

– Дайте-ка мне сумочку тоже, чтобы я не потеряла деньги, – произнес раскрытый насмешливо рот с тихим урчащим смехом.

Ирена посмотрела ей в глаза, но лишь секунду. Эта нахальная, пошлая насмешка была невыносима. Точно жгучая боль, по всему ее телу пробежало отвращение. Только бы уйти, уйти, только бы не видеть этого лица! Она отвернулась, быстро протянула драгоценную сумочку и побежала, гонимая ужасом, вверх по лестнице.

Мужа еще не было дома. Она бросилась на диван и лежала неподвижно, словно оглушенная молотом. И только заслышав голос мужа, она напрягла все силы и потащила в другую комнату, двигаясь автоматически, с омерзительными чувствами.

* * *

Ужас засел теперь в ее доме и не выходил из комнат. В долгие одинокие часы, когда в ее памяти, волна за волной, вставали картины этой отвратительной встречи, она ясно поняла всю безнадежность своего положения. Эта особа знает – Ирена не понимала, как это могло произойти, – ее имя, ее дом, и так как первые попытки удалась блестяще, то теперь она, без сомнения, не остановится ни перед чем, чтобы использовать свои сведения для повторных вымогательств. Год за годом она будет тяготеть над ее жизнью, как кошмар, который Ирена

будет не в силах стряхнуть, даже при самом отчаянном напряжении, потому что, хотя она и располагает средствами и замужем за состоятельным человеком, все же, не посвятив в это дело мужа, ей неоткуда добыть столь значительную сумму, чтобы раз и навсегда освободиться от этой особы. И, кроме того, – она это знала из случайных рассказов мужа и по его процессам, – соглашения с такого рода бесчестными и падшими личностями и их обещания не имеют ровно никакой цены. Месяц-другой, так она считала, ей еще удастся задержать роковую развязку, но затем искусственное здание домашнего счастья должно рухнуть; и сознание, что в своем падении она повлечет также за собою и вымогательницу, мало ее утешало.

Развязка – это она чувствовала с ужасающей уверенностью – неизбежна, спасения нет. Но что же... что же будет? Ее мучил этот вопрос с утра до вечера. Настанет день – ее муж получит письмо; она представляла себе, как он войдет, бледный, с мрачным лицом, возьмет ее за руку, спросит... И тогда... Что же будет тогда? Как он поступит? Здесь картина вдруг исчезала во мраке дикого и жестокого страха. Она не знала, что будет дальше, и все ее предположения летели в какую-то пропасть. Но из этих мрачных раздумий она вынесла жуткое сознание: как она, в сущности, мало знает своего мужа, как трудно ей предугадать его решение! Она вышла за него замуж по желанию родителей, но не противясь и чувствуя к нему большую симпатию, в которой не разочаровалась и впоследствии, прожила рядом с ним восемь тихих лет убаюкивающего счастья, имела от него детей, у них был общий дом, они провели вместе бесчисленное множество часов, и только теперь, задав себе вопрос, как он поступит, она поняла, насколько он для нее чужой и незнакомый человек. И она стала разбирать его жизнь по отдельным черточкам, которые помогли бы ей уяснить его характер. Ее боязнь стучалась робким молотком в каждое маленькое воспоминание, отыскивая вход в скрытые тайники его сердца.

Когда он сидел в кресле и читал книгу, ярко освещенный электрическим светом, она вопрошала его лицо, потому что в словах он себя не проявлял. Она всматривалась в его облик, словно в чужой, стараясь угадать в знакомых и вместе с тем чужих чертах лица его характер, которого ее равнодушие так и не раскрыло за восемь лет совместной жизни. Лоб у него был ясный и благородный, и казалось, что эту форму ему придало внутреннее духовное напряжение; но рот – строгий и непреклонный. Все было крепко в этом мужественном лице, энергично и сильно; с удивлением видя, что оно красиво, и с известного рода восхищением смотрела она на эту сдержанную серьезность, на эту ясную его суровость. Но глаза, в которых, собственно, была скрыта вся тайна, устремленные на книгу, были недоступны ее наблюдениям. И она вопросительно взирала на его профиль, как будто эта изогнутая линия означала единственное слово – милость или осуждение, на этот профиль, который пугал ее своей жестокостью, но в решительных линиях которого она впервые видела странную красоту. И вдруг она заметила, что смотрит на него охотно, с удовольствием и гордостью. Он поднял голову. Она быстро отступила в темноту, чтобы жгучим вопросом своих глаз не зажечь в нем подозрения.

Она не выходила из дому трое суток. И увидела с досадой, что домашние удивлены ее неожиданным домоседством, потому что обыкновенно не бывало, чтобы она проводила в комнатах несколько часов кряду, а тем более – целые дни.

Первыми заметили эту перемену дети, особенно старший мальчик, который с неприятной выразительностью высказывал наивное изумление по поводу того, что мама так много сидит дома; а прислуга шепталась и обменивалась предположениями с гувернанткой. Напрасно старалась фрау Ирена объяснить свое необычное присутствие самыми разнообразными, иногда очень удачно придуманными причинами, но всякий раз, когда она хотела помочь в доме, она вносила только беспорядок и, вмешиваясь, пробуждала подозрение. Вдобавок, ей не удавалось вести себя так, чтобы ее постоянное присутствие не бросалось в глаза, она не умела держаться в стороне, не сидела на месте, за книгой или за работой; внутренний страх, который у нее, как всякое сильное чувство, превращался в нервное возбуждение, непрерывно гнал ее из комнаты

в комнату; при каждом телефонном звонке, при каждом звонке в дверь она вздрагивала, чувствовала, что ее жизненный покой растворяется и исчезает, и эта слабость выростала в ощущение разрушенной жизни. Эти три дня, проведенные в темнице комнат, казались ей длиннее, чем все восемь лет замужества.

Но на третий вечер она с мужем давно уже была приглашена в один дом, и отклонить теперь это приглашение, не приведя каких-нибудь серьезных причин, она не могла. И наконец, надо же было когда-нибудь сломать эту незримую решетку ужаса, окружившую ее жизнь, иначе ее ждала гибель. Ей нужно было видеть людей, отдохнуть хоть несколько часов от самой себя, от этого убийственного одиночества страха. И потом, – где бы она была в большей безопасности, как не в дружеском доме, где бы она была лучше ограждена от невидимого преследования, крадущегося за ней по пятам? Ей было страшно только одну секунду, одну короткую секунду, когда она выходила из дома, когда впервые после той встречи ступала на улицу, где ее могла поджидать эта женщина. Она невольно взяла мужа за руку, закрыла глаза и быстро прошла несколько шагов по тротуару к поджидавшему ее автомобилю. Но когда, сидя рядом с мужем, она понеслась по пустынным ночным улицам, тяжелое чувство спало с ее души, и, подымаясь по ступеням чужого дома, она уже знала, что ей ничто не угрожает. Несколько часов она могла быть такой же, какой была столько лет: беззаботной, веселой и к тому же еще охваченной той осознанной радостью, какую испытывает человек, вышедший из тюремных стен на солнце. Здесь возвышался вал, защищавший ее от всякого преследования, сюда не могла проникнуть ненависть, здесь были только люди, которые ее любят, уважают и ценят, нарядные беспечные люди, озаренные красноватым пламенем легкомыслия, хоровод наслаждения, который наконец опять захватил и ее, потому что, когда она вошла, она почувствовала по тому, как на нее смотрели, что она красива, и это давно забытое сознание делало ее еще красивее.

Рядом манили звуки музыки, проникая глубоко под пылающую кожу. Начался танец, и, сама не зная как, она сразу очутилась среди толпы. Она танцевала так, как не танцевала никогда в жизни. Этот крутящийся вихрь разметал все, что в ней было тяжелого, ритм сросся с телом, наполняя его пламенным движением. Когда умолкали звуки, тишина причиняла ей боль, дрожащее тело пылало огнем беспокойства, и она бросалась снова в вихрь танца, как в прохладные, успокаивающие, уносящие волны. Раньше она была всегда средней танцовкой, слишком размеренной, слишком осмотрительной, с жесткими, осторожными движениями, но этот угар освобожденной радости сбросил с нее все телесные оковы. Стальной обруч стыдливости и благоразумия, всегда сковывавший самые дикие ее порывы, распался, и она чувствовала себя безудержно, беспредельно, блаженно растворенной. Она ощущала чьи-то руки, пальцы, касания и исчезновения, дыхание слов, щекочущий смех, музыку, дрожавшую у нее в крови, и все ее тело было напряжено, так напряжено, что платье ее жгло, и она была бы рада сорвать с себя все покровы, чтобы обнаженной еще глубже впитать в себя это упоение.

– Ирена, что с тобой?

Она обернулась, шатаясь, со смехом в глазах, еще вся пылая от объятий кавалера. Изумленный, неподвижный взгляд мужа холодно и жестко кольнул ее в сердце. Она испугалась. Или она держала себя слишком дико? Уж не выдала ли она себя в своем безумии?

– Что... что ты хочешь сказать, Фриц? – прошептала она, изумленная резким ударом его взгляда, который, казалось, проникал в нее все глубже, который она ощущала уже совсем внутри, у самого сердца. Она чуть не вскрикнула от испытующей решимости этих глаз.

– Как это странно, – пробормотал он наконец.

В его голосе звучало мрачное удивление. Она не решилась спросить, что он хотел этим сказать. Но дрожь пробежала у нее по телу, когда он молча повернулся, и она увидела его плечи, широкие, жесткие, могучие, крепко спаянные с железным затылком. «Как у убийцы», – пронеслась у нее в голове безумная и сразу же отогнанная мысль. Только теперь, точно она увидела своего мужа в первый раз, она с ужасом поняла, что это сильный и опасный человек.

Снова заиграла музыка. К ней подошел какой-то господин, она машинально взяла его руку. Но все стало опять тяжелым, и светлая мелодия уже не уносила оцепеневшего тела. От сердца к ногам разливалась глухая тяжесть, каждый шаг причинял ей боль. И она попросила кавалера отпустить ее. Возвращаясь к своему месту, она невольно посмотрела, нет ли поблизости мужа. И вздрогнула. Он стоял совсем близко за ней, словно поджидал ее, и глаза ее снова встретили его стальной взгляд. Что ему нужно? Что он успел узнать? Она невольно оправила платье, как бы желая защитить от него обнаженную грудь. В его молчании была та же настойчивость, что и во взгляде.

– Поедем? – спросила она робко.

– Да. – Голос его звучал жестко и неприязненно. Он шел впереди. Она опять увидела мощный угрожающий затылок. Ей подали шубу, но она дрожала от холода. Они ехали молча. Она не решалась произнести ни слова. Она смутно чувствовала новую опасность. Теперь ей грозили с обеих сторон.

В эту ночь ей приснился тяжелый сон. Звучала какая-то незнакомая музыка; высокий светлый зал; она вошла, двигаясь среди множества людей и красок; какой-то молодой человек, как будто знакомый ей, но которого она не совсем узнавала, подошел к ней, взял ее за руку, и она начала с ним танцевать. Ей было легко и хорошо, волна музыки подхватила ее, она не чувствовала пола под ногами, и так они танцевали по бесчисленным залам, где высоко в золотых люстрах, блистая, как звезды, горели маленькие огни, а множество зеркал возвращало ей ее улыбку и опять уносило ее дальше в бесконечных отражениях. Все более жарким становился танец, все более страстной – музыка. Она чувствовала, как юноша прижимается к ней все сильнее, как его пальцы впиваются в ее обнаженную руку, так что она застонала от мучительного наслаждения, и когда его взор погрузился в ее взор, ей показалось, что она его узнает. Ей показалось, что это тот актер, которого она восторженно любила, когда была маленькой девочкой. Она уже хотела радостно произнести его имя, но он задушил ее тихий возглас жгучим поцелуем. И так, со слившимися устами, они летели по залам, точно уносимые блаженным ветром, – единое пылающее тело. Стены струились мимо, она больше не ощущала вознесенного вверх потолка. Время казалось ей несказанно легким, а тело раскованным. Вдруг кто-то коснулся ее плеча. Она остановилась, музыка умолкла, огни погасли, черные стены надвинулись на нее, и кавалер исчез. «Отдай мне его, воровка!» – кричала страшная женщина, ибо это была она, таким голосом, что гудели стены, и ледяными пальцами схватила ее за руку. Фрау Ирена сопротивлялась и слышала, что и она тоже кричит пронзительным, безумным криком отчаяния; между ними началась борьба, но женщина была сильнее, она сорвала с нее жемчужное ожерелье и при этом порвала платье, так что грудь и руки выступили обнаженными из-под свисающих лохмотьев. Вдруг снова появились люди, они сбегались изо всех залов со все возрастающим шумом и взирали, смеясь, на полуобнаженную Ирену и на кричавшую пронзительным голосом женщину: «Она украла его у меня, развратница, девка!» Ирена не знала, куда спрятаться, куда смотреть, потому что люди все приближались; любопытные, фыркающие рожи ощупывали ее наготу; и вот, растерянным взглядом ища спасения, она вдруг увидела в черной раме двери своего мужа, который стоял неподвижно, заложив правую руку за спину. Она вскрикнула и бросилась бежать, бежала через множество залов, следом за ней неслась жадная толпа, она чувствовала, как ее платье падает все ниже, она с трудом придерживала его. Вдруг перед нею распахнулась дверь. Она жадно бросилась вниз по лестнице, надеясь спастись, но внизу уже поджидала эта пошлая женщина в шерстяном платье, с хищными пальцами. Ирена отскочила в сторону и побежала прочь как сумасшедшая, но та бросилась за нею, и так они мчались во тьме по длинным молчаливым улицам, а фонари, хихикая, нагибались к ним. Она слышала у себя за спиной стук деревянных башмаков, но каждый раз, когда она добежала до угла улицы, снова появлялась эта женщина, на следующем углу опять, за каждым

домом, слева, справа, – она подстерегала ее всюду. Она была везде, неистребимая, всегда опережающая, она обгоняла Ирену, хватала ее, и та уже чувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Но вот наконец и дом, она бросилась вперед, но когда она рванула дверь, то там стоял муж с ножом в руке и смотрел на нее пронизывающим взглядом. «Где ты была?» – спросил он глухо. «Нигде», – услышала она свой ответ, а рядом громкий смех. «Я видела, я видела!» – кричала, оскалив зубы, женщина, очутившаяся вдруг опять рядом и хохотавшая как сумасшедшая. Тогда муж поднял нож. «Спасите! – закричала фрау Ирена. – Спасите!»

Она вскочила, и ее испуганный взгляд столкнулся со взглядом мужа. Что... что это такое? Она в своей комнате, лампочка горит бледным светом, она дома, у себя в кровати, это был только сон. Но почему же муж сидит на краю постели и смотрит на нее, как на больную? Кто зажег огонь, почему он сидит такой серьезный, такой неподвижный? Ее охватил ужас. Она невольно взглянула на его руку: нет, у него не было ножа.

Медленно исчезало сновидение с зарницами своих образов. Ей, должно быть, снился сон, она закричала во сне и разбудила мужа. Но почему же он так серьезно, так пристально, так неумолимо серьезно смотрит на нее?

Она попыталась улыбнуться.

– Что... что такое? Почему ты так смотришь на меня? Мне, кажется, приснился дурной сон.

– Да, ты громко кричала. Я услышал из другой комнаты.

«Что я кричала, что я выдала, – содрогалась она, – что он мог узнать?» Она не решалась взглянуть ему в глаза. А он смотрел на нее все так же серьезно, все так же удивительно спокойно.

– Что с тобой, Ирена? С тобой что-то происходит, ты так изменилась за последние дни, ты точно в лихорадке, нервничаешь, такая рассеянная и зовешь во сне на помощь.

Она опять попыталась улыбнуться.

– Нет, – настаивал он, – ты не должна ничего от меня скрывать. Или у тебя какое-нибудь горе, что-нибудь тебя мучит? В доме все заметили, как ты изменилась. Ты должна мне довериться, Ирена.

Он незаметно пододвинулся к ней, она чувствовала, как его пальцы гладят и ласкают ее голую руку, а в глазах у него был странный блеск. Ей хотелось броситься к нему на сильную грудь, прижаться к нему, признаться во всем и не отпускать его, пока он не простит, броситься сейчас, в эту самую минуту, когда он видел, как она страдает.

Но лампочка горела бледным светом, освещая ее лицо, и ей стало стыдно. Она боялась слов.

– Не тревожься, Фриц, – силилась она улыбнуться, а тело ее дрожало, от макушки до пальцев голых ног. – Я просто немного разнервничалась. Все это пройдет.

Он быстро отдернул руку, которой было обнял ее. Она вздрогнула, увидев его бледное при стеклянном свете лицо с тяжелой тенью мрачных мыслей на лбу. Он медленно встал.

– Не знаю, все эти дни мне казалось, что ты хочешь мне что-то сказать. Что-то такое, что касается только тебя и меня. Мы сейчас одни, Ирена.

Она лежала неподвижно, точно загипнотизированная этим серьезным, туманным взглядом. Она чувствовала, что сейчас все может стать так хорошо, стоит ей сказать одно слово, одно маленькое слово «прости», и он не станет спрашивать, за что. Но почему горит этот свет, яркий, наглый, прислушивающийся свет? В темноте она бы сказала, она это чувствовала. А свет лишал ее сил.

– Значит, тебе в самом деле нечего мне сказать, точно нечего?

Какое ужасное искушение, какой у него мягкий голос! Так он не говорил с нею никогда. Но этот свет, эта лампочка, этот желтый жадный свет!

Она сделала над собой усилие.

– Что это тебе пришло в голову? – рассмеялась она, и сама испугалась своего неестественного голоса. – Или, если я плохо сплю, так, значит, у меня должны быть секреты? Может быть, даже какой-нибудь роман?

Она сама испугалась, как лживо, как лицемерно прозвучали ее слова, она до мозга костей ужаснулась сама себе и невольно отвела взгляд.

– Ну, спи спокойно.

Он произнес это коротко, отрывисто. Совсем другим голосом. Как угрозу или как злую, опасную насмешку.

Затем он погасил свет. Она видела, как его белая тень исчезла в дверях, бесшумно, как бледное, ночное привидение, и, когда дверь закрылась за ним, ей показалось, будто опустилась крышка гроба. Ей казалось, что весь мир мертв и пуст, только в оцепеневшем теле ее собственное сердце громко и неистово стучало в груди, и больно, больно было от каждого удара.

На следующий день, когда они сидели вместе за завтраком, – дети только что поссорились, и их с трудом удалось успокоить, – горничная принесла письмо. «Барыне, и ждут ответа». Ирена посмотрела с удивлением на незнакомый почерк, поспешно вскрыла конверт, но, прочитав первую строчку, вдруг побледнела. Она вскочила и испугалась еще больше, поняв по изумлению окружающих, что своей необдуманной стремительностью она выдает себя.

Письмо было короткое. Три строчки: «Пожалуйста, вручите подателю сего немедленно сто крон». Ни подписи, ни числа, явно измененный почерк, и только этот жутко повелительный приказ. Фрау Ирена побежала к себе в комнату за деньгами, но ключ от ящика оказался не на месте, и она начала лихорадочно рыться повсюду, пока наконец не нашла его. Дрожащими руками она вложила ассигнации в конверт и передала его сама ожидавшему у двери посыльному. Она действовала бессознательно, как бы под гипнозом, не допуская мысли об ослушании. Затем – она отсутствовала не больше двух минут – она вернулась в столовую.

Все молчали. Она с робкой неловкостью села и только собралась привести какую-нибудь наспех придуманную отговорку, как вдруг – и рука ее так задрожала, что ей пришлось поставить назад поднятый стакан, – она увидела с невыразимым ужасом, что, ослепленная волнением, она оставила письмо лежать открытым рядом со своей тарелкой. Она украдкой скомкала записку, но в тот миг, когда она ее прятала, она встретила, подняв глаза, твердый взгляд мужа, сверлящий, строгий, горестный взгляд, какого раньше она никогда у него не видела. Только теперь, в эти последние дни, он наносил ей взглядом вот такие внезапные удары недоверия, от которых она вся содрогалась и которых она не умела отражать. Таким же точно взглядом он ударил по ней, когда она танцевала; это тот же взгляд сегодня ночью сверкнул, как нож, над ее сном. И пока она подыскивала слова, ей припомнился давно забытый случай. Муж рассказывал ей однажды, что он выступал защитником в камере одного судебного следователя, который имел обыкновение прибегать к такому приему: во время допроса он перелистывал бумаги с таким видом, будто он близорук, а при решающем вопросе молниеносно вскидывал взгляд и поражал им, как кинжалом. Внезапный испуг обвиняемого: тот терялся от этой яркой вспышки сосредоточенного внимания и бессильно ронял бережно несомую ложку. Или он теперь и сам упражняется в этом опасном искусстве, а она – его жертва? Ей стало жутко, тем более что она знала, насколько ее мужу психологическая сторона его профессии дороже чисто юридической. Распознавать, вскрывать, исследовать преступление привлекало его так же, как других азартная игра или эротика, и в такие дни психологической разведки он точно горел внутренним огнем. Воспаленная нервозность, заставлявшая его нередко говорить во сне, вспоминая забытое днем, превращалась в стальную непроницаемость, он ел и пил мало, только непрерывно курил и словно берег слова для часа суда. В суде она слышала его только раз и больше не хотела, настолько ее испугали мрачная страстность, почти злобный огонь его речи и хмурое

выражение лица, которое она теперь опять улавливала в его неподвижном взгляде под грозно сдвинутыми бровями.

Все эти затерянные воспоминания столпились разом и мешали словам, которые все силились слететь с ее губ. Она молчала, и чем яснее она чувствовала, как опасно такое молчание, тем сильнее становилось ее смущение. К счастью, завтрак скоро кончился, дети вскочили и бросились в соседнюю комнату с веселым, звонким криком, который гувернантка тщетно старалась унять. Муж тоже встал и тяжелым шагом, не оглядываясь, вышел из комнаты.

В этот миг она услышала за дверью шаги возвращавшегося мужа. Она торопливо вскочила, и лицо ее было красно от дыхания огня и оттого, что ее поймали врасплох. Дверцы печки были еще предательски открыты, она сделала неловкую попытку прикрыть их своим телом. Он подошел к столу, зажег спичку, чтобы закурить сигару, и, когда огонь близко озарил его лицо, ей показалось, что ноздри у него дрожат, а это означало, что он сердится. Он спокойно взглянул на нее:

– Я хочу только обратить твое внимание на то, что ты не обязана показывать мне свои письма. Если ты хочешь от меня что-нибудь скрыть, ты имеешь на это полное право.

Она молчала и не решалась на него взглянуть. Он подождал немного, затем шумно выпустил дым сигары, как бы из самой глубины груди, и, тяжело ступая, вышел из комнаты.

Ей не хотелось ни о чем думать, она старалась жить, оглушать себя, наполнять сердце пустыми, бессмысленными занятиями. Дома она была не в силах сидеть, она чувствовала, что ей надо на улицу, в толпу, иначе она сойдет с ума от ужаса. Она надеялась, что этой сотней крон она откупила у вымогательницы, по крайней мере, несколько дней свободы, и она решила пройтись, тем более что ей нужно было кое-что купить, а главное – надо было скрывать от домашних необычность своего поведения. У нее уже выработалась определенная манера ходить по улице. Из ворот она бросалась, как с мостков, с закрытыми глазами, в водоворот улицы. Почувствовав под ногами мостовую, а вокруг теплую людскую волну, она с нервной поспешностью, насколько может быстро ходить дама, не рискуя обратить на себя внимание, слепо шла вперед, потушив глаза, боясь снова встретить тот опасный взгляд. Если за ней следят, то она, по крайней мере, не хочет ничего об этом знать. И все же она чувствовала, что думает только об одном, и вздрагивала, когда кто-нибудь случайно задевал ее. Каждый звук, каждый шаг за ее спиной, каждая промелькнувшая тень мучительно действовали ей на нервы. Она дышала свободно только в экипаже или в чужом доме.

Какой-то господин поклонился ей. Она подняла глаза и узнала старого друга ее родителей, приветливого, болтливую старичка, которого она обычно избегала, потому что у него была привычка часами надоедать людям рассказами о своих – быть может, только воображаемых – болезнях. Но теперь ей было жаль, что она только ответила на его поклон и не попыталась пойти с ним вместе, потому что спутник был бы для нее защитой на случай неожиданной встречи с вымогательницей. Она не знала, как быть, и хотела уже вернуться назад, но вдруг ей показалось, что кто-то ее догоняет, и инстинктивно, не задумываясь, она бросилась вперед. Но с мучительной отчетливостью, обостренной страхом, она чувствовала, что ее настигают, и бежала все быстрее, хоть и понимала, что все равно ей от погони не уйти. Ее плечи дрожали, предчувствуя прикосновение руки, которая – шаги все приближались – сейчас коснется ее, и чем больше она старалась ускорить шаг, тем тяжелее становились ее колени. Вот ее уже почти настигли, и вдруг какой-то голос сзади произнес горячо и вместе с тем тихо: «Ирена». Она не сразу его узнала, но это был не тот голос, которого она боялась, не страшного вестника беды. Она облегченно вздохнула и обернулась: это был ее возлюбленный. Она остановилась так неожиданно, что он чуть не налетел на нее. Его бледное, расстроенное лицо выражало крайнее волнение, которое под ее растерянным взглядом перешло в смущение. Он нерешительно поднял руку для приветствия и опустил ее снова, увидев, что она ему руки не подает. Несколько

секунд она молча смотрела на него, настолько она не ожидала его встретить. В эти дни страха именно о нем она совсем забыла. И теперь, при виде его бледного, вопрошающего лица, с тем выражением беспомощной пустоты, которое всегда сопутствует неуверенности, в ней вдруг поднялась горячая волна злобы. Ее губы, дрожа, подыскивали слово, и ее волнение было так явно, что он в испуге прошептал:

– Ирена, что с тобой? – И, заметив ее нетерпеливый взгляд, прибавил робко: – Что я тебе сделал?

Она смотрела на него с плохо скрываемой ненавистью.

– Что вы мне сделали? – рассмеялась она иронически. – Ничего! Ровным счетом ничего! Только одно хорошее! Только приятное!

Взгляд его погас, а раскрытый от изумления рот делал его совсем глуповатым и смешным.

– Но, Ирена... Ирена!

– Не шумите, – прикрикнула она на него. – И не разыгрывайте передо мной комедии. Она, наверное, опять подкарауливает меня где-нибудь поблизости, ваша благородная подруга, и опять набросится на меня...

– Кто... кто набросится?

Ирена охотно ударила бы его кулаком по лицу, по этому глупо неподвижному, перекошенному лицу. Она уже чувствовала, как ее рука сжимает зонтик. Никогда еще она так не презирала, не ненавидела человека.

– Но, Ирена... Ирена... – шептал он все с большим смущением. – Чем я тебя обидел?.. Вдруг ты исчезаешь... Я жду тебя днем и ночью... Сегодня я весь день простоял перед твоим домом, ждал тебя, хотел поговорить хоть одну минуту.

– Ты ждал... так... и ты тоже...

Она чувствовала, что не владеет собой от ярости. Как бы ей хотелось ударить его по лицу! Но она сдержала себя, взглянула на него еще раз со жгучей ненавистью, точно соображала, не выплюнуть ли ему в лицо одним ругательством всю накопившуюся в ней злобу, потом вдруг повернулась и кинулась без оглядки в водоворот толпы. Он стоял, все еще простирая умоляюще руку, беспомощный и расстроенный, пока уличное движение не подхватило его и не унесло, как стремнина упавший листок, который борется, мечась и кружась, и наконец безвольно отдается течению.

Но чья-то рука заботилась о том, чтобы она не предавалась радостным надеждам. Уже на следующий день пришла опять записка, опять удар кнутом, подстегнувший ее усталый страх. На этот раз требовалось двести крон, которые она и отдала беспрекословно.

Это нагляющее вымогательство приводило ее в ужас: оно и материально было ей не по силам, потому что, хоть она и происходила из состоятельной семьи, она все же не имела возможности добывать такие крупные суммы, не рискуя обратить на себя внимание окружающих. И потом – ведь это не выход. Она знала, что завтра потребуют четыреста крон, а потом тысячу и тем больше, чем больше она будет давать, и наконец, когда ее средства будут исчерпаны, анонимное письмо, катастрофа. Она покупала только время, только маленькую отсрочку, два-три дня передышки, быть может, неделю, но то были ужасные дни, преисполненные муки и напряжения. Она не могла читать, ничего не могла делать, гонимая демоном внутреннего страха. Она чувствовала себя больной. Иногда у нее бывало такое сердцебиение, что она не могла стоять; тревожная тяжесть наполняла все тело терпким соком почти болезненной усталости, которая все же не переходила в сон. А она, с трепещущими нервами, должна была улыбаться, казаться веселой, и никто не подозревал, какого бесконечного напряжения стоит ей это деланое веселье, какие героические силы она расточает на эту ежедневную, в конце концов бесполезную, борьбу с собою.

Ей казалось, что только один человек из всех окружающих догадывается о том ужасном, что с ней происходит, и это потому, что он следит за нею. Она чувствовала, – и это заставляло ее быть сугубо осторожной, – что он думает о ней беспрестанно, точно так же, как и она о нем. Они наблюдали друг за другом днем и ночью, словно каждый старался разгадать тайну другого и скрыть свою собственную. Муж ее тоже изменился за последнее время. Грозная инквизиторская строгость первых дней сменилась какой-то особенной добротой и озабоченностью, которая невольно напоминала ей то время, когда она была невестой. Он обращался с нею как с больной, приводил ее в смущение своей заботливостью. Ее охватывал жуткий трепет, когда он иной раз словно подсказывал ей способ избавления, когда он старался облегчить ей признание; она понимала его намерение и была рада, была благодарна ему за доброту. Но она чувствовала, сознавала также, что вместе с этим доверием в ней растет и чувство стыда перед ним и строже замыкает ей уста, чем недавнее недоверие.

Однажды он заговорил с нею совершенно открыто, глядя ей прямо в глаза. Возвратившись как-то домой, она услышала еще из прихожей громкие голоса, голос мужа, резкий и энергичный, раздраженную трескотню гувернантки, всхлипывание и плач. В первую минуту она испугалась. Она всегда вздрагивала, когда слышала громкие голоса или шум в доме. На все необычное она откликалась страхом, что пришло письмо, что тайна раскрыта. Всякий раз, отворяя дверь, она окидывала лица вопрошающим взглядом, стараясь угадать, не случилось ли чего-нибудь в ее отсутствие, не разразилась ли катастрофа, пока ее не было. На этот раз произошла просто детская ссора, как она узнала, успокаиваясь, – маленький импровизированный суд. Несколько дней назад тетя принесла мальчику игрушку, пеструю лошадку, и младшая сестра, получившая не такой интересный подарок, завидовала ему. Она пыталась завладеть лошадкой и делала это с такой жадностью, что мальчик вообще запретил ей трогать игрушку. Девочка сперва раскричалась от злости, а потом замкнулась в глухое, упорное молчание. Но на следующее утро лошадка вдруг исчезла бесследно, и все старания мальчика отыскать ее не привели ни к чему. В конце концов пропавшая игрушка нашлась случайно в печке, вся искалеченная: деревянные части были сломаны, пестрая шерсть сорвана, внутренности выпотрошены. Подозрение пало, разумеется, на девочку; мальчик с плачем бросился к отцу, обвиняя злодейку; и вот началось разбирательство.

Маленький процесс длился недолго. Девочка сперва отпиралась – правда, робко опустив глаза и с предательской дрожью в голосе. Гувернантка показывала против нее, она слышала, как девочка грозилась выбросить лошадку за окно, и та тщетно пыталась это отрицать. Последовало смятение, плач и отчаяние. Ирена смотрела только на мужа; ей казалось, что он судит не ребенка, а решает ее собственную участь, потому что, может быть, завтра ей тоже суждено стоять перед ним вот так, дрожа, с прерывающимся голосом. Муж сохранял строгость, пока девочка продолжала лгать, затем слово за слово сломил ее сопротивление, ни разу не выйдя из себя. Но когда отрицание вины сменилось мрачным упорством, он начал ласково ее уговаривать, доказывая чуть ли не внутреннюю неизбежность содеянного, и как бы извинял совершенный ею в порыве злобы отвратительный поступок тем, что она при этом не подумала, насколько это огорчит брата. И он так тепло и мягко объяснил начавшей колебаться девочке, что ее поступок вполне понятен, хоть и заслуживает осуждения, что та наконец разразилась слезами и принялась неистово рыдать. И, утопая в слезах, она в конце концов пролепетала признание.

Ирена бросилась обнимать плачущего ребенка, но девочка сердито оттолкнула ее. Муж тоже не позволил ей выражать преждевременно сочувствие, ибо он не хотел, чтобы проступок остался безнаказанным, и присудил небольшое, но для ребенка чувствительное наказание, заключавшееся в том, что на следующий день девочка не пойдет на праздник, которому она уже несколько недель заранее радовалась. Девочка выслушала приговор рыдая; мальчик начал громко ликовать, но за такое неуместное и неприязненное издевательство был тоже наказан,

и за его злорадство ему было также запрещено идти на детский праздник. Опечаленные и утешаясь только тем, что наказаны они оба, дети наконец ушли, и Ирена осталась одна с мужем.

Она вдруг почувствовала, что ей представился случай заговорить о собственной вине уже не просто намеками, а под видом беседы о вине ребенка и о его признании. Если он отнесется благосклонно к ее ходатайству, то это будет для нее знаком, и тогда она, быть может, решится заговорить о себе самой.

– Скажи, Франц, – начала она, – ты в самом деле не хочешь пускать завтра детей? Это их очень огорчит, особенно малютку. То, что она сделала, совсем не так уж гадко. Почему ты так строго ее наказываешь? Неужели тебе совсем не жаль ребенка?

Он посмотрел на нее:

– Ты спрашиваешь, жаль ли мне ее. На это я отвечу: сегодня мне ее больше не жаль. Теперь, когда она наказана, ей легко, хотя она и огорчена. Несчастной чувствовала она себя вчера, когда бедная лошадка валялась сломанная в печке, все в доме ее искали, и она все время боялась, что ее вот-вот найдут, не могут не найти. Страх – хуже наказания, потому что наказание – всегда нечто определенное, и, будь оно тяжкое или легкое, оно все же лучше, чем нестерпимая неопределенность, чем жуткая бесконечность ожидания. Как только она узнала, в чем заключается наказание, ей стало легко. Слезы не должны вводить тебя в заблуждение: теперь они просто вышли наружу, а раньше были внутри. А пока они внутри, они мучительнее.

Она подняла голову. Ей казалось, что каждым своим словом он метит в нее. Но он как будто даже не обращал на нее внимания.

– Это действительно так, можешь мне поверить, я это знаю из судебной практики. Обвиняемые страдают главным образом оттого, что они вынуждены скрываться от страха, что преступление будет раскрыто, от жуткой необходимости защищать неправду от тысячи мелких, скрытых нападений. Отвратительно видеть, как обвиняемый корчится и извивается, когда слово «да» приходится точно щипцами вырывать из сопротивляющегося тела. Иногда это слово уже подступает к гортани, неудержимая сила его выталкивает, человек им давится, вот-вот он его произнесет; но вдруг им овладевает какая-то злая воля, непонятное чувство упорства и страха, и он его снова проглатывает. И борьба начинается сызнова. Судья страдает при этом иногда больше, чем сама жертва. К тому же обвиняемый всегда считает его своим врагом, а в действительности он ему помогает. И я, как адвокат, как защитник, должен был бы предупреждать клиентов, чтобы они не сознавались, должен был бы укреплять их во лжи, но я часто не решаюсь на это, потому что для них мучительнее отрицать, чем сознаться и понести наказание. Я, между прочим, до сих пор не могу понять, как можно совершить проступок, сознавая его опасные последствия, и потом не иметь мужества признаться в нем. Я нахожу, что такой мелкий страх перед словом хуже всякого преступления.

– Ты думаешь... что людям мешает всегда... всегда только чувство страха? А разве... разве не может быть чувства стыда... Стыдно высказаться, раздеться на глазах у всех.

Он посмотрел на нее с удивлением, он не привык к тому, чтобы она возражала. Но эти слова произвели на него впечатление.

– Ты говоришь, стыдно... это... это... ведь тоже только страх... но этот страх лучше... страх не перед наказанием, а... да, я понимаю...

Он встал, странно взволнованный, и зашагал взад и вперед. Эта мысль, казалось, затронула в нем какое-то чувство, которое вострепенулось и забушевало внутри. Вдруг он остановился.

– Я допускаю... Стыдно перед людьми, перед людьми... перед толпой, пожирающей в газете чужую судьбу, как бутерброд... Но ведь можно признаться тем, кто близок...

– А может быть, – она должна была отвернуться, так пристально он на нее смотрел, и она чувствовала, что голос у нее дрожит, – может быть, чувство стыда сильнее всего... в отношении тех, кто... для нас всех ближе.

Он вдруг остановился, скованный какой-то внутренней силой.

– Ты, значит, думаешь, ты думаешь... – его голос изменился вдруг, зазвучал мягко и глухо, – ты думаешь... что Елене... было бы легче признаться в своей вине кому-нибудь другому... например, гувернантке... что она...

– Я в этом убеждена... она оказала именно тебе такое сопротивление... потому... потому что твое мнение для нее важнее всего... потому что она... любит тебя больше всех...

Он снова остановился.

– Ты... ты, может быть, права... и даже наверно... как странно... как раз об этом я никогда не думал. Но ты права, я не хочу, чтобы ты думала, будто я не умею прощать... мне бы не хотелось, чтобы именно ты, Ирена, могла бы так думать...

Он посмотрел на нее, и она почувствовала, что краснеет под его взглядом. Нарочно он так говорит, или это случайность, коварная, опасная случайность? Она все еще не могла решиться.

– Приговор кассирован, – он вдруг повеселел, – Елена свободна, и я пойду и сообщу ей сам об этом. Ты теперь довольна мною? Или ты еще чего-нибудь хочешь?.. Ты... ты видишь... ты видишь... сегодня я настроен великодушно... быть может, потому, что вовремя осознал свою вину. Это всегда приносит облегчение, Ирена, всегда...

Ей казалось, что она понимает смысл этого заверения. Она невольно подошла к нему ближе, она готова была уже заговорить, он тоже подошел к ней, точно хотел поскорее взять у нее из рук то, что ее угнетало. Но в этот миг она встретила его взгляд, в нем горело нетерпение, жгучее нетерпение услышать признание, ухватить частицу ее существа, и вдруг в ее душе все обрушилось. Ее рука утомленно поникла, она отвернулась. Она почувствовала, что все напрасно, что она никогда не сможет произнести то единственное освобождающее слово, что горит у нее в душе и пожирает ее покой. Предостережение гремело, как близкий гром, но она знала, что ей некуда бежать. И втайне она уже желала того, чего до сих пор страшилась: освободительной молнии, развязки.

Казалось, ее желание осуществится скорее, чем она думала. Борьба продолжалась уже две недели, и Ирена чувствовала себя обессиленной. Уже четыре дня эта особа не показывалась, и страх так глубоко проник в ее тело, так слился воедино с ее кровью, что она каждый раз, когда раздавался звонок, вскакивала, чтобы вовремя взять самой письмо от вымогательницы. В этом ожидании было нетерпение, почти томление, потому что за эти деньги она покупала каждый раз хотя бы один только спокойный вечер, несколько тихих часов с детьми, прогулку.

Снова раздался звонок, она выбежала из комнаты и бросилась к двери. Она отворила и первое мгновение удивленно смотрела на незнакомую даму, но затем в ужасе отшатнулась, узнав ненавистное лицо вымогательницы в новом наряде и в элегантной шляпе.

– Ах, это вы сами, фрау Вагнер, очень приятно! Мне нужно переговорить с вами по важному делу.

И, не дожидаясь ответа перепуганной женщины, опиравшейся дрожащей рукой на ручку двери, она вошла и поставила зонтик, ярко-красный зонтик, очевидно – плод ее разбойничьих набегов. Она двигалась с необыкновенной уверенностью, как будто находилась в своей собственной квартире, и, оглядывая с удовольствием, как бы с чувством успокоения, красивую обстановку, направилась, не дожидаясь приглашения, к полуоткрытой двери в гостиную.

– Сюда, не правда ли? – спросила она со сдержанной усмешкой, и когда испуганная женщина, все еще не в состоянии произнести ни слова, попыталась удержать ее, она прибавила успокаивающе: – Если это вам неприятно, мы можем обсудить вопрос быстро.

Фрау Ирена последовала за ней не возражая. Она была оглушена мыслью, что эта вымогательница находится в ее собственной квартире, этой дерзостью, которая превосходила все самые ужасные ее предположения. Ей казалось, что все это сон.

– У вас здесь красиво, очень красиво, – любовалась пришедшая, опускаясь в кресло. – Ах, как удобно сидеть! И как много картин! Только здесь начинаешь понимать, как бедно мы живем. У вас красиво, очень красиво, фрау Вагнер.

Глядя на эту преступницу, расположившуюся в ее собственных комнатах, измученная Ирена пришла наконец в бешенство.

– Что же вам нужно от меня, шарлатанка вы этакая! Вы преследуете меня даже в моем доме! Но я не позволю замучить себя до смерти! Я...

– Не говорите же так громко, – прервала ее женщина с оскорбительной фамильярностью. – Дверь открыта, прислуга может услышать. Мне-то все равно. Мне ведь нечего скрывать, и в конце концов в тюрьме мне будет немногим хуже, чем на свободе. А вот вам, фрау Вагнер, следовало бы быть поосторожнее. Я прежде всего закрою дверь на тот случай, если вам угодно будет еще погорячиться. Но я вас предупреждаю, что ругательства не производят на меня никакого впечатления.

Силы, вспыхнувшие в порыве ярости, снова покинули фрау Ирену перед несокрушимостью этой особы. Она стояла почти смиренно и взволнованно, как ребенок, ожидающий, какой урок ему зададут.

– Итак, фрау Ирена, без длинных предисловий. Мне живется плохо, вы это знаете. Я вам уже говорила. Сейчас мне нужны деньги, чтобы уплатить проценты. У меня есть еще и другие нужды. Мне бы хотелось наконец привести свои дела немножко в порядок. Я пришла к вам за тем, чтобы вы меня выручили и дали, ну, скажем, четыреста крон.

– Я не могу, – пролепетала фрау Ирена, испуганная размером суммы, которой она и в самом деле не располагала. – У меня сейчас действительно нет таких денег. За этот месяц я вам дала уже триста крон. Откуда мне их взять?

– Ну, как-нибудь устройте, подумайте. Такая богатая женщина, как вы, может добыть денег сколько хочет. Нужно только захотеть. Так что обсудите это дело, фрау Ирена, и все устроится.

– Но у меня действительно их нет. Я бы охотно вам дала, но у меня, право же, нет столько. Сколько-нибудь я могла бы вам дать, может быть, сто крон...

– Я сказала, что мне нужно четыреста крон, – бросила она грубо в ответ, как бы обиженная таким предложением.

– Но у меня их нет! – воскликнула Ирена в отчаянии. «А что, если сейчас вернется муж?» – мелькнуло у нее в голове; он мог прийти с минуты на минуту. – Клянусь вам, что у меня нет...

– Тогда постарайтесь раздобыть...

– Я не могу...

Женщина окинула ее взглядом с ног до головы, точно хотела оценить ее.

– Вот, например, это кольцо... Если его заложить, то деньги будут. Я, правда, плохо разбираюсь в драгоценностях. У меня их никогда ведь не было... Но я думаю, что четыреста крон можно будет за него получить...

– Это кольцо! – воскликнула Ирена.

Это было обручальное кольцо, единственное, с которым она никогда не расставалась и которому крупный и красивый камень придавал большую ценность.

– А почему бы нет? Я вам пришлю ломбардную квитанцию, и вы сможете его выкупить, когда захотите. Вы ведь получите его обратно. Я его не оставлю себе. Что мне, бедной женщине, делать с таким благородным кольцом?

– За что вы меня преследуете? За что вы мучаете меня? Я не могу... Я не могу. Вы же должны это понять...

Вы видите, я сделала все, что было в моих силах. Вы же должны это понять. Пожалейте меня!

– Меня тоже никто не жалел. Меня довели чуть ли не до голодной смерти. Почему же должна именно я пожалеть такую богатую женщину?

Ирена хотела ответить резкостью. Но вдруг услышала, – у нее застыла в жилах кровь, – что внизу хлопнула дверь. Должно быть, это муж возвращается из конторы. Не раздумывая, она сорвала кольцо с пальца и протянула его просительнице; та поспешно его спрятала.

– Не бойтесь. Я ухожу, – кивнула женщина, заметив невыразимый ужас на лице Ирены, которая напряженно прислушивалась к мужским шагам, отчетливо раздававшимся в передней. Женщина открыла дверь, поклонилась входившему мужу Ирены, который взглянул на нее без особого внимания, и исчезла.

– Какая-то дама приходила за справкой, – сказала Ирена из последних сил, как только за той закрылась дверь. Самый страшный миг миновал. Ее муж ничего не ответил и спокойно прошел в столовую, где стол был уже накрыт к завтраку.

Ирене казалось, что воздух обжигает ей то место на пальце, которое было обычно защищено прохладным обручем кольца, и что все смотрят на это обнаженное место, как на клеймо. За завтраком она все время прятала руку, но напряженные нервы издевались над ней, и ей чудилось, что муж неотступно смотрит ей на руку и преследует взглядом каждое ее движение. Она всеми силами старалась отвлечь его внимание и непрерывными вопросами поддерживала беседу. Она то и дело обращалась к нему, к детям, к гувернантке, то и дело разжигала разговор огоньками вопросов, но у нее не хватало дыхания, и беседа снова гасла. Она силилась казаться веселой и заразить своим весельем других, она дразнила детей и напускала их друг на друга, но они не смеялись и не спорили. В ее веселости была, должно быть, какая-то фальшь, – она сама это чувствовала, – и эта фальшь действовала на других. Чем больше она старалась, тем неудачнее выходило. В конце концов она утомилась и умолкла.

Остальные тоже молчали: она слышала только тихий звон тарелок да голос страха внутри. Вдруг муж спросил ее:

– А где же твое кольцо?

Она вздрогнула. Внутри громко раздалось: кончено! Но инстинктивно она все еще сопротивлялась. Она понимала, что теперь нужно напрячь все силы. Еще одну только фразу, одно только слово. Найти еще одну только ложь, последнюю ложь.

– Я... я его отдала почистить. – И, как бы окрепнув от этой неправды, она прибавила решительно: – Послезавтра я за ним схожу. – Послезавтра. Теперь она связана: если обман не удастся, он должен рухнуть, а вместе с ним погибнет и она. Она сама себе определила срок, и в ее смятенный страх вдруг проникло новое чувство, нечто вроде счастья, что решительная минута так близка. Послезавтра: отныне она знала срок и чувствовала, как это сознание затопляет ее страх каким-то странным покоем. Внутри нарастало что-то новое, новая сила, сила жить и сила умереть.

Твердая уверенность в близкой развязке внесла в ее душу неожиданную ясность. Нервозность каким-то чудом уступила место зрелой рассудительности, а страх сменился ей самой непонятным чувством прозрачного покоя, благодаря которому все события в ее жизни предстали ей вдруг ясными и в своем истинном значении. Она измерила свою жизнь и увидела, что она все еще много значит, если только ей удастся сохранить ее в том новом и возвышенном смысле, который она постигла в эти дни страха; если она может начать новую жизнь, чистую и ясную, без лжи, – она к этому готова. Но для того чтобы жить разведенной женой, обманувшей мужа, опозоренной, для этого она слишком устала; и слишком устала также продолжать эту опасную игру в покупаемый на срок покой. Она чувствовала, что сопротивление уже невыносимо, что конец близок, что ее в любую минуту могут предать муж, дети, все кругом, она сама. Убежать от вездесущего врага было невозможно. А признание, единственное прибе-

жище, было для нее недоступно, теперь она это знала. Оставался один только путь, но оттуда не было возврата.

Утром она сожгла письма, привела в порядок свои безделушки, но избегала детей и вообще всего, что ей было мило. Она сторонилась радостей и соблазнов, боялась, что напрасное колебание только затруднит ей принятое решение. Потом она вышла на улицу. Ей хотелось в последний раз испытать судьбу, не встретится ли ей шарлатанка. Она опять бесцельно бродила по улицам, но уже без прежнего чувства напряжения. Что-то в ней устало, у нее не было сил продолжать борьбу. Она бродила, точно по обязанности, целых два часа. Этой особы нигде не было. Она уже не огорчалась. Ей даже не хотелось больше встретиться с нею, настолько она чувствовала себя обессиленной. Она вглядывалась в лица прохожих, и все они казались ей чужими, мертвыми, безжизненными... Все это было словно уже далеко, утрачено и больше ей не принадлежало. Вдруг она вздрогнула. Ей показалось, что, оглянувшись, она уловила по ту сторону улицы, в толпе, взгляд мужа, тот странный, жесткий, толкающий взгляд, которым он смотрел на нее последнее время. Она стала боязливо вглядываться, но та фигура быстро исчезла позади проезжавшего экипажа, и она успокоилась, вспомнив, что в этот час он всегда бывает в суде. В своем волнении она потеряла представление о времени и явилась к завтраку с опозданием. Но и мужа, против обыкновения, дома еще не было. Он пришел только две минуты спустя, и ей показалось, что он слегка взволнован.

Она сосчитала, сколько часов остается до вечера, и испугалась, что их так много: как все это странно, как мало нужно времени, чтобы проститься, каким все кажется незначительным, когда знаешь, что ничего не можешь взять с собою. На нее напала какая-то сонливость. Она механически вышла на улицу и пошла наугад, ни о чем не думая и ничего не замечая. На каком-то перекрестке кучер едва успел осадить лошадей, она уже видела налетавшее на нее дышло. Кучер выругался, она даже не оглянулась: это было бы спасением или отсрочкой. Случай мог избавить ее от решения. Она устало пошла дальше; как приятно было ни о чем не думать и только смутно ощущать темное чувство конца, тихо опускающийся и все окутывающий туман.

Но вот она подняла случайно глаза, чтобы посмотреть, какая это улица, и вздрогнула: в своих скитаниях она добрела почти до самого дома своего возлюбленного. Что это, знак? Быть может, он еще в состоянии ей помочь, он, наверное, знает адрес этой особы. Она чуть не задрожала от радости. Как это она раньше не подумала об этом, ведь это так просто! Она сразу ожила, надежда окрылила вялые мысли, и они закружились в беспорядке. Он должен пойти с нею к этой особе и раз навсегда покончить с этим. Он должен пригрозить ей и потребовать, чтобы она прекратила вымогательство; возможно даже, что удастся с помощью некоторой суммы заставить ее покинуть город. Ей вдруг стало жаль, что она так дурно обошлась с несчастным, но он поможет ей, она в этом уверена. Как странно, что это спасение пришло только теперь, в последний час.

Она быстро взбежала по лестнице и позвонила. Никто не открывал. Она стала прислушиваться: ей показалось, что за дверью слышны осторожные шаги. Она позвонила вторично. Снова молчание. И опять тихий шорох за дверью. Она потеряла терпение; стала звонить и звонить без конца, ведь речь шла о ее жизни.

Наконец за дверью что-то зашевелилось, шелкнул замок, и приоткрылась узкая щель.

– Это я, – произнесла она поспешно.

Тогда он словно в испуге открыл дверь.

– Это ты... это вы, сударыня, – бормотал он смущенно. – Я... простите... я не ожидал... что вы придете... простите... что я в таком костюме. – Он указал на рукава своей рубашки. Он был без воротничка и с расстегнутой грудью.

– Мне необходимо с вами переговорить. Вы должны мне помочь, – сказала она с нервным волнением, потому что он все еще держал ее на пороге, как нищую, – не можете ли вы впустить меня и выслушать одну минуту? – прибавила она раздраженно.

– Прошу вас, – пробормотал он смущенно, бросив взгляд в сторону, – только сейчас... я не могу...

– Вы должны меня выслушать. Ведь это ваша вина. Вы обязаны мне помочь... Вы должны добыть мое кольцо, вы должны. Или скажите, по крайней мере, где она живет... Она меня все время преследует, а теперь исчезла... Вы обязаны, слышите, вы обязаны...

Он пристально смотрел на нее. Только теперь она заметила, что произносит какие-то бессвязные слова.

– Ах да... ведь вы не знаете... Так вот: ваша возлюбленная, ваша прежняя, эта особа видела, как я уходила от вас последний раз, и с той поры она меня преследует, вымогает у меня деньги... Она замучает меня до смерти. Теперь она отняла у меня кольцо, и мне необходимо получить его назад. Сегодня вечером оно должно быть у меня, я так сказала – сегодня вечером... Так вот, помогите мне.

– Но... но я...

– Вы согласны мне помочь или нет?

– Но я не знаю никакой особы! Я не понимаю, о ком вы говорите. Я никогда не имел никакого отношения к вымогательницам! – Он был почти груб.

– Так... вы ее не знаете. Она, значит, все это сочинила. А между тем она знает ваше имя, знает, где я живу. Быть может, неправда и то, что она меня шантажирует. Быть может, все это мне снится.

Она громко рассмеялась. Ему стало не по себе. У него мелькнула мысль: не сошла ли она с ума – так сверкали ее глаза. Она была сама не своя, говорила бессмысленные слова. Он испуганно оглянулся.

– Прошу вас, сударыня, успокойтесь... Уверю вас, вы ошибаетесь. Это совершенно невозможно. Должно быть... нет, я сам ничего не понимаю. С такого рода женщинами я не знаком. Те две связи, которые у меня были за время моего, как вам известно, краткого пребывания здесь, не такого порядка... я не хочу называть имен... но это так смешно... уверю вас, это какое-то недоразумение...

– Так, значит, вы не хотите мне помочь?

– Разумеется... если я могу.

– Тогда... идемте. Мы вместе пойдем к ней.

– К кому... К кому идти?

Она схватила его за руку, и он опять с ужасом подумал, что она сошла с ума.

– К ней... Пойдете вы или нет?

– Но разумеется... разумеется. – Его подозрение окрепло, когда он увидел, с какой жадностью она его торопит. – Разумеется... разумеется.

– Так идемте же... Речь идет о жизни или смерти.

Он сдерживался, чтобы не улыбнуться. Вдруг он принял официальный тон.

– Извините, сударыня... Но в настоящую минуту я лишен возможности... У меня сейчас урок музыки... Я не могу прервать...

– Так, так... – громко рассмеялась она ему в лицо, – так вы даете уроки музыки... В сорочке... Лжец! – И вдруг, охваченная какой-то мыслью, она бросилась вперед. Он старался удержать ее. – Так эта шантажистка у вас, здесь? Вы, чего доброго, с нею заодно... Вы, может быть, делитесь тем, что вымогали у меня? Но я ее поймаю! Мне теперь ничего не страшно.

Она громко кричала. Он держал ее крепко, но она боролась, вырвалась и бросилась к дверям спальни.

Какая-то фигура, очевидно, подслушивавшая разговор, отскочила от двери. Ирена изумленно смотрела на незнакомую даму в несколько небрежном туалете, поспешно отвернувшую лицо. Ее возлюбленный бросился за нею следом, чтобы задержать и предотвратить несчастье, потому что считал ее безумной, но она сама тотчас же вышла из комнаты.

– Простите, – пробормотала она. В голове у нее все смешалось. Она больше ничего не понимала, она чувствовала только отвращение, бесконечное отвращение.

– Простите, – повторила она, видя, что он провожает ее встревоженным взглядом. – Завтра... Завтра вы все поймете... то есть... я сама ничего больше не понимаю.

Она говорила с ним как с чужим. Ничто не напоминало ей о том, что она когда-то принадлежала этому человеку, она почти не ощущала своего собственного тела. Теперь все еще больше перепуталось; она знала только, что где-то здесь кроется ложь. Но она была слишком утомлена, чтобы думать, слишком утомлена, чтобы смотреть. С закрытыми глазами шла она по лестнице, как приговоренный на эшафот.

* * *

Когда она вышла, на улице было темно. Быть может – мелькнула у нее мысль, – та поджидает ее напротив; быть может, в последнюю минуту придет спасение... Ей хотелось сложить руки и молиться какому-то забытому богу. О, если бы можно было купить еще хоть несколько месяцев, до лета, и пожить мирно, вдали от вымогательницы, посреди полей и лугов, одно только лето. Она жадно всматривалась в темноту улицы. Ей показалось, что в воротах кто-то сторожит, но, когда она подошла ближе, фигура отошла в тень. Одно мгновение ей почудилось, что этот человек похож на ее мужа. Она уже второй раз пугалась сегодня, думая, что узнает его и его взгляд на улице. Она остановилась, чтобы убедиться, он это или нет, но фигура скрылась в темноте. Она тревожно двинулась дальше, со странно напряженным ощущением, в забыты, словно от обжигавшего сзади взгляда. Она оглянулась еще раз. Но никого больше не было видно.

Аптека была поблизости. Она вошла с легкой дрожью. Аптекарь взял рецепт и принялся за приготовление. В эту короткую минуту она увидела все: блестящие весы, хорошенькие гирьки, маленькие этикетки, а наверху в шкапах строй эссенций с непонятными латинскими названиями, которые она бессознательно принялась читать подряд. Она слышала, как тикают часы, вдыхала своеобразный запах, жирно-сладкий запах лекарств, и припомнила вдруг, как в детстве она всегда просила у матери позволения пойти в аптеку за лекарством, потому что ей нравился этот запах и странный вид множества блестящих тиглей. И вдруг она с ужасом подумала, что забыла проститься с матерью, и ей стало мучительно жаль бедную женщину. «Как бы она испугалась», – думала Ирена с содроганием, но аптекарь уже отсчитывал из пузатого сосуда светлые капли в синюю склянку. Она наблюдала неподвижно, как смерть переходит из большого сосуда в маленький, откуда скоро перельется в ее жилы, и по телу ее пробежал озноб. Бессмысленно, как под гипнозом, смотрела она на его пальцы, втыкавшие теперь пробку в наполненную склянку, а теперь оклеивавшие опасное отверстие бумагой. Все ее чувства были скованы и разбиты этой жуткой мыслью.

– Две кроны, пожалуйста, – сказал аптекарь.

Она очнулась от оцепенения и оглянулась кругом, не соображая, где она. Затем машинально опустила руку в сумочку, чтобы достать деньги. Она была все еще словно во сне, посмотрела на монеты, не сразу их распознавая, и невольно замешкалась с подсчетом.

Вдруг она почувствовала, что кто-то взволнованным движением отстраняет ее руку, и услышала звон монет о стеклянную тарелку. Чья-то протянутая рука взяла склянку.

Она невольно обернулась. И взгляд ее окаменел. Рядом стоял ее муж, с крепко сжатыми губами. Он был бледен, а на лбу блестели капли пота.

Она почувствовала, что теряет сознание, и должна была опереться на стол. Теперь ей стало ясно, что это его она видела на улице и что это он сейчас сторожил в воротах; что-то в ней еще там каким-то чутьем узнало его и в ту же секунду смятенно отсеклось.

– Пойдем! – сказал он глухим, сдавленным голосом. Она взглянула на него неподвижным взглядом и внутренне, в какой-то глухой, глубокой области сознания удивилась тому, что повинуется. И пошла за ним, сама не сознавая, что идет.

Они шли по улице рядом, не глядя друг на друга. Он все еще держал склянку в руке. Один раз он остановился и вытер влажный лоб. Невольно остановилась и она, сама того не желая и не сознавая. Но взглянуть на него она не решилась. Оба молчали, а между ними стоял уличный шум.

На лестнице он пропустил ее вперед. И как только она почувствовала, что его нет рядом, у нее задрожали ноги. Она остановилась и прислонилась к перилам. Тогда он взял ее под руку. От этого прикосновения она вздрогнула и пробежала последние ступеньки бегом.

Она вошла в комнату. Он последовал за нею. Тускло мерцали стены, с трудом можно было различить отдельные предметы. Они все еще не произнесли ни слова. Он сорвал со склянки бумажный колпачок, откупорил ее и вылил содержимое. Затем отбросил склянку в угол. Она вздрогнула от звона разбитого стекла.

Они все молчали и молчали. Она чувствовала, как он себя сдерживает, чувствовала, не глядя на него. Наконец он подошел к ней. Близко, совсем близко. Она чувствовала его тяжелое дыхание и видела неподвижным, затуманенным взором, как сверкали его глаза в темноте комнаты. Она ожидала, что он даст волю своей ярости, и вздрогнула, когда он крепко взял ее за руку. Сердце перестало биться, и только нервы дрожали, как напряженные струны. Она всем существом ждала кары и почти жаждала его гнева. Но он все молчал, и она с бесконечным изумлением поняла, что он подошел к ней с нежностью.

– Ирена, – сказал он, и голос его прозвучал необыкновенно мягко. – Долго ли еще мы будем друг друга мучить?

И вдруг, судорожно, с невероятной силой, как сплошной, безрассудный, звериный крик, хлынуло ее накопившееся, подавляемое все эти недели рыдание. Словно чья-то разгневанная рука схватила ее изнутри и трясла, она шаталась как пьяная и упала бы, если бы он ее не поддержал.

– Ирена, – успокаивал он ее, – Ирена, Ирена, – все тише, все ласковее произнося это имя, точно хотел все возрастающей нежностью слова усмирить отчаянное смятение судорожных нервов. Но в ответ раздавались лишь рыдания, дикие порывы, волны страдания, раздиравшие все тело. Он повел, он понес это содрогающееся тело к дивану и уложил его. Но рыдания не утихали. Судорога слез сотрясала тело подобно электрическим разрядам, волны холодного трепета пробегали по измученной плоти. После долгих дней невыносимого напряжения нервы не выдержали, и без удержу бушевала мука в бесчувственном теле.

В страшном волнении он держал трепещущее тело, трогал холодные руки, целовал сначала ласково, а потом в диком порыве испуга и страсти ее платье, ее затылок, но дрожь все по-прежнему терзала лежащую, а изнутри набегали порывистые, наконец раскованные волны рыданий. Он коснулся холодного, залитого слезами лица и почувствовал бьющиеся жилы на висках. Ему стало невыразимо страшно. Он опустил на колени, чтобы быть ближе к ее лицу.

– Ирена, – и снова прикасался к ней, – почему ты плачешь?.. Теперь... теперь ведь все прошло... зачем же мучиться... ты не должна бояться... она никогда больше не придет... никогда...

Она вздрогнула опять, он держал ее обеими руками. Чувствуя это отчаяние, которое раздирало ее измученное тело, он испытывал такой страх, словно он убил ее. Он целовал ее беспрестанно и шептал смятенные, извиняющиеся слова.

– Нет... никогда больше... я клянусь тебе... я ведь не мог ожидать, что ты так испугаешься... я хотел только позвать тебя... чтобы ты вспомнила свой долг, только чтобы ты ушла от него... навсегда... навсегда... к нам назад... ведь у меня не было выбора, когда я об этом случайно узнал... я же не мог сказать тебе сам... я думал все время, что ты придешь... потому-то я и подослал эту бедную женщину, чтобы она вынудила тебя... Это несчастное существо, артистка, лишилась места... она неохотно шла на это, но я настаивал... Я вижу, что был не прав... но я хотел, чтобы ты вернулась... Я ведь давал тебе понять, что я готов... что я ничего другого не хочу, как только простить, но ты меня не понимала... но так... так далеко я не хотел заходить... я так страдал, видя все это... я следил за каждым твоим шагом... ради детей, понимаешь, ради детей я обязан был заставить тебя... но теперь ведь все прошло... теперь все будет опять хорошо...

Из бесконечной дали она смутно слышала раздававшиеся близко и все же непонятные слова. В ней бушевал шум, заглушавший все смятение чувств, в котором тонули все ощущения. Она ощущала прикосновения к своей коже, поцелуи и ласки и свои собственные, уже остывающие слезы, но кровь внутри звенела глухим, угрожающим звоном, который мощно нарастал и вот уже гремел, как яростные колокола. Потом она потеряла сознание. Очнувшись от обморока, она чувствовала, что ее раздевают, видела, точно сквозь густые облака, лицо мужа, ласковое и озабоченное. Затем она канула глубоко во мрак, в долгожданный, черный, безгрезный сон без сновидений.

Когда она на следующее утро открыла глаза, в комнате было уже светло. И в себе самой она ощутила свет, проясненную и словно очищенную грозой собственную кровь. Она старалась припомнить, что с ней было, но ей все еще казалось, что она видит сон. Ее смутные ощущения представлялись ей нереальными, легкими и освобожденными, словно когда витаешь во сне по комнатам, и, чтобы убедиться, что это явь, она стала ощупывать себя. Вдруг она вздрогнула: на пальце у нее блесло кольцо. Она сразу пришла в себя. Бессвязные слова, которые она не то слышала в полубомороке, не то не слышала, смутное, но вещее чувство в прошлом, не посмевшее стать мыслью и подозрением, все это теперь вдруг сплелось в ясную картину. Она сразу все поняла: вопросы мужа, изумление возлюбленного; все узлы распутались, и она увидела страшную сеть, которой была оплетена. Ей стало обидно и стыдно, снова задрожали нервы, и она почти пожалела о том, что очнулась от этого безгрезного, безмятежного сна.

Рядом раздался смех. Дети встали и шумели, как проснувшиеся птички, радуясь молодому дню. Она явственно различала голос мальчика и впервые удивилась тому, как он похож на голос отца. Легкая улыбка слетела ей на уста и затихла на них. Она лежала с закрытыми глазами, чтобы глубже насладиться всем этим, что было ее жизнью, а теперь и счастьем. Внутри что-то все еще слегка болело, но то была отрадная боль, и жгла она так, как жгут раны, прежде чем зарубцеваться навсегда.

Мендель-букинист

Я снова жил в Вене и однажды вечером, возвращаясь домой с окраины города, неожиданно попал под проливной дождь, своим мокрым бичом проворно загнавший людей в подъезды и под навесы; я и сам бросился отыскивать спасительный кров. К счастью, в Вене на каждом углу вас поджидает кафе, и я в промокшей шляпе и насквозь мокрым платье вбежал в одно из ближайших. Это оказалось самое обыкновенное, шаблонное кафе старовенского, патриархального типа, без оркестра и прочих заимствованных в Германии модных приманок, которыми щеголяли кафе на главных улицах; посетителей было много – мелкий люд, поглощавший больше газет, чем пирожных. Несмотря на табачный дым, который сизыми спиралями пронизывал и без того душливый воздух, в кафе было уютно и чисто благодаря новой плюшевой обивке на сиденьях и блестящей алюминиевой касе; второпях я даже не потрудился взглянуть на вывеску – да и к чему? Я сел за столик и, быстро согревшись в теплой комнате, стал нетерпеливо поглядывать на окна, затянутые голубой сеткой дождя, – скоро ли заблагорассудится несносному ливню продвинуться на несколько километров дальше.

Итак, я сидел в полной праздности, и мало-помалу мной овладела та расслабляющая лень, которую, подобно наркозу, незримо источает каждое истинно венское кафе. Рассеянно разглядывал я лица посетителей, казавшиеся землистыми в искусственном свете наполненного табачным дымом помещения, наблюдал за кассиршей, словно автомат отпускавшей кельнерам сахар и ложечку к каждой чашке кофе, бессознательно, в полудремоте, читал скучнейшие плакаты на стенах и почти наслаждался этим оцепенением. Но вдруг, по какой-то непонятной причине, я очнулся: какое-то внутреннее беспокойство заставило меня насторожиться, словно глухая зубная боль, когда еще не можешь определить, какой зуб ноет – вверху или внизу, слева или справа; я только ощущал смутное волнение, род душевной тревоги. Ибо – сам не зная почему – я внезапно проникся уверенностью, что не в первый раз очутился в этом кафе: я был здесь много лет тому назад и связан какими-то воспоминаниями с этими стенами, стульями, столами, с этим чуждым мне, прокуренным помещением.

Однако чем больше старался я овладеть этими воспоминаниями, тем коварнее они от меня ускользали; словно морская звезда, мелькал их неверный свет в самых глубинах сознания – не выудить и не схватить. Тщетно впивался я взглядом в каждый предмет обстановки; многое, разумеется, было мне незнакомо, например, касса с дребезжащим автоматическим счетчиком, коричневая, под красное дерево, панель вдоль стен – все это появилось, вероятно, позже. И все-таки, все-таки я был здесь лет двадцать тому назад, а то и больше; здесь незримо присутствовала, притаившись, как гвоздь, вколоченный в дерево, частица моего собственного, давно изжитого «я». Напряженно вглядывался я в то, что было вокруг меня, и в то, что было во мне, но, черт возьми, я не мог уловить этих забытых, потонувших во мне самом воспоминаний.

Я злился, как злишься каждый раз, когда какая-нибудь неудача обнаруживает несостоятельность и несовершенство наших духовных сил. Однако я не терял надежды все же в конце концов вспомнить. Я знал, что достаточно ничтожной зацепки, ибо память моя обладает странным свойством, одновременно и хорошим, и дурным: она упряма и своенравна и вместе с тем необычайно надежна. Она увлекает на дно важнейшие события и лица, прочитанное и пережитое и ничего не возвращает из этой темной пучины без принуждения, по одному лишь требованию воли. Но стоит мне натолкнуться на самый ничтожный намек, открытку с видом, знакомый почерк на конверте или пожелтевшую газету, и тотчас же забытое вынырнет из сумрачных глубин живо и отчетливо, словно рыба, пойманная на удочку. Я припоминаю малейшие подробности, вижу рот знакомого мне человека, отсутствие зуба с левой стороны, что особенно заметно, когда он смеется, слышу его отрывистый смех – при этом вздрагивают кончики усов и сквозь смех проступает другое, новое лицо; в ушах моих внятно звучит каждое слово, произнесенное

им много лет назад. Но для того, чтобы с полной ясностью увидеть и ощутить прошлое, мне необходим внешний толчок, необходима некоторая, хотя бы ничтожная, помощь из реального мира. Я закрыл глаза, стараясь сосредоточиться и сделать осязаемой эту неуловимую зацепку, чтобы ухватиться за нее. Но тщетно! Ничего, решительно ничего не подсказывала мне память. Я так рассердился на скверный своевольный аппарат, заключенный в моей черепной коробке, что готов был колотить себя кулаками по лбу, как встряхивают испорченный автомат, когда он упрямо не выбрасывает требуемого. Нет, я не мог больше спокойно сидеть на месте; меня так возмущала эта осечка памяти, что я встал и вышел из-за столика. Но странно – не успел я сделать и двух шагов, как внезапно какой-то свет, еще слабый и мерцающий, забрезжил в моем сознании. Справа от кассы, вспомнилось мне, должен быть вход в помещение без окон, освещаемое лишь электричеством. И в самом деле, так и оказалось. Вот она, эта комната; правда, обои другие, но в остальном все та же – почти квадратная, с чуть перекошенными углами. Радостно возбужденный (я уже чувствовал: сейчас вспомню все), я оглядел помещение: два бильярда томились без дела, словно зеленые, заросшие тиной пруды; по углам торчали ломберные столы, за одним из них два не то надворных советника, не то профессора играли в шахматы. А вон там, около железной печки, у самого прохода к телефонной будке, стоял небольшой четырехугольный стол. И тут меня осенило – точно молния, в один-единственный, блаженно-радостный миг вспыхнуло воспоминание: Боже мой, да ведь это столик Менделя, Якоба Менделя, Менделя-букиниста, и я через двадцать лет снова очутился в его главной квартире, в кафе «Глюк», на Альзерштрассе. Как я мог забыть его, Якоба Менделя, как мог так долго, так непростительно долго не вспоминать об этом удивительном человеке, этой живой легенде, чуде из чудес, прославленном в университете и в узком кругу почитателей, как мог я предать забвению этого мага и маклера книжного дела, который изо дня в день несокрушимо сидел здесь с утра до вечера, – символ человеческого знания, краса и гордость кафе «Глюк»!

Мне нужно было только на одно мгновение закрыть глаза, чтобы передо мной возник его подлинный, живой, неповторимый образ. Я вновь увидел его за этим четырехугольным столом с серовато-грязной мраморной доской, заваленной книгами и бумагами. Увидел, как он сидит, упорно и невозмутимо устремив сквозь очки пристальный, словно замороженный взор в книгу, сидит и читает, что-то бормоча и мурлыча себе под нос, раскачиваясь взад и вперед туловищем и головой, украшенной тусклой, пятнистой лысиной, – привычка, приобретенная в хедере, в еврейской начальной школе на Востоке. Здесь, за этим столом, и только за ним, читал он каталоги и книги так, как учили его читать талмуд, – нараспев и раскачиваясь, словно черная колыбель. Ибо подобно тому как дитя погружается в сон и уже не ощущает мира, убаюканное плавным, усыпляющим ритмом, так, по мнению благочестивых людей, и дух благодаря мерному движению праздного тела легче погружается в блаженную отрешенность от мира. И в самом деле, Яков Мендель не видел и не слышал, что бы ни происходило вокруг. Рядом с ним шумели и ссорились игроки на бильярде, сновали взад и вперед маркеры, трещал телефон, мыли полы, топили печку – он ничего не замечал. Однажды из топки выпал раскаленный уголек; в двух шагах от него уже тлел и дымился паркет. Тогда кто-то из посетителей, почуяв адскую вонь, вбежал в комнату и предотвратил беду, он же, Яков Мендель, сидя на расстоянии двух дюймов от начавшегося пожара и уже окуренный едким дымом, ничего не заметил. Ибо он читал так, как другие молятся, как играют азартные игроки, как пьяные безотчетно глядят в пространство; он читал так трогательно и самозабвенно, что с тех пор всякое иное отношение к чтению казалось мне профанацией. В лице Якоба Менделя, этого маленького галицийского букиниста, я впервые столкнулся с великой тайной безраздельной сосредоточенности, создающей художника и ученого, истинного мудреца и подлинного безумца, – с трагедией и счастьем одержимых.

Привел меня к нему старший товарищ по университету Я в ту пору интересовался еще и ныне малоизвестным последователем Парацельса, врачом и магнетизером Месмером, но без

особого успеха; основные труды, посвященные его деятельности, оказались недостаточными, а библиотекарь, к которому я по неопытности обратился, сердито пробормотал, что указывать литературу надлежит мне, а не ему. Тогда-то мой товарищ в первый раз упомянул имя букиниста.

– Я сведу тебя к Менделю, – пообещал он. – Этот человек все знает и все достанет, он раздобудет тебе редчайшую книгу из любой антикварной лавчонки в Германии. Это самый толковый человек в Вене и к тому же большой оригинал, допотопный книжный червь вымирающей породы.

Мы вместе отправились в кафе «Глюк», и вот – там он сидел, Мендель-букинист, в очках, с всклокоченной бородой, весь в черном, раскачиваясь, точно темный куст на ветру. Мы подошли к нему – он нас не заметил. Он сидел и читал, раскачиваясь над столом верхней частью туловища, точно поклонник Будды; за его спиной болталось на крючке поношенное черное пальтишко, из всех карманов которого торчали журналы и записки. Чтобы привлечь его внимание, мой приятель громко кашлянул. Но Мендель продолжал читать, уткнувшись носом в книгу: он нас упорно не замечал. Наконец мой товарищ постучал по мраморной доске стола, громко и сильно, как стучат обычно в дверь; тогда лишь Мендель поднял голову, машинально сдвинул на лоб громоздкие очки в стальной оправе, и из-под взъерошенных пепельно-серых бровей уставилась на нас пара удивительных глаз – маленькие, черные, живые глазки, острые и верткие, как змеиное жало. Мой приятель представил меня, и я изложил свою просьбу, причем – к этой хитрости я прибег по настоятельному совету приятеля – прежде всего излил свой гнев на библиотекаря, не пожелавшего мне помочь. Мендель откинулся на спинку стула и не спеша сплюнул. Потом отрывисто засмеялся и заговорил с сильным восточным акцентом:

– Не пожелал? Нет, не сумел! Это же паршивец, это же несчастный старый осел. Я знаю его вот уже двадцать лет. Вы думаете, он чему-нибудь научился? Жалованье класть в карман – только это они и умеют! Им бы кирпичи таскать, господам ученым, а не над книгами сидеть.

После того как Мендель таким образом отвел душу, лед был сломан, и он приветливым жестом пригласил меня к своему испещренному заметками мраморному столу, к этому еще не ведомому мне алтарю библиофильских откровений. Я коротко изложил свои пожелания: труды современников Месмера о магнетизме, а также более поздние книги и работы за и против месмеризма; когда я кончил, Мендель прищурил на мгновение левый глаз, в точности так, как стрелок перед выстрелом. Но только на одно-единственное мгновение; и тотчас же, словно читая незримый каталог, Мендель перечислил два-три десятка книг, называя издателя, год издания и приблизительную цену. Я оторопел. Хоть я и был предупрежден, ничего подобного я не ожидал. Мое изумление, видимо, обрадовало его, ибо он продолжал разыгрывать на клавиатуре своей памяти самые удивительные библиографические вариации на ту же тему. Не угодно ли мне кое-что узнать и о сомнамбулистах и первых опытах гипноза, о Гаснере, о заклинании беса, о христианской науке и о Блаватской? Снова посыпались имена, названия, сведения; теперь только я понял, на какое небывалое чудо памяти я наткнулся в лице Якоба Менделя; это был подлинный ходячий универсальный каталог. Потрясенный, смотрел я на этот библиографический феномен, втиснутый в невзрачную, даже неопрятную оболочку галицийского букиниста. С легкостью выпалив около восьмидесяти названий, он с наигранным равнодушием, но явно довольный тем, что так хорошо удалось козырнуть, стал протирать очки носовым платком, который, вероятно, когда-то был белый. Чтобы хоть немного оправиться от изумления, я робко спросил, какие из этих книг он берется мне достать.

– Посмотрим, посмотрим, – пробормотал он. – Приходите завтра, Мендель к тому времени уже кое-что достанет вам; чего нет в одном месте, найдется в другом; у кого голова на плечах, тому и счастье.

Я вежливо поблагодарил и от избытка вежливости совершил грубейшую ошибку, предложив записать названия нужных мне книг на клочке бумаги. В ту же минуту мой прия-

тель предостерегающе толкнул меня локтем. Но, увы, слишком поздно! Мендель окинул меня взглядом – и каким взглядом! То был взгляд одновременно торжествующий и оскорбленный, насмешливый и высокомерный, по-шекспировски царственный, взгляд, которым Макбет окинул Макдуфа, когда тот предложил непобедимому герою сдаться без боя. Он снова отрывисто рассмеялся, и большой выступающий кадык задвигался – очевидно, он с трудом проглотил крепкое словцо. Да я и заслужил любую, самую грубую брань из уст доброго, честного Менделя-букиниста; ведь только чужой человек, невежда («амхорец», как он выражался) мог сделать оскорбительное предложение – записать названия книг, и кому? Якобу Менделю! Словно он мальчик из книжного магазина или служитель в букинистической библиотеке; как будто этот несравненный ум когда-либо нуждался в столь грубом вспомогательном средстве. Лишь много позже я понял, как сильно должна была моя предупредительность уязвить его; ибо этот маленький, невзрачный, утонувший в своей бороде и вдобавок горбатый галицийский еврей Якоб Мендель был титаном памяти. За этим грязновато-бледным лбом, обросшим серым мхом, запечатлены были незримиными письменами, словно отлитые из стали, титульные листы всех когда-либо вышедших книг. Он мгновенно, не колеблясь, называл место выхода любого сочинения, появилось ли оно вчера или двести лет тому назад, его автора, первоначальную цену и букинистическую; помнил отчетливо и ясно и переплет, и иллюстрации, и факсимиле; каждую книгу, побывавшую у него в руках или только высмотренную в витрине или в библиотеке, он мысленно видел с той же фотографической точностью, с какой художник внутренним оком видит еще скрытые от мира создаваемые им образы. Если в каталоге какого-нибудь регенсбургского букиниста книга была оценена в шесть марок, он тотчас припоминал, что два года тому назад другой экземпляр этой книги на распродаже в Вене пошел за четыре кроны и кем она была куплена. Нет, Якоб Мендель не забывал ни одного названия, ни одной цифры, он знал каждое растение, каждую инфузорию, каждую звезду в изменчивом, зыбком космосе книжного мира. По каждой специальности он знал больше, чем специалисты, знал библиотеки лучше, чем библиотекари, наличность книг большинства фирм он знал лучше, чем их владельцы, вопреки всем спискам и картотекам, опираясь единственно на свой магический дар, на свою несравненную память, всю силу которой можно показать, только приведя сотни примеров. Правда, эта память могла получить такое поистине сверхъестественное развитие только благодаря вечной тайне всякого совершенства: тайне сосредоточенности. Этот удивительный человек не знал в мире ничего, кроме книг, ибо все явления бытия обретали для него реальность, лишь претворенные в буквы, собранные в книгу и как бы выхолощенные. Но и книги он читал не ради их содержания, не ради заключенных в них мыслей или фактов; только название, цена, формат, титульный лист увлекали его. Всего лишь необъятным перечнем имен и названий, запечатленным не на страницах каталога, а на мягкой коре мозга млекопитающего, – перечнем, в конечном счете бесполезным, не оживленным творческой мыслью, – вот чем была специфически-букинистическая память Якоба Менделя; но в своем неповторимом совершенстве она оказалась не менее феноменальной, чем память Наполеона на лица, Меццофантин – на языки, Ласкера – на шахматные дебюты, Бузони – на музыкальные опусы. Использованный в учебном или другом общественном учреждении, этот мозг мог бы удивить и воспитать тысячи, сотни тысяч студентов и ученых; он был бы плодотворен для науки, явился бы бесценным приобретением для тех общедоступных сокровищниц, которые мы называем библиотеками. Но этот мир был навеки закрыт для необразованного галицийского маклера, который знал немногим больше того, чему научился в хедере; и эти поразительные способности могли проявляться лишь в тайных откровениях за мраморным столом кафе «Глюк». Но если когда-нибудь появится великий психолог (наш духовный мир все еще ждет его трудов) и, подобно Бюффону, упорно и терпеливо классифицировавшему породы животных, опишет все разновидности, особенности, первобытные формы и отклонения от них той волшебной силы,

которую мы именуем памятью, ему следовало бы вспомнить о Якобе Менделе, об этом гении библиографии, об этом безвестном корифее букинистической науки.

По профессии и для непосвященных Якоб Мендель был лишь мелким перекупщиком книг. Каждое воскресенье в газетах «*Нейе фрейе пресе*» и «*Нейер винер тагеблат*» появлялись одни и те же стереотипные объявления: «Покупаю старые книги, даю хорошую цену, прихожу на дом по первому вызову. Мендель. Альзер-штрассе», и затем номер телефона – телефона, разумеется, кафе «Глюк». Он рылся в книжных складах, еженедельно с помощью старика посыльного, носившего бороду, как у австрийского императора, перетаскивал добычу в свою главную квартиру и опять уносил оттуда, ибо надлежащего разрешения на книжную торговлю у него не было. Приходилось довольствоваться мелким, грошовым промыслом. Студенты сбывали ему свои учебники, через его руки они совершали путь от старшего курса к младшему; кроме того, он отыскивал книги по заказам и продавал их с незначительной надбавкой: советы свои он ценил дешево. Деньги не играли роли в его мире; всегда его видели в одном и том же потертом сюртуке; утром, днем и вечером он выпивал стакан молока с двумя булочками, скудный обед ему приносили из ближайшего ресторана.

Он не курил, не играл, можно сказать, даже не жил – жили лишь глаза за толстыми стеклами очков, без устали питавшие этот своеобразный мозг словами, заглавиями, именами. И мягкое, плодородное вещество этого мозга жадно впитывало поток сведений, как впитывает луг тысячи и тысячи капель дождя. Люди его не интересовали, из всех человеческих страстей он, быть может, знал только одну – правда, самую человеческую – тщеславие. Если к нему приходил за справкой человек, уставший от бесплодных поисков в сотне разных мест, и Мендель мог сразу же ответить на вопрос, то это давало ему удовлетворение и радость, да еще, быть может, сознание, что в Вене и за ее пределами живут несколько десятков человек, которые уважают его знания и нуждаются в них. В каждом из многолюдных хаотических конгломератов, которые мы именуем столицами, кое-где вкраплены мельчайшие грани, которые отражают один и тот же мир на крошечной плоскости; они скрыты для большинства и дороги только знатоку, только собрату по страсти. И все без исключения любители книг знали Якоба Менделя. Так же как за советом относительно какого-нибудь музыкального произведения отправлялись к Еузебиусу Мандишевскому, в Общество друзей музыки, где он сидел в серой ермолке, с приветливой улыбкой на устах, среди папок и нот и с первого же взгляда легко разрешал труднейшие загадки, так же как и по сей день каждый, кто хочет получить сведения о театральной жизни старой Вены, о ее культуре, неизбежно обратится к всеведущему старику Глосси, так и немногие правоверные венские библиофилы, когда им попадался особенно твердый орешек, не задумываясь, совершали паломничество в кафе «Глюк», к Якобу Менделю. Наблюдать за Менделем во время такой консультации доставляло мне, молодому любопытному человеку, величайшее наслаждение. Обычно, когда ему приносили заурядную книгу, он презрительно захлопывал ее и цедил сквозь зубы: «Две кроны»; но, увидев редкий экземпляр или уникум, он почтительно отодвигался, подкладывал лист бумаги, и видно было, что он стыдится своих грязных, измазанных чернилами пальцев с черными ногтями.

Потом с нежностью, благоговейно перелистывал страницы одну за другой. Никто не мог помешать ему в эти минуты, как нельзя помешать молитве истинно верующего, и в самом деле, это разглядывание, перелистывание, обнюхивание – в отдельности и в совокупности напоминали строгий ритуал религиозного обряда. Горбатая спина двигалась из стороны в сторону, он ворчал, кряхтел, почесывал голову, произносил непонятные звуки, протяжные «а» или «о», выражавшие трепет восторга, за которыми следовали испуганные «ой» или «ойвей», если он наталкивался на вырванную или источенную жучком страницу В заключение он почтительно взвешивал в руке древнюю, переплетенную в кожу книгу и, полузакрыв глаза, вдыхал запах увесистого квадратного тома, словно чувствительная барышня – аромат туберозы. На время этой довольно длительной процедуры владелец книги должен был, конечно, вооружиться тер-

пением. Но, закончив осмотр, Мендель охотно, можно сказать, вдохновенно давал всевозможные справки, к которым неминуемо присоединялись пространные рассказы о забавных, а то и драматических случаях купли-продажи аналогичных экземпляров. В такие мгновения он становился как будто бодрее, моложе, живее, и только одно могло его страшно разгневать – предложение денег за оценку, на что иногда решался какой-нибудь новичок. Тогда он обиженно отстранялся, подобно директору картинной галереи, которому путешественник-американец хочет сунуть в руку чаевые за объяснения; ибо подержать в руках драгоценную книгу значило для Менделя то же, что для другого – свидание с женщиной. Эти мгновения были для него платоническими ночами любви. Только книга имела власть над ним, а не деньги. Поэтому крупные коллекционеры, среди них и основатель Принстаунского университета, тщетно пытались привлечь его в свои библиотеки в качестве советчика и скупщика – Якоб Мендель отказывался; его нельзя было представить себе иначе как только в кафе «Глюк». Тридцать три года тому назад, с еще мягкой черной бородкой и кудрявыми пейсами, он, невзрачный еврейский паренек, прибыл с Востока в Вену, чтобы подготовиться к должности раввина, но вскоре покинул единого сурового Бога Иегову и отдался сверкающему и тысячеликому многобожию книг. В те времена он впервые набрел на кафе «Глюк», и постепенно оно стало его мастерской, его главной квартирой, его почтовым отделением, его миром. Как астроном, который еженощно в своей обсерватории одиноко наблюдает сквозь крохотное круглое отверстие телескопа мириады звезд, их таинственное движение, их перекрещивающиеся пути, их угасание и возгорание, так Якоб Мендель сквозь свои очки, сидя за четырехугольным столом в кафе «Глюк», глядел в другой мир – в мир книг, тоже вечно движущийся и перевоплощающийся, в этот мир над нашим миром.

Его, конечно, очень высоко ценили в кафе «Глюк», слава которого для нас больше связывалась с этой безвестной кафедрой, чем с именем патрона кафе, великого музыканта, творца «Альцесты» и «Ифигении», – Кристофа Виллибальда Глюка. Мендель был там такой же частью инвентаря, как старая касса из вишневого дерева, два латаных-перелатаных бильярда и медный кофейник; его стол охранялся как святыня, ибо персонал кафе всегда радушно приглашал его многочисленных клиентов заказать что-нибудь, и таким образом львиная доля прибыли от его знаний попадала в широкую кожаную сумку, болтавшуюся на бедре обер-кельнера Дейблера. За это Мендель-букинист пользовался различными привилегиями: он свободно распоряжался телефоном, здесь сохраняли его корреспонденцию, выполняли его поручения; старая сердобольная уборщица чистила ему пальто, пришивала пуговицы и относила еженедельно маленький сверток белья в прачечную. Ему одному разрешалось брать обеды в соседнем ресторане, и каждое утро господин Штандгартнер, владелец кафе, подходил к столу Менделя и самолично приветствовал его (правда, большей частью Якоб Мендель, углубленный в свои книги, не замечал этого). Ровно в половине восьмого утра он входил в кафе, и только когда тушили свет, покидал помещение. Он никогда не разговаривал с посетителями, не читал газет, не замечал никаких перемен, и когда господин Штандгартнер однажды вежливо спросил, не лучше ли читать при электрическом свете, чем раньше, при мигающих газовых горелках, он удивленно посмотрел на грушевидные лампочки: он решительно ничего не заметил, хотя шум, стук и беспорядок, вызванные проводкой электричества, длились немало дней. Только сквозь круглые отверстия очков, сквозь эти два блестящих, всасывающих стекла, проникали в его мозг миллиарды черных инфузорий-букв; все остальное проносилось мимо потоком бессмысленных звуков. Больше тридцати лет – другими словами, всю свою сознательную жизнь – он провел за этим четырехугольным столом, читая, сравнивая, вычисляя, и только ночь прерывала на несколько часов этот нескончаемый сон наяву. Поэтому меня неприятно поразило, когда я увидел этот оракулоподобный мраморный стол опустелым, как могильная плита. Только теперь, в более зрелые годы, я понял, как много исчезает с уходом каждого такого человека, – прежде всего потому, что все неповторимое день ото дня становится все драгоценнее в нашем обре-

ченном на однообразии мире. К тому же я очень полюбил Якоба Менделя – хотя, по молодости лет и из-за недостатка опыта, и безотчетно. В его лице я впервые приблизился к великой тайне – что все исключительное и мощное в нашем бытии создается лишь внутренней сосредоточенностью, лишь благородной мономанией, священной одержимостью безумцев. Он показал мне, что непорочная духовная жизнь, самозабвенное служение одной идее, столь же страстное, как у индийских йогов или средневековых монахов, возможно и в наши дни и притом в освещенном электричеством кафе, рядом с телефонной будкой; в лице безвестного, ничтожного букиниста я нашел пример такого служения, гораздо более яркий, чем у наших современных поэтов. И все же я умудрился забыть его; правда, то были годы войны, а я, подобно ему, с головой ушел в свою работу. Но сейчас, увидев опустевший стол, я почувствовал стыд и вместе с тем любопытство.

Куда он исчез, что с ним случилось? Я позвал кельнера и спросил у него. Нет, к сожалению, он такого не знает. Среди завсегдатаев кафе никакого господина Менделя нет. Но, может быть, обер-кельнер знает. Обер-кельнер лениво подошел, выставив вперед солидное брюшко, с минуту подумал – нет, он тоже не припоминает господина Менделя. Но, может быть, я имею в виду господина Менделя, владельца галантерейного магазина на улице Флорианц? Я ощутил горький привкус на губах, привкус тлена: для чего мы живем, если ветер, чуть ступила наша нога, тут же заметает ее след? Тридцать, быть может, даже сорок лет здесь, на пространстве в несколько квадратных метров, говорил, дышал, работал, думал человек; прошло всего три-четыре года, воцарился новый фараон, и уже никто не помнит об Иосифе – никто в кафе «Глюк» не помнит о Якобе Менделе, Менделе-букинисте. Почти с гневом спросил я обер-кельнера, не могу ли я видеть господина Штандгартнера и не остался ли кто-нибудь из старого персонала. Штандгартнер? Бог ты мой, он давным-давно продал кафе и уже умер, а старый обер-кельнер живет в своем именице под Кремсом. Нет, никого не осталось... Впрочем... постойте! Ну конечно, фрау Споршилль, уборщица, еще здесь. Но вряд ли она помнит отдельных посетителей. Однако я решил, что человека, подобного Якобу Менделю, не так-то легко забыть, и попросил вызвать эту женщину.

Она пришла, фрау Споршилль, из своих укромных покоев, седая, растрепанная, тяжело ступая отекающими ногами; на ходу она поспешно вытирала платком красные руки: должно быть, она только что подметала пол или протираала окна. Я сразу заметил, что этот неожиданный вызов был ей неприятен. В нарядном зале, под ярким электрическим светом она чувствовала себя неловко; к тому же простые люди в Вене всегда опасаются подосланных полицией сыщиков, когда к ним обращаются с расспросами. Сперва она бросила на меня взгляд исподлобья, недоверчиво и настороженно. Зачем ее позвали? К добру ли это? Но как только я спросил о Якобе Менделе, она встрепенулась и посмотрела на меня открыто, с радостным изумлением.

– Боже мой, бедный господин Мендель, неужели еще кто-нибудь помнит о нем? Ах, бедный господин Мендель! – Она была растрогана до слез, как все старые люди, когда им напоминают об их юности, о давних забытых друзьях. Я спросил ее, жив ли он.

– Ах, Боже мой, вот уже пять или шесть лет, нет, пожалуй, все семь прошло с тех пор, как умер бедный господин Мендель. Такой славный, хороший человек, и как подумаю, сколько лет я его знала, – больше двадцати пяти, ведь он уже был тут, когда я поступила. А что ему дали так умереть – это просто стыд и срам. – Она совсем разволновалась и спросила меня, не прихожусь ли я ему родственником. Ведь никто никогда не заботился о нем, никто о нем не справлялся – и неужели я не знаю, что с ним приключилось?

Нет, мне ничего не известно, заверил я, и прошу рассказать мне, рассказать все подробно. Но старушка робко и смущенно поглядывала на меня и все вытирала свои мокрые руки. Я понял: ей, уборщице, неловко было стоять посреди кафе с растрепанными седыми волосами, в грязном переднике; к тому же она боязливо озиралась по сторонам, не подслушивает ли кто из кельнеров. Поэтому я предложил ей пройти в бильярдную, на старое место Менделя, и там

рассказать мне все, что она знает о нем. Она дружелюбно кивнула, словно благодаря меня за то, что я понял ее, и пошла вперед неуверенным, старушечьим шагом, я – за ней. Оба кельнера изумленно посмотрели нам вслед, они угадывали какое-то соглашение между нами; да и кое-кто из посетителей не без удивления проводил глазами столь неподходящую пару. И там, за его столом (некоторые подробности я узнал впоследствии из другого источника), она рассказала мне о Якобе Менделе, о гибели Менделя-букиниста.

Так вот. Мендель, когда началась война, по-прежнему приходил каждый день в половине восьмого и сидел здесь, как всегда. И все так же с утра до вечера занимался; все в кафе считали и даже часто между собой говорили, что ему и невдомек, что идет война. Конечно, он ведь никогда не заглядывал в газеты, ни с кем не говорил, а когда газетчики подымали крик и все хватали экстренные выпуски, он никогда не вставал с места и не обращал на них внимания. Он и не заметил, что нет кельнера Франца (его убили под Горлицей) и что сын господина Штандгартнера попал в плен в Перемышле; он никогда не жаловался на то, что хлеб становится все хуже и что вместо молока он получает бурду из фигового кофе. Только раз как-то он сказал, что удивительно мало приходит студентов, – и все. Бог ты мой, бедняга ни о чем никогда не думал, одна радость у него была – книги.

Но вот пришел день, когда случилось несчастье. В одиннадцать часов утра явился жандарм, а с ним агент тайной полиции; он показал значок под отворотом пиджака и спросил, бывает ли здесь Якоб Мендель. И они сразу подошли к столу Менделя, а тот, в простоте своей, сначала подумал, что они хотят продать ему книги или о чем-то справиться. Но они сразу сказали, чтобы он шел за ними, и увели его. Для кафе это был просто скандал – все посетители окружили бедного господина Менделя, а он стоял между теми двумя, сдвинув очки на лоб, и смотрел то на одного, то на другого и не понимал, чего они, собственно, от него хотят. Она же сразу сказала жандарму, что это ошибка, такой человек, как господин Мендель, и мухи не обидит, но агент полиции накричал на нее, чтобы она не смела вмешиваться в его служебные обязанности. Потом его увели, и он долго не приходил, целых два года. Еще и по сегодняшней день она точно не знает, чего они от него хотели.

– Но я присягнуть готова, – взволнованно сказала старушка, – господин Мендель не мог сделать ничего дурного. Они ошиблись, головой ручаюсь. Так поступить с бедным, ни в чем не повинным человеком – это просто преступление!

И она была права, добрая, отзывчивая фрау Спор-шилль. Наш друг Якоб Мендель ничего дурного не совершил (я позже узнал все подробности), он только совершил умопомрачительную, трогательную, даже в то безумное время баснословную глупость, понятную только тому, кто знал этого удивительного человека.

Случилось следующее: военная цензура, обязанная проверять переписку, направляемую за границу, обнаружила открытку, написанную и подписанную неким Якобом Менделем; все правила были соблюдены, и марка – надлежащей стоимости; но – случай совершенно невероятный – она была адресована во вражескую страну; она была адресована Жану Лабурдену, владельцу книжного магазина на набережной Гренель в Париже; некий Якоб Мендель жаловался, что не получил последних восьми номеров ежемесячника «Bulletin bibliographique de la France»¹⁹, несмотря на то что за него уплачено за год вперед. Чиновник военного ведомства, бывший преподаватель гимназии, по внутренней склонности беллетрист, на которого напялили синий мундир ополченца, пришел в изумление, когда в его руки попал этот документ. Глупая шутка, подумал он. Среди двух тысяч писем, которые он еженедельно перлюстрировал, прочитывал, выискивая в них подозрительные обороты и шпионские сведения, он еще ни разу не наталкивался на такую нелепость: чтобы человек преспокойно написал письмо из Австрии во Францию и просто-напросто опустил в почтовый ящик открытку, адресованную во враже-

¹⁹ Библиографический бюллетень Франции» (*фр.*).

скую страну, точно с 1914 года границы не обнесены колючей проволокой и Франция, Германия, Австрия и Россия каждый божий день не сокращают численность своего мужского населения на несколько тысяч человек. Поэтому он сперва положил открытку как курьез в ящик стола, не считая нужным докладывать о такой чепухе. Но несколько недель спустя пришла еще одна открытка, адресованная в книжный магазин Джона Олдриджа, Лондон, Холборн-сквер, с запросом, нельзя ли получить последние номера «Antiquarian»²⁰, и опять на ней стояла подпись того же чудака, Якоба Менделя, который с трогательным простодушием сообщал свой полный адрес. Тут уж преподаватель гимназии вспомнил, что на нем военный мундир. Быть может, за этой дурацкой шуткой кроется какой-нибудь зашифрованный смысл? Чиновник встал, вытянулся в струнку и положил обе открытки на стол майору. Тот пожал плечами: странный случай! Прежде всего он дал знать в полицию и велел удостовериться, существует ли в действительности такой Якоб Мендель, и через час Якоб Мендель был арестован и, еще не опомнившийся от неожиданности, приведен к майору. Майор предъявил ему таинственные открытки и спросил, признает ли он, что является их отправителем. Рассерженный строгим тоном допроса и особенно тем, что его оторвали от чтения нужного каталога, Мендель почти грубо заявил, что, конечно, эти открытки он написал. Надо полагать, что человек имеет право требовать номера журнала, за которые уплачены деньги. Майор повернулся к лейтенанту, сидевшему за соседним столом. Они переглянулись – оба подумали одно и то же: набитый дурак! Потом майор стал раздумывать – прогнать ли простофилю, предварительно выругав, или отнестись к делу серьезнее. При наличии таких колебаний любое ведомство прежде всего прибегает к протоколу. Протокол – это всегда хорошо. Если он и не принесет пользы, то и повредить не может, и к миллионам бессмысленно исписанных листов бумаги прибавится еще один.

В этом случае он повредил бедному, ничего не подозревавшему человеку, ибо уже при третьем вопросе обнаружилось роковое обстоятельство. Прежде всего спросили его имя: Якоб, правильное Янкель, Мендель. Профессия: торговец вразнос (так было сказано в его документе, разрешения на торговлю книгами он не имел). Третий вопрос повлек за собой катастрофу: место рождения. Якоб Мендель назвал местечко около Петрикова. Майор поднял брови. Петриков? Разве это не в русской Польше, близ границы? Подозрительно! Очень подозрительно! И уже более строгим тоном майор спросил, когда Мендель принял австрийское подданство. Очки Менделя с недоумением уставились на майора: он не понимал, чего от него хотят. Где, черт возьми, его бумаги, документы? У него нет никаких документов, кроме удостоверения, что он торговец вразнос. Брови майора поднялись еще выше. Пусть он наконец объяснит толком, какого он подданства! Отец его – австриец или русский? Мендель, не моргнув, ответил: конечно, русский. А он? О, он уже тридцать три года тому назад перебрался через границу, чтобы не отбывать воинскую повинность, и с тех пор живет в Вене. Майор еще больше настоужился. А когда он стал австрийским подданным? «Зачем?» – спросил Мендель. Он никогда не интересовался такими вещами. Значит, он и сейчас еще русский подданный? И Мендель, которому эти пустые расспросы уже давно надоели, равнодушно ответил: «Собственно говоря, да».

Майор с испугу так резко откинулся на спинку кресла, что оно затрещало. И это возможно? В Вене, в столице Австрии, в разгар войны, в конце 1915 года, после Тарнова и большого наступления, как ни в чем не бывало разгуливает русский, пишет письма во Францию и Англию, а полиции и дела нет. И после этого газеты выражают удивление, что Конрад фон Гетцендорф не добрался сразу до Варшавы, а в генеральном штабе изумляются, что каждое передвижение войск становится известно России. Лейтенант тоже встал и подошел к столу; разговор быстро превратился в допрос. Почему он сразу не заявил о себе как об иностранце? Мендель, все еще ничего не подозревая, ответил нараспев с еврейским акцентом: «И зачем мне

²⁰ «Антиквар» (англ.).

было вдруг заявлять о себе?» В этом ответе вопросом на вопрос майор усмотрел вызов и угрожающе спросил, читал ли он предписание об этом. Нет! Может быть, он и газет не читает? Нет!

Оба чиновника уставились на слегка встревоженного Якоба Менделя, словно луна свалилась с неба прямо в их канцелярию. И вот затрещал телефон, застучали пишущие машинки, забегали ординарцы, и Якоб Мендель был передан в гарнизонную тюрьму, с тем чтобы со следующей партией отправиться в концентрационный лагерь. Когда ему приказали следовать за двумя солдатами, он растерянно оглянулся. Он не понимал, чего от него требуют, но особенно не беспокоился. Что дурного мог замыслить против него этот человек в шитом золотом воротнике, с грубым голосом? В его высшем мире, мире книг, не было войны, не было недоразумений, лишь вечное познание и стремление ко все большему и большему познанию чисел и слов, имен и заглавий. И он безропотно поплелся между двумя солдатами вниз по лестнице. Только когда в полицейском участке вытащили все книги из карманов его пальто и потребовали бумажник, набитый сотней нужных записок и адресами клиентов, он начал яростно обороняться. Пришлось его усмирить. Но, увы! При этом упали на пол его очки, и магический телескоп, открывавший ему духовный мир, разбился вдребезги. Два дня спустя его отправили в легком летнем пальтишке в концентрационный лагерь для русских гражданских лиц близ Коморна.

Какие нравственные мытарства претерпел за эти два года, проведенные в концентрационном лагере, Якоб Мендель, лишенный своих возлюбленных книг, среди равнодушной, грубой, большей частью неграмотной толпы, в этом огромном человеческом загоне, какие страдания он вынес, вырванный из высшего и единственного для него мира книг, как орел с подрезанными крыльями из своей стихии, – об этом нет никаких свидетельств. Но мир, отрезвившись от безумия, постепенно начинает понимать, что из всех жестокостей и преступлений этой войны самым бессмысленным, ненужным и потому морально ничем не оправданным было содержание за колючей проволокой ни в чем не повинных людей, давно вышедших из призывного возраста, живших много лет в чужой стране и слепо веривших в священный закон гостеприимства, соблюдаемый даже тунгусами и арауканами, и потому своевременно не бежавших; это преступление против цивилизации с равной бессмысленностью совершалось во Франции, Германии и Англии – на каждом клочке земли потерявшей рассудок Европы. И, может быть, Якоб Мендель в числе многих сотен невинных жертв сошел бы с ума, погиб от дизентерии, упадка сил или душевных потрясений, если бы в последнюю минуту чистая случайность, весьма характерная для Австрии, не вернула Менделя в его мир. Дело в том, что после его исчезновения приходили адресованные ему письма от знатных клиентов: граф Шенберг, бывший наместник Штейрмарка, страстный коллекционер геральдической литературы, бывший декан богословского факультета Зигенфельд, трудившийся над комментариями к Августину, восьмидесятилетний адмирал в отставке Эдлер фон Пизек, все еще дорабатывающий свои мемуары, – все они, его верные клиенты, писали к нему в кафе «Глюк»; некоторые из этих писем были пересланы исчезнувшему букинисту в концентрационный лагерь. Там они попали в руки полковника, случайно пребывавшего в хорошем настроении; он удивился знакомству столь знатных людей с этим маленьким полуслепым, грязным евреем, который, с тех пор как лишился очков (у него не было денег на покупку новых), словно крот, молча сидел в своем углу Тот, у кого такие связи, вероятно, не совсем обыкновенный человек! Полковник разрешил Менделю ответить на письма и обратиться к своим покровителям за помощью. Они не замедлили оказать ее. С обычной для коллекционеров горячей солидарностью их превосходительства и декан использовали свои связи и совместной поручкой добились того, что Мендель-букинист в 1917 году, после двухлетнего с лишним заключения, вернулся в Вену, правда, с условием ежедневной явки в полицию. Но все же он был на свободе, в своей прежней тесной, ветхой мансарде, мог любоваться выставленными в витринах книгами и, главное, мог вернуться в кафе «Глюк».

О возвращении Менделя из преисподней в кафе фрау Споршилль рассказала мне по собственным воспоминаниям.

– В один прекрасный день – Иисус Мария, я глазам своим не поверила – отворяется дверь, только на шелочку – лишь бы просунуться, он ведь всегда так делал, – и входит наш бедный господин Мендель. На нем была солдатская шинель, вся в заплатках, а на голове и не поймешь что, может, когда-то это была шляпа, да валялась на помойке. Без воротничка, сам точно мертвец, лицо серое, весь седой и такой худющий – глядеть жалко. Но он входит, будто ничего не случилось, ни о чем не спрашивает, ничего не говорит, идет прямо к столу, снимает пальто, но уж не так легко и проворно, как раньше, а трудно этак дышит. И ни одной книги он не принес с собой, как бывало прежде, а просто садится и сидит, ни слова не говоря, только смотрит перед собой совсем пустыми, потухшими глазами. Уже потом, когда мы ему принесли целый ворох бумаг, пришедших для него из Германии, он стал опять читать. Но он был уже не тот, не прежний.

Нет, он был не прежний, не был тем *Miraculum mundi*, волшебным всесветным механизмом, регистрирующим книги: все, видевшие его в то время, с грустью это подтвердили. Казалось, что-то навеки изменилось в его обычно тихом, словно дремлющем взоре, устремленном в книгу; что-то было разрушено: видимо, страшная кровавая комета в своем бешеном беге не пощадила и скромного мирного светила его книжной вселенной. Глаза, десятки лет взиравшие на нежные, безмолвные, похожие на лапки насекомых печатные буквы, увидели, должно быть, много ужасного в обнесенном колючей проволокой человеческом загоне, ибо веки тяжело нависли над ними; некогда насмешливые, а теперь тусклые, воспаленные, они прятались за плохо связанными тонким шпагатом очками. И что хуже всего: в совершенном здании его памяти рухнул, очевидно, один из контрфорсов, и все строение пошатнулось; ибо наш мозг, этот созданный из нежнейшего вещества механизм, этот тончайший точный прибор нашего познания, так хрупок, так сложен, что достаточно задетого сосудика, одного потревоженного нерва, переутомленной клетки, малейшего изменения какой-нибудь молекулы, чтобы нарушить высшую всеобъемлющую гармонию человеческого ума. И в памяти Менделя, в этой единственной в своем роде клавиатуре знаний, теперь, после его возвращения, западали клавиши. Если время от времени кто-нибудь приходил за справкой, он усталым взором всматривался в посетителя и не сразу понимал; он плохо слушал, забывал, о чем его спрашивают. Мендель уже не был прежним Менделем, как мир – прежним миром. Исчезла былая сосредоточенность; он больше не раскачивался, читая, а сидел неподвижно, машинально уткнувшись в книгу очками. Голова его, рассказывала фрау Споршилль, тяжело опускалась на книгу, и он засыпал среди бела дня; иногда часами глядел на непривычный свет вонючей ацетиленовой лампы, которую ставили ему на стол, – из-за нехватки угля электростанция не работала. Нет, Мендель не был уже прежним Менделем, чудом из чудес, а всего лишь никому не нужным комом бороды и платья, застрявшим на столе, некогда бывшем треножником пифии. Он уже был не красой и гордостью кафе «Глюк», а его позором, грязным пятном, обузой, дурно пахнущим, всем мешающим нахлебником.

Таким считал его и новый владелец кафе, Флориан Гуртнер из Ретца, разбогатевший в голодный 1919 год на спекуляциях мукой и маслом и уговоривший добродушного Штандгартнера продать ему кафе «Глюк» за восемьдесят тысяч быстро обесценивающихся бумажных крон. Он взялся за дело крепкими руками крестьянина, поспешно переделал старинное почтенное кафе на более модный лад, в удачно выбранный момент приобрел за обесцененные бумажки новые кресла, отделал мрамором вход и начал переговоры о найме соседнего помещения, чтобы соорудить эстраду для оркестра. При этом спешном переустройстве ему, конечно, сильно мешал выходец из Галиции, один занимавший с раннего утра до позднего вечера целый стол и за все время выпивавший только две чашки кофе с пятью булочками. Штандгартнер, правда, обратил особое внимание нового владельца на этого завсегдатая кафе и пытался объ-

яснить, какой замечательный человек Якоб Мендель, – он его передал, так сказать, вместе с инвентарем, как некое обязательство, лежащее на заведении. Однако Флориан Гуртнер заодно с новой мебелью и блестящей алюминиевой кассой обзавелся и крепкой совестью времен легкой наживы; он ждал только предложения, чтобы вымести этот последний остаток провинциального убожества из своего столичного кафе. Подходящий случай вскоре подвернулся, ибо Якобу Менделю жилось плохо. Его последние сбережения перемолола бумажная мельница инфляции, своих клиентов он растерял. Таскаться по лестницам, скупать и перепродавать книги было уже не по силам старому Менделю. Туго ему приходилось, об этом говорила сотня признаков. Лишь изредка посылал он за обедом в ресторан и даже небольшую сумму за кофе и хлеб оставался должен, – однажды он задержал плату на три недели. Уже тогда обер-кельнер собирался его выставить, но сердобольная фрау Споршиль пожалела Менделя и поручилась за него.

А в следующем месяце разразилась катастрофа. Уже несколько раз новый обер-кельнер замечал, что при подсчете булок цифры не сходятся. Каждый раз булок оказывалось меньше, чем было заказано и оплачено. Разумеется, подозрение пало на Менделя, ибо уже не раз приходил старик посыльный и жаловался, что Мендель должен ему деньги за полгода и не платит ни одного геллера. Обер-кельнер стал зорко следить за ним, и спустя два дня ему удалось, спрятавшись за каминный экран, подглядеть, как Якоб Мендель встал со своего места, крадучись, перешел в первую комнату, быстро выхватил из корзины две булочки и начал жадно поглощать их. Расплачиваясь за кофе, он уверял, что булок не ел. Все было ясно. Кельнер сейчас же доложил о происшествии господину Гуртнеру, и тот, обрадовавшись случаю, накричал на Менделя в присутствии всех посетителей, обвинил его в краже и еще хвалился тем, что не посылает за полицией. Но он велел Менделю сейчас же убираться к черту и больше не появляться здесь. Якоб Мендель выслушал это молча, дрожа всем телом, поднялся со своего места и ушел.

– Просто страх! – говорила фрау Споршиль, описывая его изгнание. – Никогда не забуду, как он встал, сдвинул очки на лоб, а сам бледный как полотно. И пальто даже не надел, а на дворе январь, – вы помните небось, какие холода стояли. И книгу свою он забыл на столе с перепугу. Я как увидела, хотела бежать за ним, но он уже вышел. Пойти за ним на улицу я не посмела, потому что в дверях стоял господин Гуртнер и так ругался, что люди останавливались. Стыд и срам! Я прямо сгорела со стыда! Никогда бы такого не было при старом хозяине; господин Штандгартнер ни за что бы не выгнал человека из-за каких-то булок, у него Мендель мог бы даром кормиться до самой смерти. Но у нынешних людей нет сердца. Прогнать беднягу с места, где он просидел тридцать с лишком лет изо дня в день, – это уж такой срам, такой грех! Не хотела бы я за это отвечать перед Господом Богом, нет, не хотела бы.

Добрая старушка разгорячилась и со свойственным старости многословием все твердила о том, какой это грех и что никогда бы господин Штандгартнер так не сделал. В конце концов я прервал ее вопросом, что же случилось с нашим Менделем и довелось ли ей еще увидеть его. Тут она встрепенулась и продолжала свой рассказ:

– Верите ли, как иду мимо его стола, так меня словно по сердцу полоснет. Все думаю, где ж он теперь, бедный господин Мендель, и если бы я только знала, где он живет, я бы снесла ему поесть чего-нибудь горячего: откуда было ему взять денег на топку и на еду? Родных у него, должно быть, никого не было. Ну, время-то идет, а о нем ни слуху ни духу, и я стала думать, что, видно, его нет уже и в живых и не увижу я его больше. И даже подумываю, не надо ли отслужить панихиду по нему; ведь такой он был хороший человек, и знала я его больше двадцати пяти лет.

Но вот как-то в феврале месяце, в половине восьмого утра, я только взялась чистить медные затворы на окнах – вдруг (я думала, меня хватит удар) открывается дверь, и входит Мендель. Вы ведь знаете, он всегда боком протискивался в дверь, робко этак, но уж тут – и не поймешь как. Я замечаю, что-то с ним неладно, глаза у него горят, а сам-то, Господи Боже мой, – одни кости да борода! Гляжу я на него, вижу, что он вроде не в себе, и вдруг поняла: да он

ничего не чувствует, бродит среди бела дня как во сне, он все забыл – и про булки, и про господина Гуртнера, и как выгоняли – он себя не помнит. Господина Гуртнера, слава Богу, еще не было, а обер-кельнер пил кофе. Я подбежала к Менделю, хочу ему сказать, чтобы он не оставался здесь, не то этот грубиян опять выгонит его (тут она, опасливо оглянувшись, поправилась), я хотела сказать – господин Гуртнер. «Господин Мендель!» – окликнула я его. Он взглянул на меня и тут, – Боже мой, если б вы видели, – тут он, должно быть, сразу все припомнил; он вздрогнул и затрясся; не только руки дрожали, он трясся весь, всем телом; повернулся и пошел прочь, а у дверей и свалился. Мы вызвали по телефону «Скорую помощь», и его увезли. Он был в лихорадке, а вечером скончался: доктор сказал, от воспаления легких, и еще он сказал, что, может, он уже был в беспамятстве, когда приходил к нам. Он пришел и сам не зная как, словно во сне. Не шутка тридцать шесть лет изо дня в день сидеть за одним и тем же столом: этот стол и был ему домом.

Мы долго еще говорили о нем, мы, последние из знавших этого странного человека; несмотря на свое микроскопически мелкое существование, он дал мне, неопытному юнцу, первое понятие о жизни, всецело замкнувшейся в духе, а для нее, бедной, задавленной тяжелым трудом уборщицы, не прочитавшей на своем веку ни одной книги, он был только товарищем по несчастью, таким же, как она, бедняком, которому она двадцать пять лет чистила пальто и пришивала пуговицы. И все же мы отлично понимали друг друга здесь, за его старым покинутым столом, сообщая вызывая в нашей памяти его облик; ибо воспоминания всегда объединяют, и вдвойне – воспоминания, проникнутые любовью. Но вдруг старушка спохватилась:

– Господи, что же это я! Книга-то, что он тогда оставил на столе, ведь она и сейчас у меня. Я же не знала, куда ему отнести ее. А после, как за ней никто не приходил, я и подумала: оставлю я ее себе на память. Дурного в этом нет, правда? – Она торопливо вышла и принесла мне книгу. Я с трудом подавил улыбку; как охотно вечно игривая, нередко насмешливая судьба не без злости примешивает к жизненным драмам комический элемент. То был второй том «*Bibliotheca Germanorum erotica et curiosa*»²¹ Гайна, хорошо известный каждому библиофилу справочник по галантной литературе. Как раз этот скабресный перечень – *habent sua fata libelli*²² – оказался последним заветом, переданным покойным магом и волшебником в натруженные, красные, неискушенные руки, никогда, вероятно, не державшие ни одной книги, кроме молитвенника. Я плотно сжимал губы, силясь подавить невольную улыбку, и мое минутное молчание смутило честную женщину. Может быть, это что-нибудь очень дорогое, или все-таки можно оставить себе?

Я крепко пожал ей руку: «Оставьте ее себе, наш старый друг Мендель порадовался бы, если бы узнал, что среди тысяч людей, обязанных ему нужной книгой, есть хоть один, сохранивший о нем память».

Я ушел из кафе, и мне было стыдно перед этой доброй старой женщиной, которая в простоте души, но с истинной человечностью сохранила верность покойному. Ибо она, неграмотная, хоть сберегла книгу, чтобы чаще вспоминать о нем, я же годами не помнил о Менделе-букинисте, я, который должен бы знать, что книги пишутся только ради того, чтобы и за пределами своей жизни остаться близкими людям и тем оградить себя от неумолимого врага всего живущего – тлена и забвения.

²¹ «Библиотека немецкой эротической и занимательной литературы» (лат.).

²² Книги имеют свою судьбу (лат.).

Письмо незнакомки

Когда известный романист Р. после трехдневной экскурсии в горы возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. Сорок первый – быстро сообразил он, и этот факт не доставил ему ни радости, ни боли. Бегло просмотрел он шелестящие страницы газеты и поехал в такси к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителей и о нескольких телефонных звонках и передал на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво вскрыл пару конвертов, интересных для него благодаря их отправителям; письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. В это время подали чай, Р. удобно уселся в кресле и пробежал еще раз газету и несколько печатных уведомлений; после этого он закурил сигару и взялся за отложенное письмо.

В нем было около тридцати страниц, торопливо исписанных неровным незнакомым женским почерком, – скорее рукопись, чем письмо. Он невольно еще раз ощупал конверт, не осталась ли там какая-нибудь сопроводительная записка. Но конверт оказался пустым, и на нем, так же как и на самом письме, не было ни адреса отправителя, ни подписи. «Странно», – подумал он и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня», – гласило вверху обращение или заголовок. Он остановился в удивлении... К нему ли это относилось или к какому-то вымышленному человеку? В нем сразу проснулось любопытство. И он начал читать.

Мой ребенок вчера умер, – три дня и три ночи боролась я со смертью за маленькую, хрупкую жизнь; сорок часов грипп сотрясал лихорадкой его бедное горячее тельце, и я не отходила от его постели. Я клала холодные компрессы на его пылавший лобик, днем и ночью держала в своих руках его беспокойные маленькие ручки. На третий вечер я свалилась сама. Мои глаза не выдержали и закрылись помимо моей воли. Три или четыре часа проспала я, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый, бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я его увидела после смерти; только глаза ему закрыли, его умные темные глазки, сложили ему ручки на белой рубашке, и четыре свечи горят высоко по четырем углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что, когда вспыхивают свечи, тени пробегают по его личику и закрытому рту, и тогда кажется, что его черты шевелятся, и я готова поверить, что он не умер, что он проснется вновь и своим звонким голоском скажет мне что-нибудь наивное и нежное. Но я знаю, он умер, я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать еще раз надежды, не испытать еще раз разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер, – теперь у меня только ты на всем свете, только ты, ничего не знающий обо мне, веселящийся в это время или забавляющий себя вещами и людьми. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила.

Я взяла пятую свечу и поставила ее на стол, где я тебе пишу. Я не могу быть одна с моим мертвым ребенком, не выплавав свою душу, а с кем же мне говорить в этот ужасный час, как не с тобой, который для меня был всем и есть все! Я, может быть, не смогу говорить с тобой вполне ясно, может быть, ты не поймешь меня, – голова моя отупела, в висках стучит, и такая боль во всем теле. Я думаю, у меня жар, может быть, тоже грипп, который теперь крадется от двери к двери, и это было бы хорошо, потому что тогда я пошла бы за своим ребенком и не должна была бы ничего больше делать. Иногда у меня совершенно темнеет в глазах, я, может быть, не смогу даже дописать до конца это письмо, но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не узнававший меня.

С тобой одним хочу я говорить, в первый раз сказать тебе все; ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, но о которой ты ничего не знал. Однако ты узнаешь мою тайну только тогда, когда тебе не придется отвечать мне, – если то, что сейчас жаром и холодом потря-

сает мое тело, есть действительно конец. Если мне суждено жить еще, я разорву это письмо и буду опять молчать, как молчала всегда. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем мертвая рассказывает тебе свою жизнь, свою жизнь, которая была твоей от ее первого до ее последнего сознательного часа. Не пугайся моих слов, – мертвая ничего не хочет, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя: чтобы ты поверил всему, что поведает тебе моя стремящаяся к тебе тоска. Поверь мне, только об этом одном прошу я тебя: никто не станет лгать в час смерти единственного ребенка.

Я поведаю тебе всю мою жизнь, эту жизнь, поистине начавшуюся только в тот день, когда я тебя узнала. До того было что-то тусклое и смутное, куда мое воспоминание никогда не спускалось, какой-то погреб, полный запыленных, затканых паутиной вещей и людей, о которых мое сердце ничего больше не знает. Когда ты явился, мне было тринадцать лет, и я жила в том же доме, где ты теперь живешь, в том самом доме, где ты держишь в руках это письмо, этот последний вздох моей жизни; я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас, вдову скромного чиновника (она всегда ходила в трауре) и худенького подростка, – мы ведь всегда держались незаметно, словно придавленные нашим мещанским убожеством. Ты, может быть, никогда и не слышал нашего имени, потому что у нас не было дощечки на входных дверях и никто никогда не приходил и не спрашивал нас. Так давно это было, пятнадцать, шестнадцать лет тому назад, нет, ты, наверное, не помнишь этого, мой любимый; но я – о, я жадно вспоминаю каждую мелочь, я помню, словно это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя; и как могла бы я не помнить этого, если тогда для меня открылся мир. Позволь, любимый, рассказать тебе все с самого начала, и пусть тебя не утомит четверть часа послушать обо мне, не устававшей всю жизнь любить тебя.

Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые жильцы. Они были бедны и ненавидели бедность в своих соседях, в нас, потому что наша бедность не имела ничего общего с их грубостью опустившихся людей. Он был пьяницей и бил свою жену; мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок; раз она выбежала, избитая в кровь, простоволосая, на лестницу; пьяный с криком преследовал ее, пока из других квартир не выскочили люди и не пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с ними и запретила мне разговаривать с их детьми, которые мстили мне за это при всяком удобном случае. Встречая меня на улице, они кричали всякие гадости мне вслед, а однажды закидали меня такими твердыми снежками, что разбили мне лоб до крови. Весь дом единодушно и инстинктивно ненавидел этих людей, и когда вдруг что-то случилось, – кажется, мужа посадили за кражу в тюрьму, – и она со своей рухлядью должна была выехать, мы все облегченно вздохнули. Пару дней на воротах висело объявление о сдаче помещения, потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что какой-то писатель, одинокий, спокойный господин, снял квартиру. Тогда я в первый раз услышала твое имя.

Через два-три дня пришли маляры, штукатуры, столяры, обойщики, чтобы освободить квартиру от следов пребывания ее неопрятных обитателей. Они начали стучать молотками, чистить, мести, скрести, но мать только радовалась, говоря, что теперь настанет конец этим безобразиям в соседней квартире. Тебя самого мне, во время переезда, еще не пришлось увидеть, за всеми работами присматривал твой слуга, этот маленький степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распорядившийся тихо и деловито. Он сильно импонировал нам всем, во-первых, потому, что камердинер у нас в предместье был совершенно новым явлением, а еще потому, что он был со всеми так необычайно вежлив, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в товарищеские разговоры.

Моей матери он с первого же дня кланялся почтительно, как даме, и даже ко мне, девочке, относился приветливо и серьезно. Твое имя он произносил всегда с каким-то особен-

ным уважением, почти с благоговением, и сразу видно было, что он, помимо службы, чрезвычайно привязан к тебе. И как я его за это любила, славного старого Иоганна, хотя и завидовала ему в том, что он всегда может быть возле тебя и служить тебе!

Я для того рассказываю тебе все это, любимый мой, все эти маленькие, почти смешные вещи, чтобы ты понял, каким образом ты смог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребенком, каким я была. Еще раньше, чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя уже создался какой-то нимб, ореол богатства, необычайности и тайны, – все мы в этом маленьком домике в предместье нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты знаешь, как развито любопытство у людей, живущих мелкими, узкими интересами. И как поднялось во мне это любопытство к тебе, когда однажды, после обеда, я возвращалась из школы домой и перед домом стоял фургон с мебелью. Большую часть тяжелых вещей носильщики уже подняли наверх, теперь же переносили отдельные, более мелкие предметы. Я осталась стоять у двери, чтобы все это видеть, потому что все твои вещи казались мне чрезвычайно странными; я таких никогда не видела: тут были индийские божки, итальянские статуэтки, огромные, удивительно яркие картины и, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я не верила своим глазам. Их сложили стопками у двери, там принял их слуга и заботливо обмахнул метелкой каждую из них. Охваченная любопытством, бродила я вокруг все растущей груды, слуга не отгонял меня, но и не поощрял; поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге, хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу переплетов. Я только робко рассматривала заголовки на корешках – тут были французские, английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я думаю, я часами любовалась бы ими, но меня позвала мать.

И вот весь вечер я думала о тебе, еще не зная тебя. У меня самой был только десяток дешевых, переплетенных в истрепанную папку книг, которые я все очень любила и вечно перечитывала. Меня мучила мысль, каким должен быть человек, который прочел столько прекрасных книг, который знал все эти языки и был так богат и в то же время так образован. Все эти книги внушали мне какое-то необъяснимое благоговение. Я старалась мысленно создать твой портрет; ты был старым человеком, в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но уже тогда, когда ты представлялся мне стариком, я была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, еще не зная тебя, я в первый раз мечтала о тебе.

На следующий день ты переехал, но сколько я ни подглядывала, мне не удалось увидеть тебя, и это еще больше возбуждало мое любопытство. Наконец на третий день я увидела тебя; и как я была потрясена неожиданностью, когда ты оказался совсем другим, не имеющим ничего общего с образом «старого бога», созданным моим детским воображением. Я грезила о добродушном старце в очках, и вот явился ты – ты, совершенно такой же, как сегодня, ты, не меняющийся, мимо которого бесследно скользят годы! На тебе был прелестный светло-коричневый спортивный костюм, и ты своей удивительно легкой, юношеской походкой взбегал по лестнице, прыгая через две ступеньки. Шляпу ты держал в руке, и я была неописуемо поражена, увидев твое юное, живое лицо и светлые волосы. Я прямо испугалась, до того я была ошеломлена, увидев тебя таким юным, красивым, таким стройным и элегантным. И разве это не странно: в этот первый миг я сразу ясно ощутила то, что меня и всех других всегда так поражало в тебе, – что у тебя какая-то двойственная душа: ты – горячий, легкомысленный, преданный игре и приключениям юноша и в то же время в области своего искусства – неумолимо строгий, верный своему долгу, бесконечно начитанный и образованный человек. Я бессознательно почувствовала, что ты ведешь какую-то двойную жизнь, жизнь со светлой, обращенной к внешнему миру стороной, и другую – темную, которую знаешь только ты один; это глубочайшее раздвоение, эту тайну твоего бытия я, тринадцатилетняя, магически притягиваемая к тебе, ощутила с первого взгляда.

Понял ли ты теперь, любимый, каким чудом, какой заманчивой загадкой ты был для меня, бедного ребенка! Человек, перед которым преклонялись, потому что он писал книги, потому что он был знаменит в другом, огромном мире, вдруг оказался молодым, элегантным, юношески веселым, двадцатипятилетним человеком! Нужно ли мне еще говорить о том, что с этого дня в нашем доме, во всем моем бедном детском мирке меня ничто больше не интересовало, кроме тебя, что я со всей настойчивостью, со всем цепким упорством тринадцатилетней девочки думала только о твоей жизни, о твоём существовании. Я наблюдала за тобой, наблюдала за твоими привычками, наблюдала за приходившими к тебе людьми, и все это только увеличивало мое любопытство к тебе самому, вместо того чтобы его уменьшать, потому что вся двойственность твоего существа отражалась в разнородности этих посещений. Приходили молодые люди, твои товарищи, с которыми ты смеялся и бывал весел; приходили оборванные студенты; а то подъезжали в автомобилях дамы; раз я видела директора оперы, видела знаменитого дирижера, которым издали восхищалась в театре; бывали маленькие девочки, еще ходившие в коммерческую школу и спешившие смущенно юркнуть в дверь, – вообще много, очень много женщин. Я особенно над этим не задумывалась, даже тогда, когда однажды утром, отправляясь в школу, увидела уходившую от тебя под густой вуалью даму. Мне ведь было только тринадцать лет, и я не знала, что страстное любопытство, с которым я подкарауливала и подстерегала тебя, означало уже любовь. Но я, мой любимый, знаю совершенно точно день и час, когда я всей душой и навек отдалась тебе. Я гуляла со школьной подругой, и мы, болтая, стояли у ворот. В это время подъехал автомобиль, остановился, и в тот же миг ты порывисто и легко выпрыгнул из него и готов был уже войти в дом. Невольно мне захотелось открыть тебе дверь, я сделала шаг, и мы чуть не столкнулись. Ты взглянул на меня теплым, мягким, окутывающим взглядом, похожим на ласку, улыбнулся мне, да, именно ласково, улыбнулся мне и сказал тихим и почти дружеским голосом: «Большое спасибо, фрейлейн».

Вот и все, любимый; но с этой минуты, с тех пор как я почувствовала на себе этот мягкий, нежный взгляд, я была твоя. Позже, и даже скоро, я узнала, что ты даришь этот охватывающий, притягивающий к тебе, окутывающий и в то же время раздевающий взгляд, этот взгляд прирожденного соблазнителя каждой женщине, проходящей мимо тебя, каждой продавщице в лавке, каждой горничной, открывающей тебе дверь, – узнала, что этот взгляд не зависит у тебя от воли и склонности, но что твое ласковое отношение к женщинам делает твой взгляд совершенно бессознательно мягким и теплым, когда ты его обращаешь на них. Но я, тринадцатилетний ребенок, этого не подозревала, я была вся охвачена огнем. Я думала, что эта ласка только для меня, для меня одной, и в этот миг во мне проснулась женщина, полусозревшая женщина, и она навек стала твоей.

– Кто это? – спросила меня подруга.

Я не могла ей сразу ответить. Я не могла заставить себя произнести твое имя: в этот миг оно уже было для меня священным, оно стало моей тайной.

– Ах, какой-то господин, живущий здесь в доме, – неловко пробормотала я.

– Почему же ты так покраснела? – дразнила меня подруга.

И именно потому, что кто-то посмел издеваться над моей тайной, кровь еще горячее прилила к моим щекам. Я была смущена и ответила грубостью.

– Дура набитая! – сердито отозвалась я. Я готова была ее задушить. Но она расхохоталась еще громче и насмешливее, и я почувствовала, что слезы бессильного гнева наполняют мои глаза. Я оставила ее и убежала наверх.

С этого мгновения я полюбила тебя. Я знаю, женщины часто говорили тебе, избалованному, это слово. Но поверь мне, никто не любил тебя так рабски, с такой собачьей преданностью, с такой самоотверженностью, как то существо, которым я была и которым навсегда осталась для тебя, потому что ничто на земле не сравнится с незаметной любовью ребенка, такой безнадежной, всегда готовой к услугам, такой покорной, чуткой и страстной, какой никогда

не бывает исполненная желаний и бессознательных требований любовь взрослой женщины. Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть, другие выбалтывают свое чувство товарищам, треплют его, поверяя своим друзьям, – они много слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они играют ею, как игрушкой, хвастают ею, как мальчики своей первой папиросой. Но я – у меня не было никого, кому я могла довериться, никто не наставлял и не предостерегал меня, – я была неопытна и наивна; я бросилась в свою судьбу, как в пропасть. Все, что во мне росло и распускалось, я поверяла тебе, вызывая в мечтах твой образ; отец мой давно умер, от матери, с ее постоянной озабоченностью женщины, живущей на пенсию, я была далека, испорченные школьные подружки отталкивали меня, легкомысленно играя тем, что было для меня высшей страстью, – и я бросила к твоим ногам все, что обычно раздробляют и делят, все свои подавляемые и каждый раз заново нетерпеливо пробивающиеся чувства. Ты был для меня, – как объяснить тебе? Каждое сравнение в отдельности слишком мало, – ты был именно всем, всей моей жизнью. Все существовало лишь постольку, поскольку оно имело отношение к тебе, все в моем существовании лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой, я читала тысячи книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, как ты любишь книги; к удивлению матери, я вдруг начала с невероятным упорством упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой, и предметом моего непрерывного огорчения была четырехугольная заплатка на моем старом школьном переднике, перекроенном из домашнего платья матери. Я боялась, что ты можешь заметить эту заплатку и станешь меня презирать. Поэтому я, взбегаю по лестнице, всегда прижимала к этому месту сумку с книгами и все боялась, как бы ты все-таки не заметил этот изъян. Но как это было глупо: ты никогда, почти никогда больше на меня не смотрел.

И все же я весь день только и делала, что ждала тебя, подкарауливала тебя. На нашей двери был маленький медный глазок, сквозь круглый вырез которого можно было видеть твою дверь. Это отверстие – нет, нет, не смейся, любимый, даже теперь, даже теперь я не стыжусь тех часов! – было моим глазом в мир, там, в ледяной передней, боясь, как бы не рассердить мать, я просиживала в засаде, с книгой в руке, чуть не целыми днями, как натянутая и звучащая при твоём приближении струна. Я всегда была полна тобой, всегда в напряжении и возбуждении; но тебе было так же трудно заметить это, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане и которые терпеливо считают и отмеряют во тьме твои дни и сопровождают тебя на твоём пути неслышными ударами сердца; ведь ты лишь раз за миллионы отстукиваемых секунд бросаешь на них свой беглый взгляд. Я знала о тебе все, знала все твои привычки, все твои галстуки, все твои костюмы, я знала и скоро научилась отличать отдельных твоих знакомых и разделяла их на таких, которые мне нравились, и таких, которые были мне неприятны. С тринадцати до шестнадцати лет я каждый час жила тобой. Ах, сколько глупостей я выделывала! Я целовала ручку двери, к которой прикасалась твоя рука, я стащила окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе, и он был для меня священным, потому что к нему прикасались твои губы. Сотни раз, по вечерам, я под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в каких комнатах горит у тебя свет, и таким образом лучше ощутить твое невидимое присутствие. А в те недели, когда ты уезжал, – у меня сердце останавливалось всегда от страха, когда я видела старого Иоганна, идущего вниз с твоим желтым чемоданом, – в эти недели моя жизнь замирала и теряла всякий смысл. Мрачная, скужающая, раздражительная, ходила я по дому и должна была следить за тем, чтобы мать по моим заплаканным глазам не отгадала моего отчаяния.

Я знаю, что все это смешные преувеличения чувств и детские выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я их не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем во время этих детских эксцессов. Целыми часами, целыми днями могла бы

я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не зная твоего лица, потому что при встрече с тобой на лестнице я, боясь твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, как человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы восстановить каждый день твоей жизни; но я не хочу нагонять на тебя тоску, не хочу мучить тебя. Я только хочу рассказать тебе о прекраснейшем переживании моего детства и прошу тебя не смеяться, что оно так ничтожно, потому что для меня, ребенка, оно означало необыкновенно много. Это было, вероятно, в один из воскресных дней, ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квартиры только что выколоченные им тяжелые ковры. Старику было тяжело, и я, внезапно набравшись храбрости, подошла к нему и спросила: не могу ли я ему помочь? Он удивился, но не стал возражать, и таким образом я увидела – могу ли я высказать тебе, какое мной овладело благоговение! – твою квартиру, – твой мир, – письменный стол, за которым ты привык сидеть, и на нем цветы в голубой хрустальной вазе. Я увидела твои шкафы, твои картины, твои книги. Это был лишь воровской, украдкой брошенный взгляд в твою жизнь, потому что верный Иоганн, несомненно, не позволил бы мне много разглядывать, но я этим единственным взглядом впитала в себя всю атмосферу твоего гнезда и запаслась пищей для своих бесконечных грез о тебе наяву и во сне.

Это событие, этот быстрый миг был счастливейшим в моем детстве. Я хотела рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, начал наконец догадываться, как человеческая жизнь горела и сгорела для тебя. Об этом часе я хотела рассказать тебе и еще о другом, ужаснейшем часе, который, увы, последовал очень скоро за этим. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не слушалась матери и ни на кого не обращала внимания. Я не заметила, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, отдаленный родственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас, мне это было только приятно, потому что он иногда приглашал маму в театр и я могла оставаться одна, думать о тебе, подстергать тебя, а это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в комнату и сказала, что хочет серьезно поговорить со мной. Я побледнела и почувствовала, как у меня внезапно начало биться сердце. Не возникло ли у нее подозрение, не догадалась ли она о чем-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать была сама смущена, она нежно поцеловала меня (чего обыкновенно никогда не делала) раз, другой, притянула меня к себе на кушетку и начала, запинаясь и смущаясь, рассказывать, что ее родственник-вдовец сделал ей предложение и что она, главным образом ради меня, решила его принять. Еще горячее забилось у меня сердце, – только одна мысль внутри отвечала на эти слова, мысль о тебе. «Но мы ведь останемся здесь?» – с трудом пробормотала я. «Нет, мы переедем в Инсбрук, там у Фердинанда чудная вилла». Больше я ничего не слышала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать тихонько рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, всплеснув руками, рухнула на пол, как кусок свинца. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, слабое дитя, боролась против подавлявшей меня воли. Даже в эту минуту, когда я пишу, у меня при воспоминании об этом дрожит рука. Я не могла выдать свою настоящую тайну, поэтому мое сопротивление казалось просто строптивостью, каким-то злобным упрямством. Никто больше не заговаривал со мной, все совершалось за моей спиной. Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе; возвращаясь домой, я всегда находила то ту, то иную вещь проданной или увезенной. На моих глазах разрушалась квартира, а с нею и моя жизнь; и однажды, вернувшись из школы, я увидела, что были упаковщики мебели и все унесли. В пустых комнатах стояли упакованные чемоданы и две складные кровати – для матери и для меня: нам предстояло провести здесь еще одну ночь, последнюю, а утром мы уезжали в Инсбрук.

В этот последний день я с удивительной ясностью поняла, что не смогу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела свое спасение. Что я тогда думала и могла ли вообще в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не буду знать, но вдруг – мать куда-то ушла – я вскочила, в платье, в котором только что была в школе, и пошла к тебе. Нет, я не шла сама, какая-то магнетическая сила тянула меня к твоей двери; я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я сама не представляла себе, чего я хотела – упасть к твоим ногам, просить тебя оставить меня у себя как служанку, как рабыню. Боюсь, что ты посмеешься над этим невинным экстазом пятнадцатилетней девочки; однако, любимый, ты не стал бы смеяться, если бы знал, как я стояла тогда на холодной лестничной площадке, скованная страхом и все-таки гонимая вперед какой-то неведомой силой, как я, словно отрывая дрожащую руку от тела, заставила ее подняться, и после коротких, но составлявших целую вечность мгновений борьбы нажала пальцем пуговку звонка. Я по сей день слышу резкий, дребезжащий звон и сменившую его тишину, когда сердце мое перестало биться и вся кровь во мне остановилась и прислушивалась, не идешь ли ты.

Но ты не пришел. Не пришел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад в нашу разоренную, опустошенную квартиру и в изнеможении бросилась на какой-то тюк. От пройденных мною четырех шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но под этим утомлением тлела еще не угасшая решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Я клянусь тебе, к этому не примешивалось никакой чувственной мысли, я была еще совершенно наивна, именно потому, что ни о чем больше не думала, только о тебе; я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть. Всю ночь, всю эту долгую, ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать улеглась в постель и заснула, я выскользнула в переднюю и стала прислушиваться, не идешь ли ты домой. Я прождала всю ночь, всю эту ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ныло, и нигде не было даже стула, чтобы присесть. Тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло от двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на холоде и даже не накрылась одеялом, я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, руки у меня дрожали; приходилось каждый раз вставать, так холодно было в этом ужасном, темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу.

Наконец – вероятно, было уже около двух или трех часов – я услышала, как отперли внизу ворота, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром, тихонько отворила я дверь, готовая броситься тебе навстречу, упасть к твоим ногам... Ах, я не знаю, чего бы я, глупое дитя, ни наделала тогда. Шаги приблизились, огонек свечи заколыхался по стенам. Дрожа, держалась я за рукоятку двери. Ты это или кто-нибудь другой?

Да, это был ты, любимый, но ты был не один. Я услышала заглушенный смех, шуршание шелкового платья и твой тихий голос, – ты шел к себе с какой-то дамой...

Как я могла пережить эту ночь, я не знаю. На следующее утро, в восемь часов, меня увезли в Инсбрук; у меня не было сил сопротивляться.

Мой ребенок вчера ночью умер, – теперь я буду опять одна, если мне действительно суждено жить еще. Завтра придут чужие, одетые в черное, бесцеремонные люди, принесут с собой гроб, положат в него моего ребенка, мое бедное, мое единственное дитя. Может быть, придут и друзья и принесут венки; но что значат цветы возле гроба? Люди станут утешать меня и говорить мне какие-то слова, слова, слова; но чем люди могут помочь мне? Я знаю, что все равно останусь опять одна. А ведь нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей. Я узнала это тогда, в те бесконечные два года, проведенные в Инсбруке, от шестнадцати до восемнадцати лет, когда я, словно пленница, словно отверженная, жила среди своей семьи.

Отчим, человек очень спокойный, скупой на слова, прекрасно относился ко мне; мать, словно заглаживая какую-то неосознанную вину передо мной, шла навстречу всем моим желаниям; я была окружена молодыми людьми, но я отталкивала их всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной – вдали от тебя. Я сама зарывала себя в какой-то мрачный мир самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я не надевала; я отказывалась ходить на концерты и в театр или принимать участие в веселых поездках за город. Я почти не выходила на улицу, – поверишь ли ты, любимый, что я едва ли знала десяток улиц в этом маленьком городке, где прожила целых два года? Я предавалась печали и хотела быть печальной, я опьяняла себя лишениями, но моим главным страданием было то, что я не видела тебя. И кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти, хотела жить только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями думала только о тебе, снова и снова перерывая в памяти тысячи маленьких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание, – я, как в театре, разыгрывала в своем воображении все эти мелкие эпизоды. И оттого, что я несчетное число раз повторяла каждую секунду минувшего времени, все мое детство с такой яркостью запечатлелось в моей памяти и каждый миг тех минувших лет я чувствую так ясно и горячо, как если бы он еще вчера жил в моей крови.

Только тобой жила я в это время. Я покупала все твои книги; когда твое имя упоминалось в газете, это был для меня праздник. Поверишь ли ты, что я знаю наизусть каждую строчку твоих книг, – так часто я их читала. Если бы ночью разбудили меня и прочли мне какую-нибудь наугад вырванную строку, я могла бы еще теперь, через тринадцать лет, продолжить ее с того же места; каждое твое слово было для меня как Евангелие, как молитва. Весь мир существовал только в его отношении к тебе; я читала в венских газетах о концертах, о премьерах с одной лишь мыслью, какие из них могут интересовать тебя, а когда наступал вечер, я издали сопровождала тебя: вот тыходишь в зал, вот садишься на свое место. Тысячи раз представляла я себе это, потому что один-единственный раз видела тебя в концерте.

Но к чему рассказывать обо всем этом, об исступленном, трагически безнадежном экстазе одинокого ребенка, зачем рассказывать эти вещи тому, кто не подозревает, кто ничего не знает о них? Но действительно ли я была тогда еще ребенком? Мне исполнилось семнадцать, восемнадцать лет, на меня начали оглядываться на улице молодые люди, но это только раздражало меня. Любовь или только игра в любовь в помыслах о ком-нибудь другом, кроме тебя, была мне чужда и невыносима, и даже самое искушение я сочла бы за измену тебе. Моя страсть к тебе была неизменна, но с развитием моего тела, с пробуждением моих чувств она стала более пылкой, более плотской и женственной. И то, чего не могло подозревать дитя, которое, повинаясь бессознательному влечению, позвонило у твоей двери, стало теперь моей единственной мыслью: подарить себя тебе, отдаться тебе.

Окружающие считали меня робкой, называли тихоней, оттого что я, стиснув зубы, хранила свою тайну. Но во мне росла железная воля. Все мои мысли и стремления были направлены на одно: назад в Вену, назад к тебе. И я настояла на своем, каким бессмысленным и непонятным ни казалось всем мое поведение. Отчим был состоятельный человек и смотрел на меня как на свое дитя. Но я с ожесточением настаивала на том, что хочу сама зарабатывать себе на жизнь, и наконец добилась того, что поехала в Вену и поступила на службу к одному родственнику в магазин дамских вещей.

Нужно ли говорить тебе, куда лежал мой первый путь, когда в туманный осенний вечер – наконец! наконец! – я прибыла в Вену. Я оставила чемодан на вокзале, вскочила в трамвай – мне казалось, что он так ползет! каждая остановка выводила меня из себя – и подъехала к нашему старому дому. В твоих окнах был свет, – сердце пело у меня в груди. Лишь теперь для меня стал живым город, встретивший меня так холодно и оглушивший бессмысленным шумом, лишь теперь жила я сама, чувствуя твою близость, тебя, мой вечный сон. Я ведь не понимала, что за горами, за долами и реками я была так же чужда твоему сознанию, как теперь,

когда только тонкое освещенное стекло в твоём окне отделяло тебя от моего восторженного взора. Я все стояла и смотрела вверх; там был свет, был дом, был ты, был весь мой мир. Два года мечтала я об этом часе, и вот он был мне дарован. Я простояла под твоими окнами весь долгий мягкий, мгlistый вечер, пока не погас свет. Тогда лишь отправилась я домой.

Каждый вечер простаивала я так перед твоим домом. До шести я была занята в магазине, занята тяжелой, изнурительной работой; но мне была приятна эта суета, так как она отвлекала меня от моих мучительных мыслей. И как только железные шторы с грохотом опускались за мной, я устремлялась к своей любимой цели. Увидеть тебя, встретиться с тобой было моим единственным желанием, еще хоть раз, издали охватить взглядом твое лицо. Прошло около недели, и наконец я встретила тебя, встретила в тот миг, когда как раз этого не ожидала. Я только успела взглянуть вверх на твои окна, как ты перешел через улицу. И вдруг я стала опять тринадцатилетним ребенком и почувствовала, как кровь хлынула к моим щекам. Невольно, против своего внутреннего стремления, против томительного желания почувствовать твой взгляд, я склонила голову и стрелой промчалась мимо тебя. Потом я стыдилась этого детского трусливого бегства, потому что мое желание было ведь для меня теперь ясно: я хотела встретиться с тобой, я искала тебя, я хотела, чтобы ты узнал меня после всех этих прожитых в томительных сумерках лет, хотела, чтобы ты заметил меня, полюбил меня.

Но ты долго не замечал меня, хотя я каждый вечер, не обращая внимания на метель и острый, режущий венский ветер, простаивала на твоей улице. Часто я целыми часами ждала напрасно, часто ты выходил наконец из дома в сопровождении знакомых, и два раза я видела тебя с женщинами. В эти мгновения я чувствовала, что стала взрослой, угадывала какую-то новизну, измененность в моем чувстве к тебе – по той внезапной боли в сердце, которая разрывала мне душу при виде чужой женщины, с такой уверенностью идущей рука об руку с тобой. Я не была поражена: о твоих вечных посетительницах я знала ведь с малых лет, но теперь это причиняло мне прямо физическую боль, что-то напрягалось во мне, восставая против этой очевидной, тесной интимности с другой. Один день, – детски гордая, какой я была и, может быть, осталась до сих пор, – я не была у твоего дома; но каким ужасно пустым показался мне этот вечер упорства и возмущения! На следующий вечер я опять смиренно стояла перед твоим домом, стояла и ждала, как я простояла весь свой век перед твоей закрытой жизнью.

И наконец настал вечер, когда ты заметил меня. Я уже издали увидела тебя и напрягла всю свою волю, чтобы не уклониться от встречи с тобой. Случай хотел, чтобы улица была загромождена какой-то телегой, и тебе пришлось пройти вплотную мимо меня. Ты рассеянно взглянул на меня, но, в тот же миг, как только ты почувствовал пристальность моего взгляда, в твоих глазах появилось уже знакомое мне выражение, – о, как страшно мне было вспомнить об этом! – тот посвященный женщинам взгляд, нежный, окутывающий и в то же время раздевающий, тот взгляд, который меня, ребенка, превратил в горящую любовью женщину. Секунду-другую этот взгляд приковывал мой, я не в силах была оторваться, а ты уже прошел мимо. У меня билось сердце; невольно, замедлив шаг и уступая непреодолимому любопытству, я оглянулась и увидела, что ты остановился и смотришь мне вслед. И по тому любопытству и интересу, с которым ты меня разглядывал, я сразу догадалась, что ты меня не узнал.

Ты не узнал меня ни тогда, ни потом; никогда ты не узнавал меня. Как передать тебе, любимый, все разочарование той минуты; тогда ведь в первый раз я испытала свою судьбу – быть не узнанной тобой. Как изобразить тебе мое разочарование! Подумай, за два года жизни в Инсбруке, когда я каждый миг думала о тебе и только и делала, что рисовала себе картину нашей будущей встречи в Вене, я, смотря по настроению, перебирала самые печальные возможности наряду с самыми упоительными. Все было пережито в воображении; в самые мрачные минуты я представляла себе, что ты оттолкнешь меня, отвернешься от меня, потому что найдешь меня ничтожной, некрасивой, навязчивой. В своих страстных видениях я вкусила все виды твоей неблагосклонности, твоей холодности, твоего равнодушия; но даже в самые

безнадежные мгновения, в минуты, когда я особенно остро сознавала себя недостойной твоей любви, не думала я об этом, самом ужасном: что ты вообще, совершенно не заметишь моего существования. Теперь-то я понимаю, – о, ты научил меня понимать! – что лицо девушки, женщины должно казаться мужчине чем-то крайне изменчивым, потому что оно большей частью представляет собой лишь отражение: то страсти, то детской наивности, то утомления – и расплывается так же легко, как изображение в зеркале. Мужчине легче забыть лицо женщины, чем наоборот, потому что возраст меняет на женском лице игру света и тени, потому что одежда создает для него каждый раз иную рамку. Отвергнутые женщины – самые умудренные. Но я, тогда еще молоденькая девушка, не могла так легко понять твою забывчивость, тем более что, в результате моих непрерывных мыслей о тебе, во мне зародилась какая-то уверенность, что и ты часто вспоминаешь обо мне и ждешь меня; как могла бы я жить, сознавая, что я для тебя ничто, что даже мимолетное воспоминание обо мне никогда не касается твоей души! И это пробуждение под твоим взглядом, показавшим мне, что ни одна струнка в тебе не помнит меня, что ни одна нить воспоминаний не протянута от твоей жизни к моей, было первым падением в действительность, первым предчувствием моей судьбы.

Ты не узнал меня тогда. И когда, через два дня, твой взгляд с известной интимностью охватил меня при новой встрече, ты опять узнал во мне не ту, которая любила тебя и которую ты разбудил, а только хорошенькую восемнадцатилетнюю девушку, встреченную на том же месте два дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и дружелюбно, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошел мимо меня и, как в тот раз, тотчас замедлил шаг, – я дрожала, я ликовала, я молилась, чтобы ты заговорил со мной. Я чувствовала, что в первый раз я для тебя живое существо. Я тоже пошла тише и не уклонилась от встречи. И вдруг я почувствовала, что ты идешь за мной: не оборачиваясь, я уже знала, что услышу твой любимый голос, в первый раз обращенный ко мне. Ожидание сковывало меня, и я боялась, что мне придется остановиться, с такой силой билось во мне сердце, но в этот миг ты подошел ко мне. Ты заговорил со мной со своей обычной веселостью, словно мы были старые друзья, – ах, ты ведь ничего не подозревал, ты никогда не подозревал о моей жизни! – с такой очаровательной непринужденностью заговорил ты со мной, что я была даже способна отвечать. Мы прошли вдвоем всю улицу. Потом ты спросил меня, не поужинаем ли мы вместе, – я сказала «да». В чем я посмела бы отказать тебе?

Мы поужинали вдвоем в небольшом ресторане – помнишь ли ты, где это было? О нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же, ибо кем я была для тебя? Одной из сотни, случайным приключением, звеном в бесконечной цепи. Да и что могло напомнить тебе обо мне? Я мало говорила, потому что для меня составляло невероятное счастье быть возле тебя, слушать твои слова. Ни вопросом, ни глупым словом не хотела я растратить эти мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты осуществил мои благоговейные ожидания, как деликатен ты был, с каким тактом себя держал: без всякой навязчивости, без всяких вкрадчивых нежностей и, с первой же минуты, с такой уверенной, дружеской интимностью, что ею ты победил бы меня, даже если бы я уже давно всей своей волей, всем моим существом не была твоей. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего пятилетнего ожидания!

Было поздно, и мы встали. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я или полагаю еще временем. Как могла бы я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой! Я сказала, что у меня еще есть время. Тогда ты, с легкой заминкой в голосе, спросил меня, не зайду ли я к тебе поболтать. «С удовольствием», – повинувшись непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то неприятно, не то радостно, но явно поразила тебя. Теперь я понимаю твое удивление: я знаю, что у женщин принято отрицать эту готовность отдаться даже тогда, когда они горят желанием, принято разыгрывать испуг или возмущение, которые должны быть успокоены настойчивыми просьбами, ложью, клятвами и

обещаниями. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь – профессия, проститутки, ответили бы немедленным согласием на подобное приглашение, или же так могла поступить совершенно наивная молодая девушка. Во мне же это была лишь – как мог ты об этом подозревать? – обратившаяся в слова воля, неудержимое стремление тысячи отдельных дней. Как бы то ни было, ты был удивлен, я начала интересоваться тобой. Я чувствовала, что ты во время ходьбы незаметно и удивленно всматриваешься в меня. Твое чувство, это живущее во всех людях магически верное чувство, сразу подсказало тебе, что какая-то тайна, что-то необычное скрыто в этой миловидной, податливой девушке. В тебе проснулось любопытство, и по твоим осторожным, выпытывающим вопросам я заметила, что ты стараешься отгадать эту загадку. Но я уклонилась от прямых ответов: я предпочитала показаться тебе глупой, чем выдать свою тайну.

Мы поднялись к тебе. Прости, любимый, если я тебе скажу, что ты не можешь понять, чем был для меня подъем по этой лестнице, какое я испытывала опьянение, смущение, какое безумное, почти смертельное счастье. Мне и теперь трудно без слез вспоминать об этом, а ведь у меня больше нет слез. Но ты должен понять, что каждый предмет там был как бы пропитан моей страстью и был для меня символом моего детства, моей тоски, – ворота, перед которыми я тысячу раз ждала тебя, лестница, где я прислушивалась к твоим шагам и где впервые увидела тебя, глазок, отделявший меня от мира моих стремлений, коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях, звук открываемой ключом двери, заставлявший меня всегда вздрагивать. Все детство, вся моя страсть сосредоточивались на этом небольшом пространстве; тут была вся моя жизнь, а теперь на меня словно обрушилась буря; все, все исполнилось, и я шла с тобой – я с тобой – по твоему, по нашему дому. Подумай, – это звучит банально, но я не умею иначе сказать, – перед твоей дверью была действительность, тупая, бесконечная повседневность, а за ней начиналось сказочное царство ребенка, царство Аладдина; подумай, что я тысячу раз горящими глазами смотрела на эту дверь, в которую я теперь вошла, опьяненная, и ты догадаешься о том, – только догадаешься, но никогда не поймешь вполне, мой любимый! – что значил в моей жизни этот стремительный миг. Я оставалась у тебя всю ночь. Ты и не подозревал, что до тебя ни один мужчина не прикоснулся ко мне и не видел моего тела. Да и как ты мог подозревать об этом, любимый, если я не оказала тебе никакого сопротивления и подавила в себе чувство стыда, лишь бы ты не мог отгадать тайну моей любви к тебе, которая, наверное, испугала бы тебя, потому что ты ведь любишь только все легкое, невесомое, мимолетное и боишься вмешаться в чью-нибудь судьбу Ты расточаешь себя, отдаешь себя миру и не хочешь жертв. Если я теперь говорю тебе, любимый, что я отдалась тебе невинная, то умоляю тебя: не истолкуй этого неправильно! Я ведь не обвиняю тебя, ты не заманивал меня, не лгал, не соблазнял, – я, я сама пришла к тебе, бросилась тебе на грудь, бросилась навстречу своей судьбе. Никогда, никогда не стану я обвинять тебя, нет, я всегда буду благодарна тебе, потому что как богата, как озарена радостью, как напоена блаженством была для меня эта ночь! Когда я в темноте открывала глаза и чувствовала тебя рядом с собой, я удивлялась, что не звезды у меня над головой, что я не на небе, – нет, я никогда ни о чем не жалела, любимый: этот час искупил все. И я помню, когда ты спал и я слышала твое дыхание, чувствовала твое тело и свою близость к тебе, я плакала в темноте от счастья.

Утром я заторопилась уходить. Мне нужно было попасть в магазин, и я хотела уйти до того, как придет слуга, – он не должен был меня видеть. Когда я, одетая, стояла перед тобой, ты обнял меня рукой и долго смотрел на меня. Было ли это воспоминание, темное и отдаленное, шевельнувшееся в тебе, или просто я показалась тебе красивой и дышавшей счастьем? Потом ты поцеловал меня в губы. Я тихонько отстранила тебя и хотела уйти. Ты спросил меня: «Не возьмешь ли ты с собой немного цветов?» Я сказала: «Да». Ты вынул четыре белые розы из голубой хрустальной вазы на письменном столе (о, я знала эту вазу еще с того времени, когда ребенком забралась в твою квартиру). Ты дал мне эти розы, и я целыми днями целовала их.

Мы условились еще раз встретиться. Я пришла, и опять все было чудесно. Еще одну, третью ночь подарил ты мне. Потом ты сказал, что тебе нужно уехать, – о, как ненавидела я с самого детства эти путешествия! – и ты обещал сейчас же известить меня, когда вернешься домой. Я дала тебе адрес – до востребования; своего имени я не хотела тебе назвать. Я оберегала свою тайну. Ты опять на прощание дал мне две розы – на прощание!

Каждый день, два месяца подряд, я справляюсь... но нет, к чему изображать тебе эти адские муки ожидания и отчаяния? Я не виню тебя, я люблю тебя таким, какой ты есть, горячего и забывчивого, увлекающегося и неверного, я люблю тебя таким, каким ты был всегда и каким остался и теперь.

Ты давно уже вернулся, я видела это по твоим освещенным окнам, но ты мне не писал. У меня нет ни строчки от тебя в эти последние часы, ни строчки от того, кому я отдала всю свою жизнь. Я ждала, я все ждала. Но ты не позвал меня, ни строчки не написал мне... ни строчки...

Мой ребенок вчера умер – это был и твой ребенок. Это был и твой ребенок, любимый, – дитя одной из тех трех ночей; я клянусь тебе в этом, и ты знаешь, что в присутствии смерти не лгут. Это было наше дитя, я клянусь тебе, потому что ни один мужчина не прикоснулся ко мне с того часа, когда я отдалась тебе, до другого часа, когда мое дитя извлекли из моего тела. Мое тело было священо для меня благодаря твоему прикосновению. Как могла бы я делить себя между тобой, который был для меня всем, и другими, лишь мимоходом прикасавшимися к моей жизни? Это было наше дитя, любимый, дитя моей глубокой любви и твоей беззаботной, расточительной, почти бессознательной ласки, наше дитя, наш сын, наше единственное дитя. Но ты спросишь меня, – быть может, испуганно, быть может, только удивленно, – ты спросишь меня, любимый, почему я все эти годы молчала об этом ребенке и говорю о нем только сегодня, когда он спит во мраке, уснув навек, и лежит, готовый уйти, чтобы никогда, никогда не возвращаться. Но как я могла сказать тебе? Ты никогда не поверил бы мне, незнакомой женщине, покорной подруге трех ночей, без сопротивления и даже с ответным желанием отдавшейся тебе, ты никогда не поверил бы мне, безымянной, случайной знакомой, что я осталась тебе верна, тебе, неверному, и лишь с недоверием признал бы ты этого ребенка своим! Никогда, и даже в том случае, если бы слова мои показались тебе правдоподобными, не смог бы ты освободиться от тайного подозрения, что я пытаюсь навязать тебе, состоятельному человеку, чужого ребенка. Ты относился бы ко мне с подозрением, и между нами осталась бы тень, беглая, робкая тень недоверия между тобой и мной. Этого я не хотела. И потом, я ведь знаю тебя; я знаю тебя так, как ты сам едва ли знаешь себя, и я знаю, что тебе, любящему только беззаботное, легкое, любящему в любви только игру, было бы неприятно вдруг оказаться отцом, вдруг оказаться ответственным за чью-то судьбу. Ты, привыкший к полнейшей свободе, почувствовал бы себя связанным со мной. Ты, – я знаю, что это было бы независимо от твоей воли, – возненавидел бы меня за свою связанность. Может быть, на час, может быть, всего на несколько минут я была бы тебе в тягость, была бы тебе ненавистна, я же в своей гордости мечтала о том, чтобы ты никогда в жизни не имел от меня забот. Я предпочла взять все на себя, чем стать для тебя обузой, и хотела быть единственной среди любивших тебя женщин, о ком ты всегда думал бы с любовью и благодарностью. Но увы, ты никогда обо мне не думал, ты забыл меня.

Я не виню тебя, любимый! Нет, я не виню тебя. Прости мне, если иногда капля горечи просачивается в мои строки, – мое дитя, наше дитя, лежит ведь мертвое возле меня под мигающими свечами; я грозила кулаками Богу и называла его убийцей, у меня все спуталось в душе. Прости мне жалобу, прости ее мне! Я ведь знаю, ты добр и отзывчив по природе, ты помогаешь всякому, помогаешь совершенно незнакомым людям, если они обращаются к тебе. Но твоя доброта так своеобразна, она открыта для всякого, и всякий может черпать из нее столько, сколько могут захватить его руки; твоя доброта велика, безгранична, но она, – ты мне прости, – она ленива, она ждет напоминания, просьбы. Ты помогаешь, когда тебя зовут, когда

тебя просят, помогаешь из стыда, из слабости, но не из радостной готовности помочь. Ты, – позволь тебе это открыто сказать, – человека в нужде и горе любишь не больше, чем баловня счастья, каков ты сам. А людей, подобных тебе, даже самых добрых среди них, тяжело просить. Раз, когда я еще была ребенком, я видела через наш глазок, как ты подал что-то позвонившему у твоей двери нищему. Ты дал ему, прежде чем он успел попросить, и дал много, но ты сделал это как-то испуганно и поспешно, с явным желанием, чтобы он поскорее ушел; и казалось, что ты боишься смотреть ему в глаза. Я никогда не забуду твою беспокойную, робкую, избегающую благодарности манеру оказывать помощь. Поэтому-то я никогда и не обращалась к тебе. Конечно, я знаю, что ты помог бы мне тогда и не имея уверенности, что это твой ребенок. Ты утешал бы меня, дал бы мне денег, много денег, но все это с тайным нетерпением поскорее сбросить с себя эту неприятность; я даже думаю, что ты стал бы уговаривать меня заблаговременно предупредить появление ребенка. А этого я боялась больше всего, – потому что чего бы я ни сделала, если бы ты этого пожелал, как могла бы я в чем-либо отказать тебе! Но это дитя было для меня всем; оно ведь было от тебя, повторение тебя, но не ты, счастливый, беззаботный, которого я не могла удержать, а ты, данный мне – так я думала – навсегда, связанный с моим телом, связанный с моей жизнью. Теперь я наконец поймала тебя, я могла ощущать в моих жилах тебя, рост твоей жизни, могла кормить, поить, ласкать, целовать тебя, когда жадной ласки горела душа. Вот почему, любимый, была я так счастлива, когда знала, что буду иметь от тебя ребенка. Вот почему я скрыла от тебя – теперь ты все равно не мог убежать от меня.

Правда, любимый, я пережила не только месяцы счастья, предчувствованные моей душой; настали для меня месяцы, полные ужаса и муки и отвращения перед людской низостью. Мне пришлось нелегко. В магазин я в последние месяцы ходить не могла, так как родственники заметили бы мое положение и сообщили бы об этом домой. Просить денег у матери я не хотела и жила тем, что продала кое-какие принадлежащие мне вещицы. За неделю до родов прачка украла у меня из шкафа последние несколько крон, и мне пришлось лечь в родильный приют. Там, куда приходят в своей беде самые бедные, отверженные и забытые, среди подонков и нищеты, там родилось твое дитя. В приюте было ужасно, все казалось бесконечно чужим, и мы, одиноко лежавшие там, были друг другу чужие и ненавидели друг друга. Только общее несчастье, общая мука столкнули нас вместе в этой душной, пропитанной хлороформом и кровью, полной криков и стонов палате.

Все унижения, какие приходится претерпеть неимущим, стыд, нравственный и физический, испытала я там в обществе проституток и больных; как страдала я от цинизма молодых врачей, которые с насмешливой улыбкой приподнимали с беззащитных женщин одеяла, с фальшиво ученым видом давали волю своим рукам; сколько натерпелась от алчности сиделок! О, там человеческую стыдливость распинают взглядами и бичуют словами. Табличка с твоим именем – вот все, что остается там от тебя, а то, что лежит в кровати, просто кусок содрогающегося мяса, предмет для показа и изучения, – ах, женщины, у себя дома дарящие ребенка взволнованному ожиданием супругу, они не знают, что значит рожать одинокой, беззащитной, чуть ли не на лабораторном столе! И даже теперь, когда мне встречается в книге слово «ад», я невольно думаю о битком набитой, смрадной палате, где стоны и грубый смех перемежаются с кровавыми воплями, об этой клоаке позора.

Прости, прости мне, что я об этом говорю. Я говорю об этом в первый раз и никогда, никогда больше не буду. Я молчала об этом одиннадцать лет и скоро умолкну навсегда; но один раз я должна была выплакаться, один раз высказать, какой дорогой ценой досталось мне это дитя, составлявшее для меня счастье жизни и теперь бездыханное. Я давно уже забыла эти часы, забыла их в улыбке ребенка, в его смехе, в своей радости; но теперь, когда он умер, мука вновь оживает, и я должна выплакать ее, должна облегчить свою душу в этот единственный раз. Но я обвиняю не тебя, а только Бога, только Бога, лишившего это страдание всякого смысла.

Клянусь тебе, я не тебя обвиняю, и никогда я в гневе не восставала против тебя. Даже в тот час, когда тело мое корчилось в муках, когда тело мое сгорало от стыда под любопытными взглядами студентов, даже в мгновения, когда боль разрывала мне душу, я не винила тебя перед Богом; никогда не жалела я о тех ночах, никогда не проклинала свою любовь к тебе; я всегда любила тебя, всегда благословляла тот час, когда я встретила тебя. И если бы повторились те адские часы и я знала бы наперед, что меня ожидает, я пошла бы на это еще раз, любимый мой, еще раз и тысячу раз!

Наш ребенок вчера умер – ты никогда его не знал. Никогда, даже при мгновенной, случайной встрече твой взор не коснулся этого маленького, цветущего создания, твоего создания. Я долго скрывалась от тебя, с того момента, как у меня был ребенок; моя тоска по тебе стала менее мучительной, я даже думаю, что я любила тебя уже менее страстно, по крайней мере, я теперь не так страдала от своей любви. Я не хотела делить себя между тобой и им; и я отдала себя не тебе, баловню счастья, жившему в стороне от моей жизни, а ребенку, которому я была нужна, которого я могла кормить, целовать и держать в своих объятиях. Я была как будто спасена от своего томления по тебе, от своего рока, спасена этим другим «тобой», принадлежавшим по справедливости мне; лишь изредка, очень редко мое чувство смиренно влекло меня к твоему дому. Только одно я делала: посылала тебе каждый год ко дню твоего рождения несколько белых роз, точно таких же, какие ты подарил мне тогда, после первой ночи нашей любви. Спросил ли ты себя хоть раз за эти одиннадцать лет, кто их тебе посылает? Не вспомнил ли ты случайно о той, которой ты однажды подарил такие розы? Я не знаю и никогда не узнаю твоего ответа. Я довольствовалась тем, что протягивала их тебе из мрака, раз в году позволяя расцвести воспоминанию о том часе.

Ты никогда не знал нашего бедного ребенка, – сегодня я упрекаю себя, что скрыла его от тебя, потому что ты любил бы его. Ты не знал нашего бедного мальчика, ты никогда не видел, как он улыбался и, поднимая свои темные вдумчивые глаза – твои глаза! – озарял их лучистым, радостным светом меня и весь мир. Ах, он был такой веселый, такой милый! В нем по-детски повторилась вся легкая живость твоего существа, твоя быстрая, пылкая фантазия. Он мог часами с увлечением играть разными вещами, как ты играешь жизнью, а потом подолгу просиживал, серьезно подняв брови, над своими книжками. Он все больше становился тобой. В нем начала уже явственно проявляться свойственная тебе двойственность серьезности и легкомыслия, и чем более он становился похож на тебя, тем больше я любила его. Он хорошо учился, болтал по-французски, как сорока, его тетрадки были самые опрятные в классе, и как он был притом хорош, в своем черном бархатном костюме или в белой матросской курточке! Он был всегда самым элегантным, где бы он ни показывался; когда я гуляла с ним по берегу в Град о, женщины останавливались и гладили его длинные белокурые волосы; когда он в Земмеринге катался на санях, люди с удивлением оглядывались на него. Он был такой миловидный, такой нежный и ласковый. Когда он в минувшем году поступил в интернат Терезианума, он носил свою форму и маленькую шпагу, как паж восемнадцатого века, – теперь на нем, бедном, только рубашечка, и он лежит с бледными губами и сложенными на груди руками.

Но ты, может быть, спросишь меня, как я могла воспитывать дитя в такой роскоши, как сумела я доставить ему эту светлую, радостную жизнь высшего света. Любимый мой, я говорю с тобой из мрака; я не стыжусь, а скажу тебе, но только не пугайся, любимый, – я продавала себя. Я не стала тем, что называют уличной феей, проституткой, но я продавала себя. У меня были богатые друзья, богатые любовники. Сначала я искала их, потом – они меня, потому что я была – заметил ли ты это когда-нибудь? – очень хороша собой. Все, кому я ни отдавалась, влюблялись в меня, были благодарны мне, привязывались ко мне, все любили меня, – только ты не полюбил меня, только ты, мой любимый!

Презираешь ли ты меня теперь, после этого признания? Нет, я знаю, ты не презираешь меня; я знаю, ты понимаешь все, поймешь и то, что я поступала так ради тебя, ради твоего второго «я», ради твоего ребенка. Однажды, в палате родильного приюта, я прикоснулась к ужасам нищеты, я знала, что бедного всегда попирают, унижают, он всегда является жертвой, и я ни за что на свете не хотела, чтобы твое дитя, твое светлое, чудное дитя выросло на дне, среди голытьбы, среди дикости и пошлости улицы, в ядовитом воздухе задворков. Его нежные уста не должны были знать языка сточной канавы, его белое тельце не должно было носить жесткого, заскорузлого белья бедноты, у твоего ребенка должно было быть все – роскошь и всевозможный комфорт, он должен был подняться до тебя, до твоей жизненной сферы.

Поэтому, только поэтому, любимый, продавала я себя. Это не составляло для меня жертвы, так как то, что обычно называют честью или позором, не имело для меня значения; ты не любил меня, ты, единственный, кому должно было принадлежать мое тело, и мне было безразлично, что еще будет с ним. Ласки мужчин и даже их сильная страсть не затрагивали моей души, хотя я очень уважала многих из них, и меня, при воспоминании о собственной судьбе, искренне трогала их остававшаяся без ответа любовь. Все те, кого я знала, были добры ко мне, все баловали меня, все уважали меня. В особенности один пожилой вдовец, граф, любил меня как дочь и без конца обивал пороги канцелярий, чтобы добиться приема твоего ребенка, твоего безродного ребенка, в Терезианум. Три раза, четыре раза просил он моей руки – я могла быть бы теперь графиней, владелицей сказочного замка в Тироле, могла отбросить все заботы, так как ребенок имел бы нежного, боготворившего его отца, а я – спокойного, благородного, доброго мужа. Я не согласилась, несмотря на все его просьбы, несмотря на то что причиняла ему боль своим отказом. Возможно, что это была глупость, потому что я жила бы теперь где-нибудь в тиши и мое ненаглядное дитя было бы со мной, – но почему бы мне не признаться тебе? – я не хотела связывать себя, хотела в любой час быть свободной для тебя. Где-то, в сокровенной глубине души, все еще таилась моя старая детская мечта, что ты еще позовешь меня, хотя бы только на час. И ради этого одного возможного часа я оттолкнула от себя все, – лишь бы быть свободной и пойти по первому твоему зову. Чем была вся моя жизнь с момента пробуждения сознания, как не ожиданием, ожиданием твоего зова!

И этот час действительно настал. Но ты не знаешь его, не подозреваешь о нем, мой любимый! Ты не узнал меня и в этот раз – никогда, никогда, никогда ты не узнавал меня! Я ведь и раньше часто встречала тебя в театре, на концертах, в Пратере, на улице, – каждый раз у меня замирало сердце, но ты не смотрел на меня, я ведь внешне сильно изменилась, из робкого подростка превратилась в женщину; говорили, что я хороша; я всегда была богато одета и окружена поклонниками. Как мог ты заподозрить во мне робкую девушку, которую ты видел в полумраке своей спальни!

Иногда с тобой раскланивался кто-нибудь из сопровождавших меня мужчин. Ты отвечал и бросал взгляд на меня, но этот взгляд был простой вежливостью, знаком минутного интереса; это был незнающий, чужой, бесконечно чужой взгляд. Я помню случай, когда это неузнавание, к которому я уже почти привыкла, доставило мне жгучую боль. Я была в опере и сидела в ложе со своим знакомым, а ты в соседней ложе. Во время увертюры свет погас, и я больше не могла видеть твоего лица, но я слышала рядом с собой твое дыхание, как тогда, в ту ночь, а на бархатном барьере, разделявшем наши ложи, покоилась твоя рука, твоя тонкая, нежная рука. И мной овладело неодолимое желание нагнуться и смиренно поцеловать эту руку, когда-то ласкавшую меня. Вокруг колыхалось море возбуждающих звуков, и желание во мне неудержимо росло; я должна была делать над собой судорожные усилия, чтобы не уступить этой силе, притягивавшей мои губы к твоей любимой руке. После первого акта я попросила моего друга увести меня. Я больше не могла вынести присутствия в темноте так близко от меня и... так бесконечно далеко любимого мной человека.

Но час настал, он настал еще раз, последний раз в моей разрушенной жизни. Это было почти ровно год тому назад, в день, следующий за днем твоего рождения. И странно, я весь этот день думала о тебе, потому что день твоего рождения я справляла всегда как праздник. Ранорано утром я уже вышла и купила белые розы, которые я ежегодно посылала тебе, как воспоминание о забытом тобою часе. После обеда поехала с мальчиком в кондитерскую Демеля, а вечером в театр; я хотела, чтобы и он, не зная значения этого дня, ощущал его с ранних лет как некий мистический праздник. На следующий вечер я была на концерте с моим тогдашним другом, молодым брюннским фабрикантом, с которым жила уже два года; он обожал меня, баловал, хотел, так же как и другие, жениться на мне и встречал с моей стороны такой же, по-видимому, беспричинный отказ, хотя засыпал меня и ребенка подарками и был сам очень милый и добрый человек. На концерте к нам присоединилась веселая компания, мы поужинали в одном из ресторанов на Рингштрассе, и там, среди смеха и шуток, я предложила заглянуть еще в танцевальный зал – в Табарен. Обычно такие места были противны мне, с их заученной алкогольной веселостью, и я всегда сама протестовала против подобных предложений, однако в этот раз какая-то необъяснимая, магическая сила заставила меня неожиданно бросить эту мысль, радостно подхваченную остальными. Меня влекло туда смутное желание, словно какая-то неожиданность предстояла мне там. Привыкшие угождать мне, мои спутники быстро встали, и мы пошли, пили там шампанское, и на меня вдруг нашла какая-то дикая, незнакомая мне, нездоровая веселость. Я пила и пила, подхватывала озорные песенки и испытывала неудержимое желание танцевать и смеяться. Но вдруг что-то содрогнулось во мне, словно холодом или огненным жаром обдало мое сердце: за соседним столиком сидел ты со своими друзьями и смотрел на меня восхищенным и полным желания взглядом, тем взглядом, который всегда имел надо мной такую власть. В первый раз за десять лет я вновь ощутила могущество твоего страстного взгляда. Я задрожала.

Я чуть не выронила из рук поднятый бокал. К счастью, никто из сидевших со мной за столом не заметил моего смущения. Оно потонуло в раскатах смеха и музыки.

Все сильнее воспламенялся твой взор и все более обжигал меня. Я не знала, узнал ли ты меня наконец или желаешь меня как другую, незнакомую женщину. Кровь прихлынула к моим щекам, и я рассеянно отвечала на вопросы моих друзей. Ты не мог не заметить, как смущена я была твоим взором. Незаметным движением головы ты сделал мне знак, чтобы я на минуту вышла из зала. Затем ты поспешно расплатился, простился с товарищами и вышел, еще раз дав мне понять, что будешь ждать меня. Я дрожала, как в ознобе, как в лихорадке, не могла говорить, не могла справиться с волнением. Как раз в этот миг негритянская пара, прищелкивая каблуками и вскрикивая, пустилась в какую-то странную пляску, все стали смотреть на них, и я воспользовалась этим мгновением. Я встала, сказала своим друзьям, что сейчас вернусь, и вышла вслед за тобой.

Ты стоял у вешалок и ждал меня. Когда я подошла, твой взор прояснился. Улыбаясь, поспешил ты мне навстречу. Я сразу увидела, что ты не узнал меня, не узнал во мне ни ребенка давно минувших лет, ни девушку; тебя тянуло ко мне, как к чему-то новому, неизвестному. «Найдется у вас как-нибудь и для меня часок?» – спросил ты, и по уверенности твоего тона я почувствовала, что ты принимаешь меня за одну из этих дам, которых можно купить на вечер. «Да», – ответила я – то же дрожащее, само собой подразумевающееся «да», которое однажды, более десяти лет назад, сказала тебе девушка в сумерках улицы. «Когда же мы могли бы увидеться?» – спросил ты. «Когда вам угодно», – ответила я: перед тобой у меня не было стыда. Ты взглянул на меня немного удивленно, с тем же недоверчивым любопытством и недоумением, как тогда, когда я совершенно так же поразила тебя поспешностью своего согласия. «Могли бы вы сейчас?» – несколько нерешительно спросил ты. «Да, – ответила я, – пойдете».

Я направилась к вешалке, чтобы взять свое манто.

Тут я вспомнила, что у моего друга был общий номерок от нашего платья. Возвратиться и попросить номерок было бы невозможно без сложных объяснений; с другой стороны, пожертвовать часом, который я могла провести с тобой, часом, столь желанным все эти годы, я не хотела. Я не колебалась ни секунды. Набросив на плечи только шаль, я вышла в сырую туманную ночь, не заботясь о своем манто, не думая о добром, внимательном ко мне человеке, с которым жила уже несколько лет и поставленном мною теперь в самое нелепое и унижительное положение перед друзьями – в положение глупца, у которого его возлюбленная убегает по первому зову чужого человека. О, в глубине души я сознавала всю низость и неблагодарность своего поведения; я чувствовала, что поступаю бессмысленно и наношу своему другу смертельную обиду, чувствовала, что разбиваю свою жизнь, – но что значила для меня дружба и вся жизнь в моем нетерпении вновь ощутить твои губы и мягкую ласку твоих слов? Так я любила тебя: теперь я могу сказать тебе это, когда все минуло и прошло. И я верю, если бы ты позвал меня с моего смертного одра, у меня нашлись бы силы встать и пойти за тобой.

У входа стоял экипаж, и мы поехали к тебе. Я снова слышала твой голос, чувствовала твою милую близость и была так же опьянена, так же детски смущена, как при нашей первой встрече. Как и в первый раз, после более чем десятилетнего перерыва, поднялась опять по лестнице, – нет, нет, я не могу тебе рассказать, как я в эти мгновения переживала все вдвойне – в прошлом и в настоящем – и во всем ощущала только тебя. В твоей комнате мало что изменилось: прибавилось только несколько картин, книг, немного новой мебели, но в общем все показалось мне таким знакомым! А на письменном столе стояла ваза с розами – моими розами, которые я накануне, ко дню рождения, послала тебе на память о той, кого ты все-таки не вспомнил, все-таки не узнал, даже теперь, когда она была возле тебя и ты соединял с ней уста и руки. Но все же мне было приятно, что ты заботился о цветах; в них тебя все-таки окружала частица моей души, дыхание моей любви.

Ты обнял меня. Снова я осталась у тебя на всю долгую ночь. Но и нагую ты не узнал меня. Счастливая, принимала я твои изощренные ласки и видела, что твоя страсть не знает разницы между любимой и купленной женщиной, что ты предаешься своим желаниям со всей беспечной расточительностью своей натуры. Ты был так нежен и деликатен со мной, взятой из ночного ресторана, так благороден и сердечен, почтителен и в то же время так страстен в наслаждении женщиной, что я, пьянея от старого счастья, почувствовала опять эту двойственность твоего существа – твою одухотворенность в чувственной страсти, еще ребенком покрывшую меня. Никогда не встречала я человека, который так пламенно отдавался бы во власть минуты, с такой яркостью обнажал бы сокровеннейшие недра своей души, чтобы затем, увы, угаснуть в какой-то бесконечной, почти неестественной забывчивости. Но и я забыла о себе; кто была я здесь, в темноте, возле тебя? Была ли я та наивно влюбленная девочка, была ли я мать твоего ребенка, была ли я та незнакомка? Ах, все было так знакомо, уже пережито и все же так упоительно ново в эту страстную ночь! И я молилась, чтобы ей не было конца.

Но настало утро; мы встали поздно, и ты пригласил меня остаться позавтракать с тобой. Мы пили чай, приготовленный в столовой невидимой услужливой рукой, и болтали. Ты опять говорил со мной открыто и сердечно, избегая нескромных вопросов и не выпытывая, кто я такая. Ты не спрашивал ни имени моего, ни адреса, я была для тебя случайным приключением, чем-то безличным, жгучей минутой, бесследно исчезающей во мгле забвения. Ты рассказывал, что скоро предпримешь большое путешествие в Северную Африку, на два или три месяца. Я вздрогнула среди своего счастья, потому что в ушах у меня уже звучало: «Прошло, прошло – и забыто!» С какой радостью бросилась бы я перед тобой на колени и закричала: «Возьми меня с собой, тогда ты узнаешь меня наконец, наконец после стольких лет!» Но я так робела, так боялась, была такой слабой перед тобой! Я только пробормотала: «Как жаль!» Ты, улыбаясь, взглянул на меня: «Тебе в самом деле жаль?»

Тогда мной овладел внезапный порыв. Я встала и долго и твердо смотрела на тебя. Потом я сказала: «Человек, которого я любила, тоже постоянно уезжал». Я смотрела на тебя, в самую глубину твоих глаз. «Теперь, теперь он узнает меня!» – стонало и дрожало в моей груди. Но ты улыбнулся мне и, утешая, сказал: «Из путешествий ведь возвращаются». – «Да, – ответила я, – возвращаются, но успевай забыть». Была какая-то загадочная страстность в том, как я это сказала, потому что теперь встал и ты и посмотрел на меня с удивлением и теплой лаской. Ты взял меня за плечи. «Хорошее не забывается, тебя я не забуду», – сказал ты, и при этом твой взор погрузился в глубину моих глаз, словно ты старался запечатлеть в памяти мой образ. И, чувствуя, как проникает в меня этот ищущий взор, впитывающий в себя все мое существо, я подумала, что наконец, наконец пелена упадет с твоих глаз. «Он узнает меня, узнает меня!» Душа моя ликовала при этой мысли.

Но ты не узнал меня. Нет, ты не узнал меня, и никогда я не была более чужда тебе, чем в этот миг, а то... а то ты не сделал бы того, что ты сделал через несколько минут. Ты поцеловал меня, ты еще раз страстно целовал меня. Мне пришлось снова поправить растрепавшиеся волосы, и, когда я подошла к зеркалу и смотрела в него, я увидела, – я чуть не упала от ужаса и стыда, – я увидела, как ты тайком сунул в мою муфту две крупные купюры. Как я только удержалась, чтобы не вскрикнуть, чтобы не ударить тебя по лицу: ты платил за эту ночь мне, любившей тебя с детства, и матери твоего ребенка! Я была для тебя только проституткой из Табарена, не больше, – ты заплатил, заплатил за меня! Мало того что я была забыта тобой, я должна была еще испытать унижение от тебя.

Я начала торопливо хватать свои вещи. Я хотела уйти, поскорее уйти. Мне было слишком больно. Я схватила шляпу, она лежала на письменном столе возле вазы с белыми розами, моими розами. Тут меня охватило могучее, неудержимое желание; я хотела сделать еще одну попытку напомнить тебе о себе. «Не дашь ли ты мне одну из твоих белых роз?» – «С удовольствием», – ответил ты и быстро вынул цветок. «Но, может быть, тебе подарила их женщина – женщина, которая тебя любит?» – «Возможно, – сказал ты, – я не знаю. Они присланы мне, и я не знаю кем. За это я их люблю». Я взглянула на тебя. «Может быть, они тоже от женщины, забытой тобой!»

Ты изумленно посмотрел на меня. Я твердо встретила твой взгляд. «Узнай меня, узнай же меня наконец!» – кричал мой взор. Но твои глаза светились лаской и неведением. Ты еще раз поцеловал меня. Но ты меня не узнал.

Я поспешно направилась к дверям, потому что слезы готовы были брызнуть у меня из глаз, а этого ты не должен был видеть. В передней я столкнулась с твоим слугой Иоганном. Он проворно отскочил в сторону, услужливо открыл передо мною дверь, и в этот миг, – ты слышишь? – в этот короткий миг, когда я заплаканными глазами поглядела на старика, в его глазах блеснул какой-то свет. В этот миг, – ты слышишь? – в этот миг Иоганн узнал меня, ни разу не видев с детства. Я хотела встать перед ним на колени и целовать ему руки за то, что он узнал меня. Но я только вырвала из муфты эти ужасные деньги, которыми ты пригвоздил меня к позорному столбу, и сунула их старику. Он задрожал, испуганно посмотрел на меня, – в этот миг он, пожалуй, больше отгадал обо мне, чем ты за всю твою жизнь. Все, все люди любили меня, все были ко мне добры, только ты, только ты один забыл меня, только ты один ни разу не узнал меня!

Мой ребенок умер; наш ребенок умер, и теперь у меня нет никого на всем свете, кого бы я любила, кроме тебя. Но кто ты для меня, ты, ни разу, ни разу не узнавший меня, проходящий мимо меня, как мимо пустого места, наступающий на меня, как на камень, живущий своей жизнью и заставляющий меня без конца ждать? Один раз мне казалось, что я удержала тебя, неуловимого, в ребенке. Но это был твой ребенок: он жестоко покинул меня и отправился в путешествие; он забыл меня и больше не вернется. Я опять одинока, более одинока, чем когда-

либо. У меня ничего нет, ничего нет от тебя, ни ребенка, ни слова, ни строчки, никакого знака памяти, и, если кто-нибудь произнес бы при тебе мое имя, оно ничего не сказало бы тебе. Почему мне не желать смерти, когда я мертва для тебя, почему не уйти, раз ты ушел от меня? Нет, любимый, я не упрекаю тебя, я не хочу бросить свое горе в твой озаренный радостью дом. Не бойся, что я стану надоедать тебе; прости мне, я должна была выплакать свою душу в час смерти своего ребенка. Только раз я должна была поговорить с тобой, – потом я опять уйду во мрак и буду молчать, как я всегда молчала возле тебя. Но ты не услышишь этого крика, пока я жива, – только когда я умру, получишь ты это мое завещание, завещание женщины, любившей тебя больше, чем все другие, и которой ты никогда не узнавал, всегда ожидавшей тебя, и которую ты не позвал. Может быть, может быть, ты позовешь меня тогда, и я в первый раз буду непослушна тебе: я не услышу тебя из своей могилы. Я не оставлю тебе ни портрета, ни знака памяти, как и ты мне ничего не оставил; никогда ты не узнаешь меня, никогда. Такова была моя судьба при жизни, пусть будет так и теперь, когда я умираю. Я не хочу звать тебя в мой последний час. Я ухожу, и ты не знаешь ни моего имени, ни моего внешнего облика. Я умираю легко, потому что ты не чувствуешь этого издали. Если бы тебе было больно, что я умираю, я не могла бы умереть.

Я не могу больше писать... у меня такая тяжесть в голове... все тело ломит, у меня жар... кажется, мне придется сейчас лечь. Может быть, это скоро пройдет, а может быть, судьба на этот раз сжалится надо мной и мне не придется видеть, как унесут мое дитя... Я больше не могу писать... Прощай, любимый, прощай, благодарю тебя... Все, что было, было прекрасно; несмотря ни на что... я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо – я сказала тебе все, ты теперь знаешь, вернее, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила, и в то же время эта любовь не ложится бременем на тебя. Тебе не будет недоставать меня – это меня утешает. Ничто не изменится в твоей красивой, светлой жизни... я не омрачу ее своей смертью... это утешает меня, мой любимый.

Но кто... кто будет посылать тебе белые розы ко дню твоего рождения? Ах, ваза будет пуста, легкое дуновение моей жизни, раз в год залетавшее в твою жизнь, развеется и оно! Любимый, послушай, я прошу тебя... это моя первая и последняя просьба к тебе... исполни это ради меня: каждый раз, в день твоего рождения – ведь это день, когда думают о себе, – бери розы и ставь их в вазу. Делай это, любимый, делай это так, как другие раз в году служат панихиду по дорогой им усопшей. Но я больше не верю в Бога и не хочу панихид, я верю только в тебя, я люблю только тебя и жить еще хочу только в тебе... ах, только один день в году, тихо-тихо, как я жила возле тебя... Я прошу тебя, исполни это, любимый... это моя первая просьба к тебе и последняя... я благодарю тебя... я люблю тебя, я люблю тебя... прощай...

* * *

Он дрожащей рукой отложил письмо. Потом он долго сидел задумавшись. Смутные воспоминания вставали в нем о ребенке соседей, о девушке, о женщине в ночном ресторане, но воспоминания неясные, расплывчатые, как мерцание камня, видимого сквозь воду на дне реки. Беспреданно набегали тени и мешали сложиться отчетливому образу. В его чувствах оживали воспоминания, но он все-таки не мог вспомнить. Ему казалось, что он часто видел все это во сне, в глубоком сне, но только во сне. Тут его взор упал на голубую вазу на письменном столе перед ним. Она была пуста, в первый раз за много лет пуста в день его рождения. Он вздрогнул, ему показалось, что распахнулась дверь и холодный ветер повеял из другого мира в его спокойную комнату. Он чувствовал дыхание смерти и дыхание бессмертной любви; что-то раскрывалось в его душе, и он думал об умершей жизни как о чем-то бестелесном, как об отдаленной страстной музыке.

Улица в лунном свете

Пароход, задержанный бурей, только поздно вечером бросил якорь в маленькой французской гавани; ночной поезд в Германию уже ушел. Предстояло, таким образом, провести лишний день в незнакомом месте, а вечер не сулил никаких развлечений, кроме унылой музыки дамского оркестра в каком-нибудь увеселительном заведении или скучной беседы с совершенно случайными спутниками. Невыносимым показался мне чадный, сизый от дыма воздух в маленьком ресторане гостиницы, тем более что на губах у меня еще соленым холодком отдавалось чистое дыхание моря. Я пошел поэтому наудачу, по широкой светлой улице, в сторону площади, где играл оркестр гражданской гвардии, а оттуда – еще дальше, среди неторопливого потока гуляющих. Сначала мне было приятно так безвольно покачиваться в волнах равнодушной, по-провинциальному разодетой толпы, но все же мне вскоре стала несносна эта близость чужих людей, их отрывистый смех, глаза, которые останавливались на мне с удивлением, отчужденностью или усмешкой, прикосновения, незаметно толкавшие меня вперед, свет, льющийся из тысячи источников, и непрерывное шарканье шагов. Морскому плаванию сопутствовало непрерывное движение, и в крови у меня еще бродило сладостное чувство дурмана; все еще под ногами ощущались качка и зыбь, земля словно дышала и приподнималась, а улица как бы уходила в небо. Голова у меня вдруг закружилась, и, чтобы укрыться от шума, я свернул в переулок, не поглядев, как он называется, оттуда – в другой, поуже, где постепенно стал замирать нестройный гомон, и пустился затем бесцельно блуждать по лабиринту разветвленных, точно жилы, улочек, все более темных по мере того, как я удалялся от главной площади. Большие дуговые фонари, эти луны центральных улиц, здесь не горели, и благодаря скудному освещению я наконец снова увидел звезды и черное облачное небо.

Я находился, по-видимому, недалеко от гавани, в матросском квартале – это чувствовалось по острому запаху рыбы, по тому сладковатому гнилостному запаху, какой сохраняют водоросли, выброшенные прибоем на берег, по тому присущему затхлым помещениям чаду, которым пропитаны такие закоулки, пока сильная буря не опахнет их своим дыханием. Мне были по душе полумрак и неожиданное одиночество, я замедлил шаги, осматривая одну улицу за другой, – и ни одна из них не была похожа на свою соседку; одни были миролюбивы, другие – разгульны, но все погружены во тьму и полны глухим шумом голосов и музыки, так таинственно льющихся из-под темных сводов, что почти нельзя было угадать его скрытого источника; ибо все дома были заперты и только мигали красным или желтым огоньком.

Я люблю эти улицы в чужих городах, этот грязный рынок всех страстей, тайное нагромождение всех соблазнов для моряков, которые после одиноких ночей в чужих и опасных морях заходят сюда на одну ночь, чтобы в течение часа осуществить свои долгие томительные сны. Они должны прятаться где-нибудь в нижней части большого города, эти узенькие переулки, ибо они нагло и назойливо говорят о том, что за сотнями личин скрывают светлые дома с зеркальными окнами и добропорядочными обитателями. Музыка призывно звучит здесь в тесных зальцах, кинематографы своими кричащими афишами обещают неслыханное великолепие, четырехгранные фонарики, приютившись под воротами, подмигивают приветливо и недвусмысленно, сквозь приоткрытые двери мелькает обнаженное тело под позолоченной мишурой. Из кабаков доносятся пьяные голоса и крики ссорящихся игроков. Матросы ухмыляются, когда встречаются друг друга, их глаза горят от предвкушения, ибо здесь есть все: вино и женщины, зрелища и азарт, самые низкие и самые возвышенные приключения. Но все это робко и все же предательски явно притаилось за лицемерно опущенными ставнями, все скрыто от взоров, и эта кажущаяся замкнутость волнует двойным соблазном тайны и доступности. Улицы эти – одни и те же и в Гамбурге, и в Коломбо, и в Гаване, они похожи друг на друга, как схожи между собой роскошные проспекты больших городов, потому что верхи и

низы жизни повсюду имеют то же внешнее обличие. Последние причудливые остатки хаотически-чувственного мира, где инстинкты еще действуют грубо и необузданно, темные дебри страстей, кишашие похотливым зверьем, – таковы эти отверженные улицы, волнующие тем, что в них мерещится, и прельщающие тем, что в них скрыто. О них можно грезить.

Такою была и эта улица, у которой я вдруг очутился в плену. Наудачу пошел я следом за двумя кирасирами, чьи сабли бряцали по неровной мостовой. Из одного кабачка их окликнули какие-то женщины; они рассмеялись и ответили грубыми шутками, один из них постучал в окно, потом где-то раздалась брань, они пошли дальше; смех звучал все глуше и, наконец, замер совсем. Опять улица стала безмолвной, несколько окон тускло поблескивали в неярком свете луны. Я стоял и глубоко вдыхал эту тишину, казавшуюся мне поразительной, ибо за ней мне чудилось что-то тайное, нечистое и опасное. Явственно ощущал я, что эта тишина – обман и что в мгlistом чаду этой улицы тлеет нечто от гнили нашего мира. Но я стоял, не двигаясь, и прислушивался к пустоте. Я уже не чувствовал ни города, ни улицы, ни названия ее, ни своего имени; я сознавал только, что я здесь чужой, что я растворился в неведомом, что нет у меня ни цели, ни дела, ни связи с этой темной жизнью, и все же я ощущаю ее с такой же полнотой, как кровь в своих жилах. Только одно чувство владело мной: ничто здесь не происходит ради меня и тем не менее все принадлежит мне, – то блаженное чувство глубочайшего и подлиннейшего переживания, которое достигается внутренним неучастием и которым, как живой водой, питается мое существо при каждом соприкосновении с неведомым. И вдруг, в то время как я, прислушиваясь, стоял среди пустынной улицы, как бы в ожидании чего-то, что должно произойти, чего-то, что выведет меня из этой лунатической настороженности в пустоте, до моего слуха донеслась немецкая песня, она звучала приглушенно, не то из-за стены, не то откуда-то очень издалека; женский голос пел бесхитростную мелодию из «Вольного стрелка»: «Дивный, девственный веноч», – пел очень плохо, но все же то была немецкая мелодия – здесь, в чужом закоулке мира, и потому как-то особенно родная. Песня доносилась неведомо откуда, но для меня она звучала приветом, первым после долгой разлуки приветом родины. Кто говорит здесь на моем языке, спрашивал я себя, в этом глухом закоулке, из чьей груди ожившее воспоминание исторгло этот простенький напев? Я пошел на голос вдоль темных, точно дремлющих домов с закрытыми ставнями, за которыми предательски мелькали огни, а иногда и манящая рука. Кое-где висели крикливые надписи, яркие афиши, и притаившийся кабачок сулил виски, пиво, эль, но все было заперто, неприступно и вместе с тем зазывало прохожих. Иногда вдалеке раздавались шаги, но голос звучал непрерывно, все громче выводя припев и все приближаясь; наконец, вот и нужный мне дом. Немного поколебавшись, я подошел к внутренней двери, плотно занавешенной белыми шторами. Но в этот миг что-то шевельнулось в потемках, какая-то фигура, которая притаилась там, прижавшись к стеклу, испуганно отскочила, и я увидел лицо, залитое красным светом фонаря и все же бледное от ужаса: мужчина растерянно посмотрел на меня, пробормотал что-то вроде извинения и исчез в полумраке улицы. Станным он мне показался. Я посмотрел ему вслед. Ускользавший силуэт его был еще смутно виден. Изнутри по-прежнему доносилось пение все громче, все призывнее. Я отворил дверь и быстро вошел.

Песня оборвалась, точно отрезанная ножом, и я с испугом почувствовал перед собой пустоту, враждебное молчание, как будто я что-то вдребезги разбил. Лишь постепенно взгляд мой освоился с обстановкой почти пустой комнаты. Она состояла из буфетной стойки и стола. Все это служило, несомненно, только преддверием к другим комнатам, назначение которых легко было угадать по приглушенному свету ламп и приготовленным постелям, видневшимся сквозь приоткрытые двери. Перед стойкой, облокотившись на нее, стояла накрашенная женщина с утомленным лицом, за стойкой – хозяйка, тучная, какая-то грязновато-серая, и еще одна, довольно миловидная, девушка. Мои слова приветствия упали камнем в пространство, и только после паузы послышался вялый ответ. Мне стало не по себе от этого принужденного

тоскливого молчания, и я охотно повернул бы обратно, но не находил для этого предлога, а потому покорно уселся за стол. Женщина у стойки, вспомнив о своих обязанностях, спросила, что мне подать, и по ее выговору я сразу угадал в ней немку. Я заказал пива. Она пошла и принесла пиво, и в ее походке выражалось еще яснее равнодушие, чем в тусклых глазах, едва мерцавших из-под век, словно угасающие свечи. Совершенно машинально, по обычаю подобных заведений, поставила она рядом с моим стаканом второй для себя. Взгляд ее, когда она чокнулась со мной, лениво скользнул мимо меня: я мог без помехи рассмотреть ее. Лицо у нее было, в сущности, еще красивое, с правильными чертами, но, словно от душевного изнеможения, огрубело и застыло, как маска; все в нем было дрябло; веки – припухшие, волосы – обвисшие; одутловатые щеки, в пятнах дешевых румян, уже спускались широкими складками ко рту. Платье тоже было накинуто небрежно, голос – сиплый от табачного дыма и пива. Все говорило о том, что передо мною человек смертельно усталый, продолжающий жить только по привычке, ничего не чувствуя. Мне стало жутко, и, чтобы нарушить молчание, я задал ей какой-то вопрос. Она ответила, не глядя на меня, равнодушно и тупо, еле шевеля губами. Я чувствовал себя лишним. Хозяйка зевала, другая девушка сидела в углу, поглядывая на меня, как будто ждала, что я ее позову. Я рад был бы уйти, но не мог сдвинуться с места и тупо, словно захмелевший матрос, сидел в затхлой, душной комнате, прикованный к стулу любопытством, – было что-то пугающее и непонятное в царившем здесь равнодушии.

И вдруг я вздрогнул, услышав резкий хохот сидевшей подле меня женщины. В ту же минуту лампа замигала: по сквозняку я понял, что за моей спиной приоткрылась дверь.

– Опять пришел? – насмешливо и злобно крикнула она по-немецки. – Опять уже бродишь вокруг дома, ты, сквалыга? Ну, да уж входи, я тебе ничего не сделаю.

Я круто повернулся сначала к ней, так пронзительно крикнувшей эти слова, точно пламя вырвалось из нее, а потом к входной двери. И еще не успела она открыться, как я узнал пошатывающуюся фигуру, узнал смиренный взгляд того самого человека, что стоял в подъезде, словно прилипнув к дверям. Он робко, как нищий, держал шляпу в руке и дрожал от резких слов, от смеха, который сотрясал грузную фигуру женщины и на который хозяйка за стойкой отозвалась торопливым шепотом.

– Туда садись, к Франсуазе, – приказала женщина бедняге, когда он, крадучись, опасливо ступил вперед. – Видишь, у меня гость.

Она крикнула это по-немецки. Хозяйка и девушка громко рассмеялись, хотя понять ничего не могли, но посетитель был им, по-видимому, знаком.

– Дай ему шампанского, Франсуаза! Принеси бутылку того, что подороже! – со смехом крикнула она и опять обратилась к нему: – Если для тебя дорого, оставайся на улице, скряга несчастный. Тебе небось хотелось бы бесплатно глазеть на меня, я знаю, все тебе хочется иметь бесплатно.

Длинная фигура посетителя съезжилась от этого злого смеха, спина согнулась, лицо отворачивалось, словно хотело спрятаться, и рука, которая взялась за бутылку, так сильно дрожала, что вино пролилось на стол. Он силился поднять на женщину глаза, но не мог оторвать их от пола, и они бесцельно блуждали по кафельным плиткам. Теперь только, при свете лампы, я разглядел это истощенное, бледное, помятое лицо, влажные, жидкие волосы на костистом черепе, дряблые и точно надломленные запястья – убожество, лишенное силы, но все же нечуждое какой-то злости. Искривлено, сдвинуто было в нем все и придавлено, и взгляд, который он вдруг метнул и тотчас же опять отвел в испуге, вспыхнул злым огоньком.

– Не обращайтесь на него внимания, – сказала мне женщина по-французски и взяла меня за локоть, точно хотела силой повернуть к себе. – У меня с ним старые счеты, не со вчерашнего дня. – И опять крикнула ему, оскалив зубы, точно для укуса: – Подслушивай, подслушивай, старая ехидна! Хочешь знать, что я говорю? Говорю, что скорее в море кинусь, чем к тебе пойду.

Снова рассмеялись хозяйка и другая девушка, тупо осклабившись; очевидно, это была для них обычная забава, повседневное развлечение. Но мне стало жутко, когда я увидел, как Франсуаза подседа к нему и с напускной нежностью начала приставать с любезностями, от которых он содрогался в ужасе, не решаясь их отвергнуть; страх охватывал меня каждый раз, как его блуждающий взгляд униженно и подобострастно останавливался на мне. И ужас вселяла в меня женщина, сидевшая рядом со мной, очнувшаяся вдруг от спячки и искрившаяся такой злобой, что у нее дрожали руки. Я бросил деньги на стол и хотел уйти, но она их не взяла.

– Если он мешает тебе, я его выгоню вон, собаку. Он должен слушаться. Выпей-ка еще стакан со мною. Иди сюда.

Она прижалась ко мне в неожиданном страстном порыве, разумеется, наигранном, только чтобы помучить того. Она все косилась в его сторону, и мне противно было видеть, как он вздрагивал, точно от прикосновения раскаленного железа. Не обращая на нее внимания, я следил только за ним и с трепетом видел, как в нем росло что-то вроде ярости, гнева, желания и зависти и как он сразу весь съеживался, чуть только она поворачивала к нему голову. Она все крепче прижималась ко мне, я чувствовал, как она дрожит, наслаждаясь жестокой игрой, и меня жуть брала от ее накрашенного, пахнувшего дешевой пудрой лица, от запаха ее дряблого тела. Чтобы отодвинуться от нее, я достал сигару, и не успел я поискать глазами спички, как она уже властно крикнула ему:

– Дай закурить!

Я испугался еще больше, чем он, столь гнусного требования от него услуг и порывисто схватился за карман в поисках спичек; но, подхлестнутый ее словами, как бичом, он уже подошел ко мне своею неверной, шаткой поступью и быстро, словно боясь обжечься, если дотронется до стола, положил на него свою зажигалку. На мгновение наши взгляды скрестились: бесконечный стыд прочел я в его глазах и яростное ожесточение. И этот поработанный взгляд поразил во мне мужчину, брата. Я почувствовал, до какого унижения довела его женщина, и устыдился вместе с ним.

– Очень вам благодарен, – сказал я по-немецки (она встrepенулась), – напрасно побеспокоились. – И я подал ему руку. Долгое колебание, потом я ощутил влажные, костлявые пальцы и вдруг – судорожное, признательное пожатие. На секунду его глаза блеснули, встретив мой взгляд, потом опять скрылись под опущенными веками. Назло женщине я хотел попросить его присесть к нам, и, должно быть, рука моя уже поднялась для приглашающего жеста, потому что она торопливо прикрикнула на него:

– Ступай в свой угол и не мешай нам!

Тут меня вдруг охватило отвращение к ее хриплому, язвительному голосу, к этому мерзкому мучительству. На что мне этот закопченный вертеп, эта противная проститутка, этот слабоумный мужчина, этот чад от пива, дыма и дешевых духов? Меня потянуло на воздух. Я сунул ей деньги, встал и энергично высвободился из ее объятий, когда она попыталась удержать меня. Мне претило участвовать в этом унижении человека, и мой решительный отпор ясно показал ей, как мало прельщают меня ее ласки. Тогда в ней вспыхнула злоба, она открыла было рот, но все же не решилась разразиться бранью и вдруг, в порыве непритворной ненависти, повернулась к нему. Он же, чуя недоброе, торопливо и словно подстегиваемый ее угрожающим видом, выхватил из кармана дрожащими пальцами кошелек.

Он явно боялся остаться теперь с ней наедине и впопыхах не мог распутать узел кошелька, – это был вязаный кошелек, вышитый бисером, какие носят крестьяне и мелкий люд. Легко было заметить, что он не привык быстро тратить деньги, не в пример матросам, которые достают их пригоршнями из кармана и швыряют на стол; он, видимо, знал счет деньгам и, прежде чем расстаться с монетой, любил подержать ее в руке.

– Как он дрожит за свои милые денежки! Не идет дело? Погоди-ка! – глумилась она и приблизилась на шаг. Он отшатнулся, а она при виде его испуга сказала, пожав плечами и с

неописуемым омерзением во взгляде: – Я у тебя ничего не возьму, плевать мне на твои деньги. Знаю, все они у тебя на счету, твои славные деньжата, ни одного гроша лишнего не выпустишь. Но только, – она неожиданно похлопала его по груди, – как бы кто не украл у тебя бумажки, зашитые тут.

И вправду, как сердечный больной внезапно судорожно хватается за сердце, так он прижал бледную и дрожащую руку к груди, невольно ошупывая пальцами потайное местечко, и, успокоившись, опустил ее.

– Скрыга, – выплюнула она. Но тут лицо мученика побагровело, он с размаху бросил кошелек Франсуазе, – та сначала вскрикнула от испуга, а затем расхохоталась, – и ринулся мимо нее к двери, точно спасаясь от пожара.

Женщина мгновение стояла выпрямившись, вся пылая злой яростью. Потом опять вяло опустили веки, устало ссутулились плечи. Старой, утомленной сделалась она в одну минуту. Какая-то растерянность мелькнула в ее взгляде, остановившемся на мне. Как пьяная, со смутным чувством стыда очнувшись от дурмана, стояла она передо мною.

– На улице он будет хныкать, оплакивая свои деньги, еще побежит, чего доброго, в полицию, скажет, что мы его обобрали. А завтра опять явится. Но я ему все-таки не достанусь. Всем, только не ему.

Она подошла к стойке, бросила на нее несколько монет и залпом выпила рюмку водки. Злой огонь опять загорелся в ее глазах, но тускло, точно сквозь слезы ярости и стыда. Отвращение к ней пересилило во мне жалость.

– До свиданья, – сказал я.

Ответила только хозяйка. Женщина не оглянулась и лишь засмеялась хрипло и насмешливо.

Улица, когда я вышел, была сплошной ночью и небом, сплошной душной мглой в затуманенном, бесконечно далеком лунном свете. Жадно вдохнул я теплый, но все же бодрящий воздух; страх и омерзение растворились в великом изумлении перед тем, как многообразны судьбы людские, и снова я ощутил – это чувство способно радовать меня до слез, – что за каждым окном неминуемо притаилась чья-нибудь судьба, каждая дверь вводит в какую-нибудь драму; жизнь вездесуща и многогранна, и даже грязнейший уголок ее так и кишит, словно блестящими навозными жуками, готовыми образами.

Забилось все гнусное в виденном мною, нервное напряжение перешло в сладостную истому, и меня уже тянуло преобразить пережитое в приятных сновидениях. Я невольно огляделся по сторонам, стараясь найти дорогу домой в этом запутанном клубке переулков. Но тут – по-видимому, бесшумно подкравшись ко мне, – какая-то тень выросла передо мною.

– Простите, – я сразу узнал этот смиренный голос, – но вы, кажется, заблудились. Не разрешите ли... Не разрешите ли показать вам дорогу? Вы где изволите жить?..

Я назвал свою гостиницу.

– Я провожу вас... если позволите, – тотчас же прибавил он униженным тоном.

Мне опять стало жутко. Эти крадущиеся, призрачные шаги, почти неслышные и все же неотступные, во мраке портового квартала, вытеснили мало-помалу воспоминание о пережитом, заменив его каким-то безотчетным смятением. Я чувствовал смиренное выражение его глаз, не видя их, замечал подергивание губ; я знал, что он хочет со мной говорить, но не поощрял и не останавливал его, подчиняясь овладевшему мной дурману, в котором любопытство сочеталось с физической скованностью. Он несколько раз кашлянул, я угадывал его подавляемые попытки заговорить, но какая-то жестокость, таинственным образом передававшаяся мне от той женщины, тешилась происходившей в нем борьбой между стыдом и душевным порывом; я не приходил ему на помощь, предоставляя молчанию черной тучей тяготеть над нами. И вразброд звучали наши шаги, его – скользкие, старческие, мои – нарочито гулкие и энергичные, в стремлении уйти от этого грязного мира. Все сильнее чувствовал я напряжение, возник-

шее между нами: истошным немим криком было это молчание до отказа натянутой струны; но вот наконец он нарушил его – с какою отчаянной робостью! – и заговорил:

– Вы были там... вы были... сударь... свидетелем очень странной сцены... Простите... простите, что я к ней возвращаюсь, но она должна была показаться вам очень странной... а я – очень смешным... Эта женщина... она, видите ли...

Он опять запнулся. Что-то комом стояло у него в горле. Потом голос у него упал до шепота, и он торопливо пролепетал:

– Эта женщина... она моя жена.

Я, вероятно, вздрогнул от удивления, потому что он поспешил добавить, словно оправдываясь:

– То есть... она была моей женой... Лет пять тому назад... В Гессене, в Герацгейме, я оттуда родом... Я не хотел бы, сударь, чтобы вы были о ней дурного мнения... Это, может быть, моя вина, что она такая... Она такой не всегда была... Я... я мучил ее. Я взял ее, хотя она была очень бедна, даже белья у нее не было, ничего, решительно ничего... а я богат... то есть состоятелен... не богат... или, во всяком случае, в ту пору у меня водились деньги... и знаете ли, сударь, я, может быть, и вправду был – она права – бережлив... но это все раньше, до несчастья, и я себя за это проклиная... Но и отец мой был бережлив, и мать, все... И мне каждый грош доставался с большим трудом... а она была легкомысленна, любила красивые вещи... и при этом была бедна, и я постоянно попрекал ее этим... Мне не следовало так поступать, теперь я это знаю, сударь, потому что она горда, очень горда... Вы не думайте, что она такая, какой притворяется... Это неправда, и она сама себя этим мучает... только... только для того, чтобы меня мучить... и... потому что... потому что ей стыдно... Может быть, она и вправду стала дурной женщиной, но я... я этому не верю... потому что, сударь, она была хорошая, очень хорошая.

Он вытер глаза и остановился, превозмогая волнение. Невольно я взглянул на него, и вдруг он перестал казаться мне смешным, и даже это странное, угодливое обращение «сударь», которым пользуются в Германии только низшие сословия, не коробило меня больше. Лицо его говорило о том, каких усилий ему стоит каждое слово, и, когда он, пошатываясь, тяжело ступая, пошел дальше, глаза его были устремлены на камни мостовой, как будто он читал на них в неверном свете луны то, что так мучительно вырывалось из его сдавленной гортани.

– Да, сударь, – сказал он, глубоко переводя дыхание и совсем другим, низким голосом, исходившим как бы из сокровенных глубин его души, – она была хорошая, добрая, добрая и ко мне, была очень благодарна за то, что я избавил ее от нищеты... и я знал, что она благодарна... но... я хотел это слышать... вновь и вновь... мне было радостно слушать слова благодарности, сударь, так бесконечно радостно воображать, что я лучше ее... а ведь я знал, знал, что я хуже... я отдал бы все свои деньги за то, чтобы это постоянно слышать... А она была очень горда и не хотела повторять, когда заметила, что я требую ее благодарности... Поэтому... только поэтому, сударь, заставлял я ее всегда просить... никогда не давал добровольно... Мне приятно было, что из-за каждого платья, из-за каждой ленты ей приходилось попрошайничать... Три года я ее мучил, и все сильнее... Но я это делал, сударь, только потому, что любил ее... Мне нравилось, что она горда, и все же в своем безумии я всегда хотел сломить ее гордость... и когда она что-нибудь просила, я сердился... Но это было, сударь, притворством... для меня была блаженством каждая возможность ее унижить, потому что... потому что я и сам не знал, как люблю ее...

Он опять умолк. Шел он, сильно пошатываясь. Обо мне он, по-видимому, совсем забыл. Говорил бессознательно, как во сне, и голос его становился все громче.

– Это... это я понял тогда лишь... в тот злосчастный день... когда я отказал ей в деньгах для ее матери, в совсем ничтожной сумме... то есть я уже приготовил их, но хотел, чтобы она пришла еще раз... еще раз попросила... Так что я говорил?.. да, тогда я это понял, когда

вернулся домой, а ее не было, только записка на столе... «Оставайся при своих проклятых деньгах, мне больше ничего не надо от тебя»... – вот что было написано, больше ничего... Сударь, я три дня и три ночи безумствовал. Велел обыскать лес и реку, переплатил уйму денег полиции... бегал по всем соседям, но они только смеялись и глумились... Никаких следов не удалось найти, никаких... Наконец мне сказали, в соседней деревне, что видели ее... в поезде с каким-то солдатом... она уехала в Берлин... В тот же день и я туда поехал... бросил свое дело... потерял много тысяч... меня обкрадывали мои работники, мой управляющий, все, все... Но, клянусь вам, сударь, мне было все равно... Я прожил неделю в Берлине, прежде чем разыскал ее в этом людском водовороте... и пошел к ней...

Он замолчал и тяжело перевел дыхание.

– Сударь, клянусь вам... ни слова упрека не сказал ей... я плакал... стоял на коленях... предлагал ей деньги... все свое состояние, пусть распоряжается им, потому что тогда я уже знал... знал, что не могу жить без нее... Я люблю каждый волосок ее... ее рот, ее тело, все, все... и ведь это я, один я столкнул ее... Она побледнела как смерть, когда я неожиданно вошел... я подкупил ее хозяйку, сводню, гадкую, низкую женщину... Она была как мел бледна... Выслушала меня. Сударь, мне кажется, она... да, она почти обрадовалась, увидев меня... Но когда я заговорил о деньгах... а ведь сделал я это только для того, чтобы показать ей, что больше не думаю о них... то она плюнула... а потом... так как я все еще не хотел уходить... позвала своего любовника, они надо мной издевались... Но я, сударь, все равно ходил туда каждый день. Жильцы того дома рассказали мне все, я узнал, что этот негодяй ее бросил, что она в нужде, и тогда я пошел еще раз к ней... еще раз, сударь, но она накинулась на меня и разорвала деньги, которые я украдкой положил на стол, а когда я все-таки опять пришел, ее уже не было... Чего только не делал я, сударь, чтобы разыскать ее снова! Целый год, клянусь вам, я не жил, я только выслеживал ее, нанимал агентов, пока не узнал, наконец, что она за морем, в Аргентине... в одном... в одном дурном доме...

Он умолк, задыхаясь. Последние слова он едва прохрипел. Потом опять заговорил, глухо, с трудом:

– Я очень испугался... сперва... но потом подумал, что по моей, только по моей вине она до этого дошла... И я знал, как сильно должна она, бедная, страдать... потому что она горда, прежде всего горда... Я пошел к своему поверенному, тот написал в консульство и послал деньги... не указав, от кого... лишь бы только она вернулась. Мне телеграфировали, что все удалось... я знал, на каком пароходе... и поджидал его в Амстердаме... приехал за три дня, так я горел нетерпением... Наконец, он прибыл... какое это было счастье, когда дым показался на горизонте, я думал, у меня не хватит сил дождаться... так медленно, медленно он причаливал, и потом пассажиры начали спускаться по сходням, и, наконец, она, она... Я ее не сразу узнал... Она была другая... накрашенная... и уже такая... такая, какую вы ее видели... И когда она меня заметила, она вся помертвела... два матроса подхватили ее, иначе она упала бы в воду... Чуть только она ступила на берег, я подошел к ней... Я не говорил ничего... спазма сдавила горло... Она тоже ничего не говорила... и не смотрела на меня... Носильщик пошел вперед с вещами, мы шли и шли... Вдруг она остановилась и сказала... Сударь, как она это сказала... так мучительно больно мне сделалось, так печально это прозвучало... «Ты все еще согласен, чтобы я была твоей женой? Еще и теперь?..» Я взял ее за руку... Она вздрогнула, но не сказала ничего. Но я чувствовал, что теперь все опять хорошо... Сударь, как счастлив я был! Я плясал вокруг нее, как ребенок, когда мы вошли в комнату, я упал к ее ногам... Говорил глупости, должно быть... потому что она улыбалась сквозь слезы и ласкала меня... очень робко, разумеется... но, сударь... каким это было для меня блаженством... сердце мое таяло... Я бегал по лестнице вниз, вверх, заказал обед в ресторане при гостинице... наш свадебный обед... помог ей одеться... и мы сошли вниз, ели, пили, веселились... Она была весела, как ребенок, такая сердечная, добрая, и говорила о нашем доме... и как мы теперь опять заживем... но тут... –

Голос его вдруг сорвался, и он сделал рукою движение, словно хотел кого-то сокрушить. – Там был один официант... скверный, низкий человек... он подумал, что я пьян, потому что я безумствовал, и плясал... и валился со стула от смеха... а ведь я только был счастлив... так счастлив!.. И вот... когда я заплатил, он дал мне на двадцать франков меньше сдачи... Я на него накричал и потребовал остальное... Он смутился и положил золотую монету на стол... И тут... она вдруг громко расхохоталась... Я смотрел на нее, но это было другое лицо... оно сразу стало насмешливым и злым... «Какой ты все еще дотошный... даже в день нашей свадьбы!» – сказала она так холодно, резко... с жалостью... Я испугался, проклинал свою мелочность... старался опять развеселиться... Но ее веселье исчезло... умерло... Она потребовала отдельную комнату... чего бы я ни сделал для нее... и я лежал ночью один и все думал, что бы ей купить на другое утро... как бы ее задарить – показать ей, что я не скуп... что для нее мне ничего не жалко... И рано утром пошел и купил ей браслет, и когда я вернулся... комната была пуста... совсем как в тот раз. И я знал, на столе должна быть записка... Я убежал, я молился Богу, чтобы это было не так... но... но... записка все-таки лежала на столе... и я прочел...

Он замялся. Я невольно остановился и посмотрел на него. Он понурил голову. Потом хрипло прошептал:

– Я прочел... «Оставь меня в покое. Ты мне противен...»

Мы уже подошли к гавани, и вдруг в тишину ворвалось шумное дыхание надвигавшегося прибоя. С горящими глазами, точно большие черные звери, стояли там корабли, одни вблизи, другие подальше; откуда-то доносилась песня. Все было неразлично, и все же многое чувствовалось – тяжелый сон и тревожные грезы приморского города. Рядом с собою я видел тень моего спутника, она дергалась у меня под ногами, то растекаясь, то сжимаясь в неверном, тусклом свете фонарей. У меня не было слов ни в утешение, ни для вопроса, но молчание его точно липло ко мне, давило своей тяжестью. Вдруг он схватил меня за руку.

– Но я не уеду отсюда без нее... Много месяцев я ее разыскивал... Она меня терзает, но я не отступлюсь... Умоляю вас, сударь, поговорите с ней... Она должна быть моею, скажите ей это... меня она не слушает... Я больше не могу так жить... Я не могу больше видеть, как мужчины ходят к ней... и ждать перед домом, когда они выйдут... пьяные... Вся улица уже знает меня... надо мной смеются, потому что я стою и жду... это меня сводит с ума, и все-таки я каждый вечер опять прихожу... Сударь, умоляю вас... поговорите с ней... Я вас не знаю, но сделайте это ради Господа Бога... поговорите с ней...

Я невольно сделал движение, пытаясь вырвать руку. Мне было страшно. Но когда он почувствовал, что я отстраняюсь от его горя, он вдруг упал посреди улицы на колени и обхватил мои ноги.

– Заклинаю вас, сударь... Вы должны с ней поговорить... Должны... иначе... иначе случится несчастье... Я истратил все свои деньги, разыскивая ее, и здесь я ее не оставлю... живой не оставлю... купил себе нож... У меня, сударь, есть нож... Я ее не оставлю тут... живой... я не вынесу этого... Поговорите с ней, сударь...

Он в иступлении корчился передо мной. В конце улицы показались двое полицейских. Я силой заставил его встать. С минуту он оторопело смотрел на меня, потом сказал совсем чужим голосом, сухо и деловито:

– Сверните по этой улице налево. Там ваша гостиница. – Еще раз уставился он на меня глазами, в которых зрачки словно расплавились в какой-то ужасающей белой пустоте. Потом он исчез.

Я плотнее закутался в плащ. Меня знобило. Только усталость чувствовал я, дурман, непроницаемый и черный, точно я спал на ходу. Я хотел собраться с мыслями и все обдумать, но всякий раз во мне поднималась и уносила меня эта черная волна утомления. Я добрел до гостиницы, свалился на кровать и заснул, тупо, как животное.

Наутро я уж не знал, что в этом происшествии было явью, что сном, и безотчетно противился тому, чтобы в этом разобраться. Проснулся я поздно, чужой в чужом городе, и пошел осматривать церковь, которая, как мне сказали, славилась древней мозаикой. Но глаза мои не воспринимали того, что видели, все явственнее вставала в памяти встреча минувшей ночи, и меня непреодолимо потянуло в тот переулок, к тому дому. Но эти своеобразные улицы живут только по ночам, днем на них серые холодные маски, под которыми узнать их может только посвященный. Я не нашел этого переулочка. Усталый и раздосадованный, вернулся я домой, преследуемый видениями не то бреда, не то действительности.

Поезд мой уходил в девять часов вечера. С сожалением покидал я город. Носильщик взвалил на плечи мой багаж и, шагая впереди меня, понес его к вокзалу. И вдруг на одном перекрестке что-то словно кольнуло меня, и я круто остановился: я узнал поперечную улицу, ведущую к тому дому, велел подождать носильщику, который сначала не понял, но тут же ухмыльнулся с наглой фамильярностью, и пошел взглянуть на место происшествия.

Было темно, темно, как накануне, и в тусклом свете луны поблескивала застекленная дверь того дома. Я хотел подойти ближе, но вдруг что-то зашевелилось во мраке. С испугом узнал я того, вчерашнего; он сидел на пороге и знаками подзывал меня. Мне стало страшно, я повернулся и быстро зашагал прочь, из малодушной боязни, как бы не ввязаться в какую-нибудь историю и не опоздать на поезд.

Но, дойдя до перекрестка, прежде чем свернуть за угол, я еще раз оглянулся. И я увидел, как человек, сидевший на пороге, вскочил, бросился к двери и порывисто распахнул ее; что-то блестящее было зажато в его руке – я издали не мог разглядеть, золото или лезвие ножа так предательски блеснуло в лунном свете...